

# МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

НИКОЛАЙ ЧУКМАЛДИН





КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Коллч. пред. выдач.

2576-566 25/11-1082

20/8-376 17/9-446

3/ix-376

18/ix-376

~~22/3-1886~~

11/4-177

23/12-1977

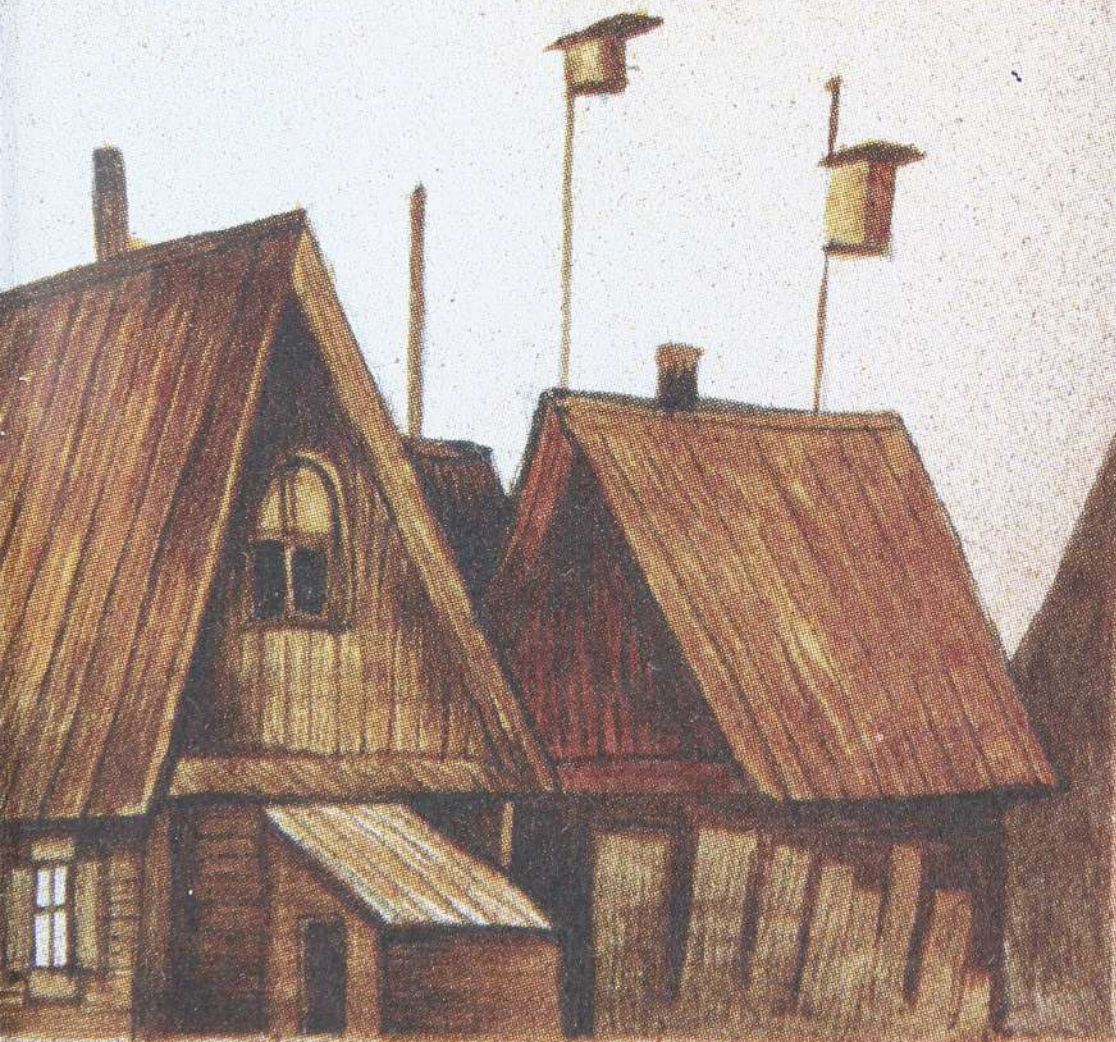
8/4-584

7/5-662

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 1204-92













84 (2 Рос = Рус) 1 (к)

4-88



*Н. М. Чукмалдин*

# **Мои воспоминания**

*Избранные произведения*



-53348-4



**Тюмень, 1997**



- Ч 88 ЧУКМАЛДИН Николай Мартемьянович**  
**Мои воспоминания: Избранные произведения/**  
Составление тома Ю.Л. Мандрики, послесловие  
П.М. Г-ва. — Тюмень: СофтДизайн, 1997. — 368 с.  
(«Невидимые времена»).

Н.М. Чукмалдин известен почти каждому тюменцу в первую очередь как предприниматель, меценат. Гораздо меньше людей знают его и как литератора, оставившего после себя «Мои воспоминания», этакий очерк быта и нравов «того» времени.

Книга будет интересна не только тем, кто интересуется историей края.

Централизованная библиотечная  
система Тюмени  
ул. Луначарского 51

- © СофтДизайн (издание), 1997.  
© Дыба В.В. (название, дизайн серии), 1997.  
© Мандрика Ю.Л. (составление), 1997.  
© Кухтерин А.С. (рисунок обложки), 1997.

ISBN 5-88709-081-2





**Николай Мартемьянович Чукмалдин.**

**(1836—1901)**



Издательство «СофтДизайн» выражает благодарность директору Свердловской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Надежде Евгеньевне ЦЫПИНОЙ за книги Н.М. Чукмалдина, которые были предоставлены из фонда библиотеки для осуществления данного издания.



# **Мои воспоминания**

## **Часть первая**



## Предисловие

От воспоминаний г.Чукмалдина веет совсем иным воздухом, чем от многих произведений нашей современной литературы. Этот бесхитростный и тёплый рассказ перестанавливает совершенно наши «культурные» понятия. Уже при чтении первой главы рассказа невольная улыбка читателя над этими «азами» и «буками», «словотитлами» и чтением «по верхам» сменяется некоторым конфузом. Да полно, культурнее ли наше-то усовершенствованное преподавание? Культурнее ли и сама наша нынешняя школа, земская или церковно-приходская, все равно, — чем эта домашняя школа беглого солдата и раскольничьего начётчика? Культурнее ли и сама наша сельская жизнь в её новых формациях? Свидетельство г.Чукмалдина, *православного* и сына православных родителей, здесь очень ценно. Ведь независимо от того, что дед Скрыпа — филипповец-беспоповец, он, как учитель, не разбирает детей своего согласия от чужих, служит одинаково всем. Ученье здесь, как в Древней Руси, — подвиг, богоугодное дело.

А как это ученье было обставлено! Азбуку надо было «писать», Псалтырь покупать за пять рублей... Н.М.Чукмалдин упоминает, что азбуку его учитель писал «по растре». Знаете, что это такое? На гладкой доске натягивались параллельные ниточки. Сверху клалась бумага, и по ней проводилось чем-нибудь гладким. Получался гляцевитый след линеек. Карандаш и бумага были роскошью. Но это не служило тормозом просвещению...

Затем останавливает внимание читателя весь строй жизни обитателей Кулакова. Церковь далеко, священник приезжает редко и представляется совсем чужим человеком. Просветителями и духовными вожаками являются спорящие между собой сектанты-беспоповцы Скрыпа и Якуня, но их споры идут в интимном кружке. Для массы, раскольничьей и православной, безразлично чтение священных книг, житий святых, нравственные беседы, обучение детей, решение споров — словом, живое культурное воздействие на чистой христианской почве. Забытый церковным и гражданским начальством уголок русской земли держит свой духовный, русский и христианский строй высоко и ждёт высших даров культуры. Это в маленьком отражении наш XVII век.

И вот эти дары приходят. Но, увы! Цивилизация идёт чужая,



не из народной почвы выросшая, с русской историей связь порвавшая, от родных заветов отвернувшаяся. Кулаково втягивается в общее русло новой русской жизни... Патриархальный период окончился.

Лучше ли стало? Пусть об этом расскажет читателю сам автор, который ушёл из своей деревни, составил независимое состояние, но сохранил в сердце горячую любовь к родному углу и теперь, на старости лет, делает для него, что может.. Выстроил чудесную школу и мастерскую, завёл сад и образцовое поле, кончает строить церковь. Пусть же он будет живым свидетелем, что сделала новейшая цивилизация из Кулакова и что за воззрения и нравы там воцарились.

Да не подумает читатель, что мы стоим за XVII век, за эту исключительность и ревнивость в оберегании старины, за застой. Нет! Рассказ Н.М.Чукмалдина рисует какой-то подготовительный период — период ожидания, период сосредоточения народных сил и народного духа в себе самом. Всё это сильное, здоровое, верующее, нравственное, мягкое и доброе население при иных условиях могло дать неслыханный и оригинальный культурный расцвет. Могло... да ничего из этого не вышло! На дрожжах петербургского периода русской истории, когда эти дрожжи были брошены, взошла опара... её месят, пекут, но хлеба упорно не выходит...

Из родной деревни автор переносит нас в уездный город и с тою же тёплой простотой и безыскусственностью рисует свою юность в доме богатого родственника — кожевенного фабриканта. И здесь наши ходячие понятия о купеческой среде, о «тёмном царстве» значительно перестанавливаются. Да полно, такие ли уж были самодуры и кулаки эти вышедшие из крестьян капиталисты, как их нам рисовали? Это были просто деловые люди, но по своему и честные, и отзывчивые, хотя немного и грубые. Так ведь вспомним только, что над нами тяготело сверху целых двести лет! Рассказ Н.М.Чукмалдина — большой важности культурный документ. Быт захолустного города полвека назад отражается в нём очень полно... и снова возникает жестокий поистине вопрос: лучше ли стало? Наша цивилизация, ворвавшаяся с паром и электричеством, банками и биржами, газетами и кафешантанами и всё кверху ногами в России перевернувшаяся — к лучшему ли изменила она этот цельный и крепкий народный быт?

Тяжёлые вопросы и тяжело их решать...

Первая глава этих воспоминаний была уже напечатана особым приложением к №18 «Русского Труда» прошлого года. Её пришлось повторить, так как отдельные её издания все разошлись.

*Сергей Шаранов.*



## 1. Беглый солдат Скрыпа и моё ученье

В Западной Сибири, близ г. Тюмени, есть большая деревня Кулакова. Расположенная на берегу славной реки Туры, построена она, как всякая деревня в Сибири, из крупного соснового леса, дома и избы покрыты тёсом и драницами, и лишь недавно появилось несколько домов, крытых железом, окрашенных зелёной малахитовой краской.

В дни моего детства, лет 50 тому назад, железных крыш на домах не бывало, но зато у всякого крестьянина, сколько-нибудь исправного, во всю длину избы и горницы, разделяемых сенями, пристраивалось «задворье с поветями» и кладовыми, куда складывался домашний скарб и устраивалась мастерская и склад летом для ремесленных изделий: саней, телег и других крестьянских экипажей. Дом отделялся открытым двором; напротив дома стояли погреб и амбар, сзади которых устраивался «пригон» для домашнего скота, с соломой крытыми навесами и конюшней; там в маленькие отверстия, заменяющие окна, вставлялись и примораживались зимою цельные куски льда.

Со двора в сени дома вело полуоткрытое крыльцо. Сени были всегда холодные, с одной стороны из них вёл ход в избу, широкими дверями, позволяющими вытаскивать в задворье сработанные сани, а с другой — был ход, в несколько ступенек «рундука», в горницу, внизу которой бывала тоже или нижняя другая горница, или темный подвал, где семья хранила более ценное имущество и где летом устраивалась спальня. Зимою на рамы окон в избе вместо стёкол натягивалась «брюшина», пропускавшая рассеянный свет, но не позволявшая видеть ни двора, ни улицы. Для этого в некоторые брюшины вмазывались маленькие куски оконного стекла в медный пятак величиною, которые оттаивались от слоя льда, всегда на них намерзавшего, усиленным дыханием человека, желавшего посмотреть на улицу.

Я живо помню, когда у нас, по отделе от деда, была всего одна изба, в которой помещалась вся семья, и где устроена была отцом в одном углу мастерская для работ — саней и «хрясел» (верхняя часть телеги), а в другом углу стояли «красна» матери для работы — ковров и «паласов». Высокие полаты днём служили складом платья и постелей, а ночью спальней.

На печи постоянно лежал старый дядя отца, дед Алексей, и по ночам, когда уже все спали, громким шёпотом молился Богу, перебирая лестовку (чётки) и повторяя: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас». При этом он всегда спускался с печи на «голбец» и, держась рукой за притолоку, делал поясные поклоны. Спать все ложились рано (около 9 ч.), зато отец и мать вставали около 3 часов утра. Между окон ставился тогда «поставец» вроде треножника, в который вкладывалась лучина, с вечера ещё заготовленная, и зажигалась, чтобы освещать всю избу, а в особенности место, где работал отец и стояли «красна» матери. Отец перед этим ещё впотьмах тихо и долго молился Богу, а потом уж зажигал лучину. За ним вставала мать, умывалась и, уходя в «куть», тоже молилась Богу. Затем мать топила печь, стряпала и варила, а в промежутках садилась за прялицу (прялку) и шуршала веретенном, вытягивая шерстяные нитки для ковров. Отец же сначала точил бруском инструменты, а потом принимался за работу: тесал, строгал, долбил и пригонял на место части саней.

Когда мне было лет около шести, я начал по-детски помогать отцу в его работе, делал зарубки на доске для заднего украшения саней и заячьей лапкой мазал ворванью по дереву, чтобы придать ему желтоватый оттенок.

Помню раз, отец разбудил меня в воскресный день очень рано и повёл к заутрене, к дедушке Артемию Скрыпе. Я слышал и раньше, что есть где-то на конце деревни дедушка Скрыпа, но никогда не видал его, ибо он «скрывается». Мы прошли с отцом всю деревню, поднялись улицей до полугоры, повернули в переулок и прошли на Скрыпин двор, оттуда задним ходом перешли на огород и постучали в маленькую дверь низенького домика-избушки. Изнутри нас опросили: «Кто там?». Отец произнёс Иисусову молитву, нам ответили: «Аминь», дверь отворилась,



и мы вошли в сени, а потом и в избу — маленькую, с полатями и лавками, но чистую, с большими иконами в верхнем углу и с запахом ладана.

Старушка Авдотья Степановна, сестра Скрыпы, пригласила нас подождать, потому что ещё рано, и «сам» читает «правила». Богомольцы начали один по одному подходить: их впускали также с Иисусовой молитвой, пока не набралось человек 20.

Спустя немного времени из другой комнаты молельни вышел старик высокого роста, плотно сложенный, с высоким лбом, окладистой и волнистой седою бородой и таким выразительным лицом, что я помню его и теперь как живого, несмотря на то, что с тех пор протекло целых 55 лет.

— Здравствуйте, братия, — поклонившись всем, сказал он.

Все мы встали и поклонились ему низко, а некоторые старики и старухи даже до земли.

— Ну сядем, отдохнём немного и пойдём молиться полунощницу и заутреню. Часы помолимся после, — сказал нам Артемий Степанович.

— Спаси, Господи, — хором ответили многие.

— Ты что, сынка привёл, Мартемьян Потапович? — спросил он моего отца.

— Да, сына, дедушка Артемий. Пусть послушает службу божественную.

— Добре, добре. А как его зовут?

— Николай, — ответил отец.

— Ну, Никола, ты ведь ещё грамоте не знаешь. Послушай сначала божественную службу, посмотри, а потом начнёшь учить и грамоту. Хочешь учиться?

Я сидел ни жив ни мертв и ничего не мог ответить. От робости язык мне не повиновался, и я готов был расплакаться.

— Он робок, — заметил отец. — А дома все стены в избе перемарал углем, всё списывает цифры.

— Ну, ничего. Робок да с толком, вот и искра Божия, — закончил Артемий Степанович. — А теперь, пожалуй, пойдёмте и молиться.

Все пришедшие снимали шубы — мужчины оказались в кафтанах из тёмных тканей, то ластика, то краше-

ного холста, а женщины — в чёрных сарафанах, с лицами, повязанными ниже подбородка краем чёрного платка. В руках у всех были лестовки и восковые свечи, принесённые из дому. Артемий Степанович пошёл в моленну (молельню) внутренним ходом, а мы направились туда же сенями.

Молельнею оказалась небольшая комната рядом с избой. В ней не было ничего особенного, но тогда она поразила меня своей необычностью. От горевшей пред иконою лампы шёл слабый свет, а сбоку в маленькое окошко ярко светил месяц. На противоположной от входа стене, во всю её длину, тянулась божница, — полка, на которой стоял ряд икон, строгого старого стиля, писанных красками и медных. На узенькой лавке стопами лежали подрушники, на гвоздике группую висели лестовки (чётки), а в углу полки стояла медная кадильница. Принятые в общину Филипповской секты богомольцы прошли вперёд, а мы с отцом как «мирские» (православные) остались назади простыми слушателями, не принимая участия в молитве. Свечи были к божнице прилеплены и зажжены, а подрушники взяты в руки. Артемий Степанович сказал: «Господи, благослови» и начал вместе с другими «класть начал», провозглашая вполголоса: «Боже, милостив буди мне, грешному» и делал поклоны. Потом, полуобратясь к молящимся, громко произнёс: «Благословите, братия» и, получив ответ — «Бог благословит», возгласил: «За молитв святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Аминь».

Началось чтение полунощницы, и после «отпуста» пошла таким же порядком заутреня. Читались молитвы по «часовнику» (Часослову), кафизмы по Псалтырю. Некоторые тропари и славословия пелись всеми присутствующими. Артемий Степанович владел прекрасным баритоном, и я с восторгом слушал его голос на «Господи воззвах» и «Хвалите Господа с небес».

После заутрени мы все снова перешли в избу отдохнуть после длинного, продолжавшегося часа три моления. Началась беседа. Дедушка Артемий говорил о правоте своей веры, посылал укоры в заблуждениях «федосеевщине» и яро порицал наставника этой секты хромого Якуню в непонимании правил св. отцов. Все слушали его с напря-



жённым вниманием, изредка решаясь сделать вопрос. Как-кая-то старуха, сидевшая сзади всех, вдруг заплакала и заговорила:

— Господи, надо бы молиться и ни о чём не думать, а у меня внучек хворый, и вот согрешила, всё о нём думала, чем бы его покормить. Надо бы молочка давать, да нет коровушки, а купить не на что.

— Экая ты, давно бы мне сказала, — живо вмешался Артемий Степанович. — Завтра придёт ко мне Аграфёна Ивановна, и я выпрошу у неё денег на корову. Приходи послезавтра.

Старуха встала и перекрестилась. Слёзы потекли у неё из глаз, и она, всхлипывая, говорила:

— Спаси те Бог, дедушка.

Часов около 6 зимнего утра, с теми же обрядами, как за полунощницей и заутреней, отслужены были и «часы».

После этого мы с отцом сделали перед иконами три крестных знамения с молитвою «Боже, милостив буди мне, грешному» и с тремя поклонами и попросились с дедушкой Артемием.

— Смотри же, малец, приходи чаще молиться Богу сюда, а потом и грамоте учиться, — сказал наставительно старик.

Когда вернулись мы домой, у матери печь была истоплена, и праздничные шаньги в ней уже готовились, разнося по комнате приятный аромат свежепечёного хлеба. Изба была подметена, усыпана белым песком, а в переднем углу перед иконою горела восковая свеча.

— Ах, мама, как дедушка хорошо поёт, — залепетал я ещё на пороге. — Слушай, мама: «Хва-ли-те Го-спо-да с не-бес», — затянул я слышанное пение. — А дедушка читал большую-большую книгу, а потом другую, поменьше. Но только долго стояли, и у меня ноги устали...

Мать слушала и улыбалась.

— Христос с тобою, Миколушка, грех жаловаться, что на молении ноги устали. Вот, Бог даст, и тебя станем учить грамоте, и ты нам будешь читать Псалтырь и молитвы.

— Учиться стану, мама, — закричал я весело. — А как надо учиться, так же, как цифирь выговаривать, или поиному?

— Мы с отцом грамоте не знаем, и я не знаю, как

учиться надо. Сперва учатся по азбуке, потом по Часовнику, а потом и Псалтырь твердят.

Я залез на полати и мурлыкал слышанный напев. Помню, как мне не давался мотив: «Воду прошел яко сушу». А что такое «глас третий» и почему поют по-разному «Господи воззвах» и «Воду прошел»? — мучительно вертелись в голове вопросы, пока я не заснул крепким сном ребёнка.

Прошли зима и лето. Мы иногда с отцом ходили к дедушке Артемию молиться, а иногда, между «часами» и «повечерницею», слушать в кругу его приверженцев назидательное чтение из Четьи-Минеи, Прологов, воскресного Евангелия, Апокалипсиса и даже иногда и Кормчей книги. Мастерски читал дедушка Артемий, а ещё лучше толковал прочитанное. Бывало, летом соберутся на открытом воздухе косогора, под крышею навеса, человек 30 слушателей, мужчин и женщин. На удобном месте ставится стол, накрытый скатертью, и приносятся книги, из которых предполагается чтение или справки по поводу каких-нибудь споров, возникших на предыдущих собраниях, на основании какого-либо текста, допускающего разное толкование. Терпеливо выслушает дед Артемий оппонента и потом ясно и убедительно начинает приводить свои доводы, ссылаясь на книги и указывая даже страницы, где известный текст напечатан или написан. Иногда переходили на общее пение старообрядческих стихов, из которых более любимые начинались так:

«Горе мне, увы мне, грешному...»

«По грехом нашим, на нашу страну...»

«Юность моя, юность, златое ты время...»

Все эти стихи находились в писаных сборниках и были расположены под нотами, старого крюкового пения. Дедушка Артемий знал ноты хорошо и, обучив некоторых своих последователей пению, поражал слушателей этим искусством до полного умиления и слёз, стройностью напева в унисон так называемых «божественных стишков».

Я, конечно, мало понимал тогда из слышанного мною, и лишь после мне пришлось узнать всю внутреннюю и обрядовую сторону старообрядческих собраний. Но во мне и теперь ещё живы первые общие впечатления, когда ребёнком меня приводили туда мои родители. Позднее и об этой поре моего отрочества я расскажу некоторые глав-



ные события, как рассказываю теперь о моём младенчестве.

В декабре 1843 года сделан был семейный совет, на который были приглашены умный дядя по матери Семён, бывалый человек, езжавший с извозом даже до Казани, и тётка моя, сестра по матери, Анисья, игравшая распорядительную роль во всём нашем околотке, где требовалось кого пожурить за какое-нибудь отступление от заведённого порядка и установившихся отношений. Я спрятался на полати и чутко прислушивался ко всему, что на этом совете говорилось.

— Вот что, — начал мой отец, — Миколу (мне) 7 годов. Мы с матерью думаем учить его грамоте. Как вы скажете, Семён Егорьевич и Анисья Егорьевна?

При этих словах мать моя, стоя у шестка, заплакала и громко начала причитать: «Дитятко ты моё родимое...».

— Чего ты, сестра, плачешь? — сказал дядя Семён. — Ведь ребёнку же будет лучше, когда он будет грамотный... Посуди сама. Вот я умею «ходить на счётах» (считать на счётах), а читать не умею. Ну и что же? Связчик мой по ямщине Алексей грамотный, всю дорогу писал и писал, а к расчёту и вышло мне денег меньше, а ему больше. Чем я докажу, что он писал неправду? И говорить нечего, отдавайте учить грамоте ребёнка.

Тётка Анисья тоже сквозь слёзы добавила:

— Микола выучит Кануны читать, вместе будем Богу молиться. И как хорошо-то ещё будет!

— Но вот горе, — вставил отец, — надо будет купить Псалтырь. Книга стоит 5 р., а в теперешнее податное время где я их возьму?

— Ну, об этом нечего говорить, — вступилась мать. — Мне не надо сарафана к Рождеству. Вот и деньги на Псалтырь.

В конце концов было решено после Николина дня вести меня к дедушке Артемию Скрыпе учить грамоте. А дядя Семён по праздникам будет учить «ходить на счётах».

Я молча и тихо оделся на полатях, спустился вниз и, несмотря на зов собравшихся родных, стрелой выбежал во двор, оттуда на конюшню, бросился в сено и горько заплакал.

Скоро после этого мать моя повела меня к дедушке Артемию учиться грамоте. Мы пришли утром и застали его в той

же избе, где я бывал и раньше, сидящим за столом и читающим большую книгу. При входе нашем старик заложил страницу широкой синей лентой и, закрыв её, громко щёлкнул медными застёжками, что меня очень заинтересовало. Потом ласково поздоровался с нами, сказал матери:

— Ну что, сынка привела учиться грамоте?

— Да, дедушка. Поучи. Бога ради. Ведь он у нас один, и грамота ему нужна. Выучится, нам с отцом станет читать святые книги, а потом, что надо, и отцу запишет.

— Ладно, ладно. Я на этих же днях напишу ему азбуку, а в четверг привою его прямо на учење.

— Спаси те Господи, дедушка Артемий, — сказала мать и поклонилась ему в ноги.

— Не кланяйся, не кланяйся. Поклоны надо делать Богу. Ну-ка, малец, иди сюда и посмотри на буквы в книге. Вот эта буква — *аз*, эта — *веди*. Видишь ли ты разницу в них?

— Вижу, — ответил я. — У этой посередине перегородка, а у этой перегородки нет.

— Добре. Ну теперь идите с Богом домой, — заключил Артемий Степанович.

Дома было решено заплатить в четверг за азбуку дедушке Артемию рубль (ассигнациями); а как-нибудь к Великому посту купить и основные книги — Часовник и Псалтырь.

В четверг поутру мы с матерью в её углу, против «цела» печи, в так называемой «кути» долго молились Богу, кладя земные и поясные поклоны, прежде нежели пошли к дедушке Артемию Скрыпе. Он встретил нас ласково и любовно. Но когда мать выложила ему десять медных гривен за написанную азбуку, старик прямо и решительно отказался принять их.

— Не надо, голубушка. Я знаю, что вы не богаты. Азбуки ведь я не покупал. На эти деньги лучше заведите пареньку валенки. Теперь зима, и бегать ему сюда холодно и далеко.

Мать моя шёпотом промолвила своё: «Спаси те Господи», и слёзы потекли по её щекам. Я стоял в нервном возбуждении и готов был тоже разрыдаться.

— Ну, что вы, Бог с вами, — заговорил душевно старец. — Малый подрастёт, поправитесь, тогда заплатите. Ну-ко, Никола, иди сюда, примемся за дело. Здесь у сто-



ла учиться Ефрем, он постарше и побольше тебя. Тебя же я устрою вот на этой лавке у оконца. Вот скамейка, мы её поставим на эту лавку; на неё положим азбуку; вот смотри-ка, какую я тебе указку смастерил, с конями и зарубками. Ну-ко, брат, бери её, вот так, в руку и садись перед скамейкою на лавку.

Я сел. Азбука новенькая, только что написанная по-славянски, красными и чёрными чернилами по «растре», отливала блеском букв и казалась мне куда красивую. Её заглавная виньетка, нарисованная пером, изображала копну сена и глядела на меня так мило и заманчиво, что я и не знал, что и подумать о таком искусстве дедушки Артемия.

— Молись сначала Богу, Никола, клади «начал». Знаешь «начал»?

— Знаю, — ответил я робко.

— Ну вот, бери подрушник и начинай.

Я взял подрушник, перекрестился, дрожащим голосом произнес молитву «Боже милостив» и сделал соответственное число земных и поясных поклонов.

— Ну, а теперь садись на скамейку и, перекрестясь, скажи: «Господи, благослови». А мне скажи: «Благослови, дедушка Артемий».

Я исполнил сказанное. Старик ответил мне: «Бог благословит».

— Вот на этой первой странице, — начал он, — вся азбука от *аза* до *ижицы*. Надо все буквы выучить наизусть и запомнить их твердо, как они пишутся и называются. Указывай указкой вот эту первую букву и говори: аз, вторую — буки, третью — веди.

Я робко начал выговаривать: аз, буки, веди.

— Смелее, брат, смелее! Ну, говори за мной нараспев: а-з, бу-ки, ве-ди, гла-го-ль. Мало. Пой, как поют ребята, когда играют в прятки, да посмелее! А—з, бу—ки, ве—ди... Вот так, так! Потихоньку да помаленьку всё пойдёт у нас на лад, — прибавил он, глядя меня по голове.

Часа через три я выучил всю азбуку и читал нараспев все буквы по порядку.

— Добре, — сказал дедушка. — А ну-ка, знаешь ли ты с задней буквы — ижицы и к азу? Начинай с конца азбуки и иди назад.

Я начал петь: ижица, фита, ферт.

— Э, нет, брат, не так, пропустил: кси, пси. Ну, да ты устал. Оденься и иди на двор побегать. Потом приходи, поешь, и мы ещё потвердим азбуку.

На дворе никакая игра не шла мне в ум. В голове назойливо вертелись буквы и вопросы. Скоро я вернулся в избу, развязал узелок, оставленный матерью, с куском чёрного хлеба и поел.

На скамейке лежала азбука. Я раскрыл её и, вооружившись указкою, начал, распевая, повторять буквы. Но когда дошёл до знака следующего за «покоем», то никак не мог припомнить, как он называется. Сколько я ни бился, буква не давалась. С горя я заплакал. В это время вошёл из моленной дедушка Артемий.

— О чём ты плачешь? — спросил он.

Я едва мог вымолвить, что забыл название буквы.

— Не плачь, не плачь, милый, — сказал он ласково. — Для начала хорошо и то, сколько ты выучил.

Мы начали снова распевать всю азбуку сначала, но противная буква р всегда у меня выходила «арцы», а её следует говорить «рцы». Кое-как я одолел и это, а к вечеру читал наизусть всю азбуку и прямо, и обратно, начиная с ижицы.

Часам к трём вечера дедушка сказал:

— Ну, сегодня довольно учиться. Закрывай азбуку, клади указку, а потом молись «начал», прощайся со мною и иди домой. Скажи отцу и матери, что грамота тебе даётся. А завтра утром приходи опять.

Стрелой помчался я домой и едва переступил порог избы, как закричал матери:

— Мама, мама, я всю азбуку выучил!

Мать кинулась ко мне и, как все матери, ласкала и целовала меня долго и много. Я, торопясь и захлёбываясь, читал ей нараспев все буквы с начала до конца, а потом удивил её без границ, когда те же буквы прочитал от конца к началу. Вернулся отец, и ему тоже была показана приобретенная мною за день премудрость. Я так увлёкся фигурами букв, что в тот же вечер нарисовал их посредством угля на простенке окон нашей избы. Ни бумаги, ни карандаша у нас не было, а посему уголь и стена заменяли и то, и другое.



В последующие дни я учил двойные и тройные слоги, певуче выговаривая их:

— «Буки-аз — ба-ба; веди-аз — ва-ва; глаголь-аз — га-га или буки-есть — бе-бе, веди-есть — ве-ве», — и т.д., прибавляя все гласные буквы к согласным по порядку азбуки. Потом учил их «по верхам», выговаривая: ба, ва, га или бе, ве, ге и когда их все выучил, тогда начинал петь последним слогом и постепенно шёл к слогу первому, например, ша, ша, ча или ще, ше, че и т.д.

После этого мы перешли к учению тройных слогов: буки-рцы-аз — бра-бра, веди-рцы-аз — вра-вра, в том же порядке от начала к концу и от конца к началу, как это было и с двойными слогами.

Затем началось изучение «ангельских складов», «просодий» и церковного «летосчисления». Первые учились так:

Аз-глаголь, глаголь-титла, люди-ер — аз *Ангел*; аз, рцы, хер, арха, глаголь, глаголь, титла, люди, ер — аз *Архангел*. Или: буки, титла, глаголь, ер — буки *Бог*; буки, живете, слово, твердо, веди, он — во *Божество*. Потом всё это читал по верхам: Аз: *ангел, ангельский, архангел, архангельский*; Буки: *Бог, Божество*.

«Просодии» и летосчисление, я думаю, нет нужды рассказывать, как учились. Первые читались по верхам, а последние заучивались наизусть, как обыкновенные цифры с заменой их славянскими буквами и некоторыми особыми знаками.

Когда всё предыдущее было выучено наизусть, твёрдо и без малейшей запинки, с повторением каждый день пройденного раньше, тогда дедушка Артемий сказал:

— Добре, Никола. Теперь начнём учить молитвы, находящиеся в твоей азбуке: «Отче наш», «Царю небесный», «Верую во единого Бога», «Помилуй мя, Боже» и другие.

Видимо, я учился быстро и нагонял товарища моего по учению, Ефрема Лысова. Старика это радовало, и он, бывало, весело начнёт меня поддразнивать.

— Ну, Никола, цоп, цоп.

Я заволнуюсь, покраснею, как маков цвет, и слёзы у меня польются градом.

— Ах какой же ты не-тронь-меня. Чего тут плакать? Разве ты не видишь, что я шучу, радуюсь твоим успехам?

К Великому посту азбуку с молитвами я выучил хоро-

шо. Дедушка Артемий велел мне приходить с матерью. Когда мы пришли, он сказал:

— Вот что, голубушка. Никола учится хорошо, и ему не надо проходить Часовника. Он и так его будет читать потом. А теперь купите в городе Псалтырь: по ней Великим постом он и будет продолжать учиться.

— Спасет те Бог, — ответила мать. — В субботу отец поедет в город продавать сани и купит Псалтырь.

Мать попрощалась с дедушкой и ушла. Я подсел к скамейке и звонко начал распевать «зады». Старик слушал и по обыкновению поправлял то интонацию моего голоса, то остановки на точках и двоеточиях.

— Ты не торопись, — бывало, скажет он. — Что в этом толку? Ты думай, что тебя кто-нибудь слушает и хочет понять, что ты читаешь. Ну как он тебя поймет, если ты даже нараспев слова выговариваешь неясно? А что будет тогда, когда ты начнешь читать? Вот уж Великим постом я велю приводить тебя по праздникам ко мне, и ты послушаешь, как я буду книги читать за беседами.

Я уходил домой, всегда унося с собой за пазухой тщательно завернутые в платок азбуку и указку. По вечерам я перечитывал отцу и матери пройденное ученье и «твердил зады». Случалось, приходил к нам дядя Семён, и я старался удивлять его чтением «ангельских складов» и «просодий» и заканчивал письмом славянских букв углём на стене.

— Ты, видно, будешь грамотей, — бывало, скажет дядя. — Вот поеду в город, куплю тебе карандаш и бумаги.

С каким тёплым чувством вспоминаются теперь все эти подробности. Он стоит передо мной в таких живых и ярких образах, как будто всё это было вчера, а между тем с тех пор прошло уже больше полвека.

\*\*\*

Великим постом, в четверг первой недели, отвели меня опять к дедушке Артемию — учить Псалтырь. Старик встретил нас — мать и меня — радушно и первым делом спросил:

— Ну что, купили Псалтырь? Покажите-ка мне её.

Мать развязала узелок и подала ему книгу.

— Хорошо. Книга хоть не древняя, не Иосифовская, а



всё же напечатана с древними изданиями сходно, — сказал он. — Бумага крепкая, буквы крупные, для учения самая подходящая. Ну-ка, брат Никола, клади «начал» с земными поклонами, теперь ведь пост, и ты должен привыкать к христианскому обычаю.

Я исполнил и потом сказал:

— Благослови, дедушка.

— Бог благословит, — ответил он и засадил меня за знакомую скамейку.

— Вот это царь Давид, — показывая гравюру Псалтыря, сказал наставительно старик, — он и написал святую книгу Псалтырь, которую мы обязаны каждый день читать и слушать. Ну-ка начинай читать.

Я глядел на страницу Псалтыря и на печатные буквы, и мне они казались несколько иными, чем в моей азбуке. Я не мог свободно ни складывать их, ни читать. С трудом и робко я мог только назвать часть первого слова — *Блажен*. У меня вышло по моим складам: люди, живете, еже — лже, наш ер — *лжен*. Заглавная же буква — буки, помещённая в виньетке, совсем показалась мне незнакомою.

— Вот и видно, что мы, большие, сами виноваты, — заговорил старик, — не растолкуем сначала ребёнку, как надо понимать буквы в новой книге, а потом его же и видим, что он не понимает, — обратился он к моей матери.

— Слушай, Никола, эта книга Псалтырь печатная, а ты учился по азбуке писаной. Вот потому-то и выходит, что одна и та же буква, так же нарисованная, как в той, так и в другой книге, а всё-таки немного смотрит по-разному. Вот буква *живете*, посмотри на неё в Псалтыре и посмотри в азбуке. Буква-то одна, а вишь, в печатной книге ножки у неё загнуты правильно, а в азбуке писаной вон как неровно протянуты и неверно изогнуты. Или посмотри на другую букву — *люди*. В Псалтыре прямая ножка стоит у неё прямо. Подпорочка её поставлена вкось верно, как подпорка частокола. А в азбуке у меня смотри-ка: прямая ножка всё-таки покривилась, а подпорочка-то согнулась, как кривая палка.

— Вижу, вижу, дедушка!

— Ну вот и слава Богу, — продолжал он. — Так же и другие буквы: все они имеют разницу в печатной книге против книги, писаной рукою. А затем заглавные буквы в

Псалтыри, что вот напечатаны красными чернилами, по-другому нарисованы, потому что первые и потому что заглавные. Вот, например: «Блажен муж» начинается буквою — *буки*. Посмотри, какая она большая да пригожая. А дальше, второй псалом начинается другой заглавной буквой. Видишь, тоже как разукрашена! Сразу-то тебе и трудно распознать её. А вот, Бог поможет, скоро всё узнаешь и будешь читать легко.

— Ну, голубушка, — обратился он к матери, — тебе ведь некогда. Иди домой, а мы с Николой поучимся до вечера.

Моя мать простилась и ушла, а я остался разбирать псалом *Блажен муж* и нараспев его твердить, поправляемый дедушкой во всех моих ошибках и затруднениях. Давно знакомые «ангельские склады» многое помогали мне узнавать и прочитывать верно слова под «титлами» и «слово-титлами».

Товарищ мой Ефрем учился уже другую зиму и сидел за распевом пятой кафизмы Псалтыря, выучив перед этим Часовник и Кануны (Каноны) за единоумершего и за всех умерших. Мы с ним жили мирно, хотя он много был меня резвее и никогда не плакал, чего я не могу сказать о себе. Мне помнится только одна наша совместная проделка, совершённая в отсутствии дедушки Артемия, куда-то уезжавшего. Мы оставались одни, под попечением старой сестры его Авдотьи Степановны. Печь в избе закрыта была рано, и мы угорели. Товарищ мой сказал, что угар надо лечить снегом, и мы решили окунуться головами в снег, положив, что кто дольше простоит в снегу, тот скорее и вылечится от угара. Не говоря ни слова старой надзирательнице, в одних рубашках мы выбежали в огород и со всего размаха бросились головою вниз, в рыхлый снег большого сугроба. Голова и туловище с руками погрузились в снег, а ноги наши торчали кверху. В это время вышла из избы Авдотья Степановна и, увидав поверх снега только наши ноги, громко закричала: «Господи Иисусе! Что это такое?» и бросилась нас вытаскивать. Сколько времени были мы в снегу, я не помню, но когда пришли в избу, нас била лихорадка, и мы долго не могли согреться. Авдотья Степановна напоила нас сейчас же горячим настоем душицы и отправила домой, приказав шибче бе-

жать по улицам. Дома мы об этом ни слова не сказали, только дедушка Артемий долго смеялся над нашим способом лечения от угара, да потом узнали все родные и соседние ребята и долго товарищу и мне не давали проходу, дразня нас «угарными дохтурами».

К концу Великого поста я выучил наизусть несколько кафизм из Псалтыря и начал свободно разбирать ещё не учёные псалмы. Тогда дедушка Артемий заявил моим родителям:

— Малый читает хорошо. Пусть на пасхе и Фоминой «твердит зады» и читает понемногу неученое дома. Вам ведь надо весною поучить его писать. Я скорописью пишу по-старому, и мой почерк для него не годится. Вы пригласите заводского учителя Василия Ивановича на два, на три месяца, и он его письму выучит.

С каким благоговением отец и мать мои благодарили дедушку Артемия за выучку меня чтению, я и передать не могу. Всякий, кто прочтёт эти мои воспоминания, поймёт это без объяснений.

Так кончилось моё школьное учение грамоте на восьмом году моего возраста.

\* \* \*

На Пасхе же отец поехал на своей лошадке на завод нанимать учителя, рекомендованного Василия Ивановича. Отец условился: приехать учителю к нам в деревню и учить меня письму по 5 р. в месяц на нашем содержании и с правом заниматься с другими учениками. В промежуток до его приезда отец ставил к избе горницу, где-то купленную в готовом виде и к нам перевозимую.

Мой учитель письма был молодой человек, занимался со мною три месяца, и я выучился у него писать настолько сносно, что родные порешили: «учиться довольно». Письменные занятия с Василием Ивановичем шли у меня уже в горнице, и я не помню ничего характерного за это время, кроме только одного случая, когда учитель, куда-то временно отлучась, поручил мне переписать письмо для упражнения, заканчивающееся подписью: «Васильем Тимофеевым Космаковым». Сколько я ни бился, желая разобрать эту подпись, она мне никак не давалась. И я храбро перевёл: «Засимен Мнасем Костаксен».



Этим и закончилось моё полное обучение чтению и письму.

\* \* \*

Много позднее я узнал биографию моего учителя, старика Артемия Скрыпы. Скрыпа — это не фамилия, а уличное прозвище, часто употребляемое рядом с его подлинной фамилией и в обыденном деревенском обиходе играющее основную роль. Бывало, никто не скажет, что идёт к Ивану Киселёву, а идёт к Калету, потому что Киселёвых много, а Калетов дом — один; или не скажет, что идёт к Семёну Лазареву, а идёт к Кулаге, опять же потому, что Лазаревых много, а Кулагино семейство — одно. То же было и со Скрыпинами. Настоящая их фамилия была Лазаревы, но никто их так не называл, исключая списков волостных или церковных да разве ещё паспорта. Все и всюду говорили: Скрыпин дом, Скрыпино семейство.

Большинство жителей деревни Кулаковой были в дни моего детства и отрочества старообрядцы филипповского и федосеевского толков, хотя по записям церковным и числились православными. Церковные обряды исполнялись ими только в важных случаях, когда уж никак нельзя было от них уклониться, например, венчание, крещение новорождённых и пр., да и то и другое иногда секретно совершалось стариками и наставниками. В Великие посты, бывало, священник приходской Луговской церкви, теперь давно уже умерший, приедет в Кулакову, в волостное правление, и пошлёт десятника по домам, звать прихожан в церковь для говенья. Ходит он по деревне, стуча палкой под окнами и приговаривая:

— Эй, хозяин! Ступайте в церковь говеть. Отец Алексей велел.

Скрыпины старики, как и дети их, были завзятые старообрядцы филипповского толка, наиболее строгого в исполнении обрядов, и всё, что не было с ними в согласии, считали губительным для спасения своих душ. Артемий Скрыпин, родившийся в конце прошлого столетия, был взят в солдаты в двадцатых годах, бежал с военной службы и, скрываясь в деревне Кулаковой у своего брата, мало-помалу приобрел громадное нравственное влияние в об-

ласти веры на деревенских жителей; он был грамотен, очень начитан, обладал прекрасным даром слова и сделался наконец наставником филипповского толка. О том, что Скрыпа — беглый солдат, живёт у брата в особой избе, знала вся деревня и многие из окрестностей и города Тюмени. Знал об этом и местный священник, знала даже земская полиция, но поймать его никак не могли, потому что все жители деревни старались укрывать его, предупреждая о всяком намёке обыска и поимки. Десятки раз производились нечаянные наезды земского начальства и облавы, но никогда не удавалось его поймать. Раз даже совсем накрыли было Скрыпу ночью, спящего в своей избе на полатах. Стоя толпою в тёмной комнате, потребовали огня. Проснулся Скрыпа, слез с полатей, захватил с собою полушубок и сказал спокойно: «Позвольте мне пройти к печи, я огня достану». Понятые и начальство раздвинулись, дали ему пройти к заслонке, а он пробрался за печь узеньким проходом в молельню, оттуда — в сени, и через заднее крыльцо в пригон, где увидел казака, стоящего на карауле. Дед передал ему якобы приказ исправника: занять другой пост около главного входа в избу, и когда тот перешёл, Артемий Скрыпа скрылся по оврагам на деревню.

Артемий Скрыпа имел, как я сказал, громадное нравственное влияние на всех жителей деревни Кулаковой. У богатых он просил пособия для бедных, а бедным помогал деньгами, делом и советом, всегда умным и всегда целесообразным. Не идет ли у пахаря соха бороздою, обращается к Артемию Скрыпе, и он её исправит. Нужен ли совет, когда семья завздорит, идут к его посредничеству, и он, обсудив дело с доводами текстов Священного Писания, выскажет своё решение, которое для спорящих сторон считалось непреложным. Нужны ли деньги бедняку на покупку лошади, коровы, поправку хилеющей избы — он достанет у своих богатых духовных чад и поможет непременно.

Воскресные беседы Артемия Скрыпы, на которых читал и толковал он Священное Писание, всегда бывали притягательным центром. Как только соберётся, бывало, несколько человек слушателей, так он и лезет в потайник под печь за какой-нибудь книгой, чтобы выбрать из неё

подходящее чтение. Потайник этот закрывался стоячей доской «приступкой», поворачивавшейся на внутренней невидимой штанге. Стоячая доска, прибитая фальшивыми скобами и гвоздями, глядела так естественно, что, несмотря на многие тщательные обыски, никогда не выдавала своей тайны. Там хранились старопечатные книги и писанные цветники с яркими рисованными картинами духовного содержания, начиная с жития св. Феодоры и оканчивая Апокалипсисом Иоанна Богослова. Если слушатели составляли в большинстве обыденную публику, читались жития Святых — из Прологов и Четьи-Минеи, воскресное Евангелие и толковый Апостол. Если же собирались интимные друзья Артемия Скрыпы, знающие много текстов Св. Писания, а в особенности если были налицо два грамотных брата, кузнецы Мина и Андрей Григорьевичи, — тогда доставались и читались книги: Кормчая, Степенная, «Олонецкие ответы» Симеона Дионисова, всегда вызывавшие долгие и горячие споры. Память и начитанность Артемия Скрыпы были замечательные, и с ним никто не мог сравняться в этом из наставников других сект, вроде «стариковщины» и «скрывших». Нередко он писал «по-печатному» полемические послания в обличение других «согласий», и эти послания ходили по рукам его грамотных приверженцев.

Тогда в обеих смежных деревнях — Кулаковой и Гусельниковой — с полуторатысячным населением не было ни церкви, ни школы, и учиться грамоте только и можно было у наставников-старообрядцев — у Скрыпы и Якуни. Теперь в деревне большая школа, в которой обучаются до 70 мальчиков и девочек, и строится новая церковь. Старообрядчество, не подвергаясь прежнему строгому гонению, давно ослабло, и бывшие старообрядцы мало-помалу мирятся с церковью и становятся православными.

Я застал Артемия Скрыпу в возрасте лет 55, но совсем седого, хотя и бодрого, и жизнерадостного по настроению. Его жизнь под постоянным страхом быть пойманным и пройти сквозь строй шпицрутенов разрушала крепкую натуру и преждевременно его старила. Посты и молитвенные бдения, исполняемые им строго и неуклонно, вероятно, также отразились на его здоровье. Он ел в простое время два раза в день молочную и рыбную пищу, а по средам и



пятницам — только хлеб и постное «варево» один раз. В Великий же пост, на первой и последней неделях, не принимал пищи в понедельник и вторник и только в среду вечером ел чёрный хлеб и пил воду. В остальные дни Великого поста питался только раз в день. Молитвенные бдения в это время всегда были усиленные, и все поклоны поясные заменялись земными.

Так прожил Артемий Скрыпа, скрываясь в деревне Кулаковой около 40 лет. Умер он в шестидесятих годах и ночью был похоронен на старообрядческом кладбище. Вся деревня провожала его до места вечного успокоения, проливая слёзы, как об отце, наставнике и благодетеле всех к нему прибежавших. Деревянный памятник под названием «голбчик» без всякой надписи да осьмиконечный крест на верху его долго указывали место дорогой могилы. Голбчик уже сгнил, крест развалился, и только едва заметное возвышение насыпи над могилою указывает ещё на место успокоения деда Артемия. Две берёзки, возле которых нашли приют бранные останки замечательного человека, разрослись теперь в кудрявые деревья и высоко шумят на воздухе. Природа-мать покрыла зеленеющей травой верхушку насыпи и каждую весну стелет коврик незабудок, да певун-скворец, садясь поочерёдно на ветки двух берёз, выводит свои песни, подражая разным птицам...

## II. Моё отрочество и первая общественная служба

Мне шёл десятый год, когда отца моего избрали сельским старшиною. Как ни была тяжела эта служебная обязанность родителю, но она была очередная, а посему являлась неизбежною. Её главная задача состояла в том, чтобы в два периода в году собрать с деревни подати и другие денежные повинности и сдать их в уездное казначейство. Ревизских душ у нас в деревне числилось 600, и денег собиралось примерно 2000 р. в каждое полугодие.

Великое горе моего отца заключалось в том, что он был неграмотен и один в семье работник, а специальному писцу надо было заплатить в течение года за записывание сумм с крестьян-плательщиков 50 р. ассигнациями. А их как раз и не было. В этих трудных обстоятельствах и состоялся у нас семейный совет, на котором, как всегда, присутствовал мой дядя Семён. Я живо помню это заседание, несмотря на то, что с тех пор прошло целых 52 года.

В праздничный день в горнице у нас сидят за столом: мой отец, мать, дядя Семён и тетка Анисья. Я приютился около матери и с любопытством жду, что будет.

— Вот что, Семён Егорьевич, — начал отец, — скоро надо собирать подушину (подать) и нанимать писаря. А денег-то у нас платить ему и нет. Как быть, посоветуй, Бога ради?

— Как быть? — повторил дядя Семён поставленный вопрос. — А вот как: я на счётах хожу (кладу, складываю) хорошо; Микола пишет и читает ладно. Я буду класть на счётах, он станет записывать в книге, а ты — принимать деньги.

— Что ты, что ты, дядя, — удивился отец, — да ведь денег-то тысячи, а ну как Микола напутает, а мы просчитаем? Что тогда будет? Ведь мы совсем разоримся.

— Э! Бог милостив, не просчитаем. Делать будем не

торопясь да проверять почаще. Ну-ка, принесите счёты, мы попробуем с Миколой походить на них.

Счёты были принесены. Я сел рядом с дядей.

— Вот видишь, — начал он, — первые четыре королька значат — чети копейки. Клади один королёк. Это будет четь копейки; потом клади ещё два королька. Это будет две чети копейки. Теперь у нас положено три королька, а стало быть, и три чети копейки. Ну клади ещё один, последний королёк — одну четь. Вот теперь у нас положены все четыре королька, 4 чети, значит — полная копейка. Смори (скинь) их все назад и положи выше один королёк. Это будет одна копейка.

Я всё это проделал и, по-видимому, понял. Дядя продолжал свою лекцию дальше.

— Ну, вот, видишь, на второй проволоке десять корольков, каждый по копейке. Когда их все положишь, будет десять копеек. Скинь их все назад и положи на верхней проволоке один королёк. Это будет гривенник. Всё равно как если бы ты десять медных копеек обменял на один серебряный гривенник. А теперь дальше смотри: каждый верхний королёк в десять раз дороже против нижнего. Нижний королёк — копейка, верхний — гривна, потом — рубль, ещё выше — десять рублей, а потом — сто рублей.

Объясняя таким образом устройство счётов и разнообразя приёмы, дядя в один урок добился от меня того, что я сделал ему, хотя и медленно, но без ошибки, его любимую задачу — положить на счётах суммы: «рубль без четверти»; «два без четверти» и т.д. до «двадцать без четверти». Итог-сумма выходила 205. Потом из этой общей суммы надо было смаривать (скидывать) все частные суммы, но в обратном порядке, как, например: «двадцать без четверти», «девятнадцать без четверти» и т.д. до «рубля без четверти».

Кончив со мною урок «хождения на счётах», дядя объяснил моим родителям:

— Ну, вот видите, как у вас пойдет дело складно да по-хорошему. Ты, зять, — будешь деньги получать; Микола — записывать в книгу; а я буду поверять на счётах. Нечего тужить, сами соберём подушину и писаря не надо. Ты теперь сходи, хоть завтра, в волость и возьми оттуда раскладочную книгу, а мы с Миколой пока до сбора денег в эти три недели позаймёмся ей, посчитаем да прино-



ровимся. А там, Бог даст, и дело оборудуем. Да чего же лучше, — вспомнил он, — сходи-ка завтра к дедушке Артемию Скрыпе да посоветуйся с ним.

Так и порешили.

Назавтра отец и я пошли к дедушке Артемию.

— Здравствуйте, — сказал старик при нашем входе, — здорово, брат Никола. Ну, как живёшь? Ишь ведь как вырос, — заметил он, ласково глядя меня по голове.

— Слава Богу, — ответил я несмело.

— Небось, по делу. Ну, говорите, что вам надо.

Отец рассказал ему наше затруднение и объяснил совет дяди Семёна.

— Ну, что же, добре, добре советует Семён Егорович. Я тоже думаю, что Никола с этим делом справится. Вот только малый на счётах ещё не умеет класть, да в этом выучит вас дядя Семён.

— Я на счётах уж хожу, — заметил я.

— Ой ли! — покачивая головой, ответил дедушка. — Ну-ка, покажи мне, как ты это делаешь. Вот тебе и счёты, — придвинул он снятый со стены инструмент.

Счёты оказались малого размера, против наших старых счётов, крупных и казалось мне, как будто что-то в них иное. Я бойко начал проделывать дядину задачу: «рубль без четверти», но скоро спутался и покраснел.

— Ну, не беда, ошибся. Горя нет. Ведь ты только что начал учиться, как же сначала не ошибиться? Да такие ли у вас и счёты-то, как у меня?

— Нет, дедушка, — ответил отец. — Счёты у нас большие.

— Вот то-то и есть. Пока к чему не привыкнешь, всё кажется что-то иное. А ты, милый, успокойся и давай потихоньку сложим дядину задачу.

Я снова начал класть «рубль без четверти» и, сложив 20 сумм без ошибки, нашел итог равным 205.

— Ну, вот и слава Богу, — заметил Артемий Степанович. — Я знал, что выйдет ладно.

— Вот что, — сказал в заключение дедушка, — начинайте с Богом сами собирать подушину. Никола, видимо, класть на счётах будет хорошо и всякую уплату запишет верно. Пусть пока подучится у Семёна Егоровича. А там и выйдет всё ладно.

— Спаси те Бог за совет и ласку, — сказал отец, низко ему кланяясь.

Через несколько дней мой отец получил из волости раскладочную книгу, и я перечитывал эту писаную тетрадь с каким-то страхом, хотя в ней только и было, что заголовок, перечисляющий, сколько приходится с каждой ревизской души государственной подати, земской повинности, мирского сбора, продовольственного капитала и пр., а потом поимённый список крестьян деревни Кулаковой с суммою в графе линеек против каждого следующего с него, как выражались тогда, «взыскания». В конце тетради стоял итог всех сборов прописью и цифрами да красовались копчёные печати волостного правления и головы, с замысловатой подписью волостного писаря. И тем не менее тетрадь меня страшила. «А ну как, — думал я, — наделаю ошибок? Ведь тогда мы вконец разоримся, и продадут у нас Гнедка и бурёнушку. О! Господи, помоги ты нам в этом горе», — мысленно взывал я к Богу.

Я достал где-то обрывок бумаги, разлиновал его по образцу раскладочной тетради и стал записывать воображаемые взносы-подати от Луки Мелкобродова. За ним значится, предположил я, 4 р. 45 к. Вот он и приносит будто бы в уплату 1 р. 20 к. Я записал крупным почерком год, месяц, число и сумму. Потом в другое время сумма взноса будто бы была 1 р. 50 к. и наконец в последний раз — 1 р. 75 к. Всё казалось верно и хорошо. Я ликовал и радовался. Но вдруг заметил, что моим писанием я занял столько места на бумаге, что заполнил им чуть ли не три соседние участка раскладочной тетради. Как тут быть? Я долго находился в затруднении, пока не догадался сократить слова и писать более мелко.

Вопрос решён, наконец, совсем, и вот я писарь сельского старшины, моего отца.

В скором времени отец мой получил из волостного правления и атрибут власти — железную печать со словами «сельский старшина», которую неграмотные люди, накоптив на свечке или на бересте, прикладывают к документам, подлежащим их удостоверению, как, например: сельский приговор, квитанция в приёме подати и пр., в знак того, что как бы данную бумагу они её своей рукою подписали.

Отец соорудил лёгкий деревянный ящик для вкладки сбоку раскладочной тетради; мать сшила из холста футляр — мешок с белым крепким шнуром на устье — для того, чтобы ящик класть в футляр, а потом носить его, держа за шнур, через плечо, когда требовалось являться в волостное правление, в уездное казначейство или ходить по городу за сбором податей, по домам и квартирам проживающих там крестьян деревни Кулаковой. Я каждый день с успехом упражнялся с дядей Семёном в «хождении на счётах» и, видимо, усваивал удачно счётную премудрость, что такое значит четь копейки и как считать и смаривать задачу «рубль без четверти».

Приближалось первое воскресенье сбора податей первой половины года. В субботу двум десятникам отдан был отцом моим приказ обойти всех домохозяев нашей деревни, постукивая под окнами палкою, и каждому сказать: «Эй, хозяин, завтра подушнину неси к старшине Чукмалдину». Рано утром в воскресенье пришёл к нам дядя Семён. Мать зажгла перед иконой в горнице восковую свечу. Все мы — отец, мать, я и дядя — помолились Богу, с началом и земными поклонами, прося усердно помощи в предстоящих нам трудах общественного дела. В переднем углу поставили стол. Положили на него раскладочную тетрадь и счёты; поставили пузырь-чернильницу с гусиным пером; песочницу, подсвечник с сальной свечкой и должностную печать. Дядя Семён сел на лавку в самый угол, отец поместился с одного конца стола с двумя холщовыми мешками для сбора серебра и меди, с одной стороны, и ящичком, с украшениями из соломы, для кредитных билетов, с другой. Я же примостился на противоположный конец стола, с раскладочной тетрадью и чернильницей.

Явился первым плательщиком крестьянин Петр Носырев.

— Бог помочь вам, — помолившись на икону в переднем углу, сказал он.

— Милости просим, — ответил отец. — Ну что, Петрован, подати принёс?

— Да, принёс: пока только 5 р. ассигнациями. А там, Бог даст, как продам сани, принесу опять.

Говоря это, он высыпал из рукавицы на стол сереб-



ряный целковый и пятнадцать медных гривен прежнего чекана. Отец сосчитал деньги и разложил их в мешки: серебро — в один, медь — в другой. Дядя Семён перевел счёт денег с ассигнаций на серебро, причём оказалось = 1 р. 43 к.

— Ну, Микола, — сказал мой отец, — ищи в книге Петра Носырева и запиши деньги.

Я быстро отыскал в строке имя и фамилию плательщика, за которым значилось податей и других повинностей 6 р. 57 к. серебром (23 р. ассигнациями).

— А теперь пиши, брат, что получено, мол, от Петра Носырева подати 1 р. 43 к.

— Тятя, — возразил я, — да тут мало места, чтобы уписать Петра Носырева.

— Эх, брат, да как же быть-то, ведь надо?

— Нет места — и не пиши, — вмешался дядя Семён. — Пиши только, что вот 10 января получено 1 р. 43 коп. — и довольно.

— Петр Носырев, — заметил я робко, — в книге уж написано. Я запишу только деньги — 1 р. 43 к.

— Ну и ладно, — согласился отец. — Теперь пиши ему с писарской бумажки «квитанцу».

Я начал списывать с образца квитанцию, что вот такого-то года, месяца и дня получено с крестьянина Петра Носырева подати 1 р. 43 к., в чём и приложена сельского старшины Чукмалдина печать.

Я прочитал вслух мою первую в жизни деловую бумагу. Отец и дядя её одобрили. После этого отец накопил на свечке железную печать и передал мне, чтобы не приложить её, по его словам, «кверху ногами». Я лизнул языком место на конце квитанции и надавил печать изо всей силы. Печать вышла правильно и ясно. Дядя Семён сказал:

— Хорошо. Молодец, племянник.

Я торжествовал.

Подходили другие плательщики и сдавали также деньги. Процедура счёта, записывание сумм и выдача квитанций продолжались так же, как и у первого плательщика. Мы просидели весь зимний день, принимая деньги, записывая их в книгу и выдавая квитанции.

К сумеркам закончен был приём; денег оказалось несколько сотен. Мы наскоро пообедали и потом принялись

за проверку кассы с записью. Отец пересчитывал деньги, я читал по тетради суммы, а дядя Семён считал на счётах. Все оказалось верно. Отец мой перекрестился и сказал:

— Слава тебе, Господи. Уж видно Бог нам помогает. Мать, а мать! — крикнул он через сени в избу. — Иди-ка сюда!

Мать вошла.

— Говори: слава Богу! Сколько мы денег собрали сегодня, и всё сошлось у нас верно. Спасибо скажи дяде Семёну за совет и помощь. А Микола-то всё ведь записал верно!

Мать, выслушав, стала меня ласкать и целовать. Дядя Семён, самодовольно улыбаясь, заметил:

— Ну что? Видите теперь, как всё у вас пошло хорошо? А то накося, чужого писаря нанимать? На что нам его; мы и сами справимся.

Так продолжалось дело несколько праздничных дней, пока денег накопилось столько, что надо было, с рапортом и ведомостью волостного правления, в обществе волостного головы и писаря, ехать моему отцу в Тюмень, сдавать их в казначейство. Рано утром собрались мы с ним в эту поездку. Гнедко был заложен в кошеву, и мы примкнули у волости к земской паре лошадей с колокольчиками, на которой ехали впереди нас волостной голова и писарь.

В казначействе народу было много, и нам пришлось долго дожидаться очереди, пока приняли от нас деньги. Страх для нас уездного казначейства был не столько в том, чтобы, сдавая деньги, рисковать прочётом, а главное в том, чтобы в массе денег не оказалось каких-нибудь фальшивых. У кого оказывались фальшивые кредитные билеты или монеты, тому приходилось трепетать. Кроме прямого убытка, пугала волокита следствия и суда, которую ни с каким убытком нельзя было и равнять. Но и сдача денег сошла у нас совсем благополучно.

После этого отец мой, перекинув через плечо холщовый мешок с раскладочной тетрадью в ящик, пошёл со мной по городу собирать подати с крестьян нашей деревни, там проживающих, кто в своих домах за Тюменкою, а кто в рабочих, на кожевенных заводах. Ревизских, податных душ деревни Кулаковой в городе значилось около 40, и мы не-

сколько часов ходили беспрерывно из одной части города в другую, получая деньги, пока к сумеркам не кончили всего обхода. Несмотря на то, что по дороге мы съели по калачику, я проголодался и устал так, что еле волочил ноги, и как только добрался до своей кошёвки, так и уснул в ней, как убитый. Проснулся я в своей уже избе, в деревне, ночью; отец и мать сидели за столом и ужинали. Как приехали мы из города в деревню, как вынесли меня, сонного, из кошёвки, я ничего этого не слышал и не помню.

— Ну что, проснулся, Микола? — сказал отец. — Иди покушай. Мы с тобой ведь, брат, шибко сегодня потрудились.

— А здесь уж были дядя Семён и тетка Анисья, — добавила мать, поднимая меня с лавки. — Всё спрашивали, как вы с отцом сдавали деньги в казначейство. Ну что, видел теперь город? Правда, какой он большой да хороший?

— Правда, мама, правда, — заговорил я. — Уж такой-то он большой, что страсть! Идёшь, идёшь по улицам — и конца не видно. А какие дома большие да высокие! Вот дом Зырянова каменный, большущий-пребольшущий: два этажа, внизу лавки с железными дверями, а двор весь выстлан плахами (досками)...

Я стал припоминать и огромных собак, что как залают, так и отдаётся по всем постройкам. Страшно даже туда войти. Припомнил, как мы проходили базаром, на котором чего только не было! И пряники, и карамельки, и сапоги, и такие картузы с заломом — чудо!

— Ну хорошо, мой милый! — ответила мне мать. — Иди-ка лучше да поешь. А мы поговорим с тобой об этом завтра.

День за днём, неделя за неделей в этот год службы моего отца сельским старшиною мы собрали в начале и конце года все подати и повинности, сдав их в казначейство без всякого прочёта. Прежний сельский писарь, тот самый, который раньше занимал мою должность, часто страшал моего отца прочётом, добавляя: «Ну где же видано, робёнку подати записывать», но в конце концов и он должен был замолкнуть. Многие крестьяне меня похваливали, а иные прибавляли несколько скептически:

— Хорошо иметь такого дядю, как Семён Егорович. С ним справлять дела, что тебе за каменной стеною.



Но как бы ни было, дело сделано, и репутация моя, как деревенского грамотея-счётчика, росла не по дням, а по часам. На следующий год вновь выбранные сельские старшины стали предлагать моему отцу отпустить меня к ним на время сбора податей за писаря. Преемник моего отца, старшина Корнил Пимнев, предложил даже жалованье 60 р. ассигнациями в год (17 р. 14 к.). Отец и мать долго не соглашались на это предложение, но совет родных, дяди Семёна и тетки Анисьи, громко заявившей — «пусть-де знают наших», — и, наконец, жалованье, деньги, казавшиеся тогда значительными, одержали верх над всяким опасением моих родителей. Соглашение состоялось.

Через день-другой приезжает к нам старшина смежной деревни Гусельниковой Нестер Мелкобродов и тоже предлагает отпустить меня к нему для записывания счёта податей за 50 р. асс. в год. Сначала родители совсем ему отказали, сказав, что я уже нанят кулаковским старшиною. Однако ж через несколько дней Мелкобродов снова приезжает с тем же предложением, добавляя, что уговорился с кулаковским старшиною распределить моё занятие: в Кулакове с утра до полудня, а в Гусельникове — с полудня до вечера. Мои родители продолжали отказываться, заявляя, что заниматься у двоих старшин одиннадцатилетнему мальчугану будет трудно и, сохрани Бог, что-нибудь напутает, грех большой возьмут они на свою душу.

Но старшина упрашивал с такой настойчивостью «явить ему божескую милость», уверяя: что он сам или его племянник каждый раз на своей лошади будут меня приводить и отвозить, тепло меня закрывая, что отец и мать, в конце концов, предварительно испросив на то согласие у старшины Пимнева, согласились. Таким образом, весь 1849 год, в первые и последние месяцы его, по праздникам, а иногда и в будни, с раннего утра до полудня я занимался записыванием и подсчётом платежей податей и повинностей — у кулаковского старшины; а с полудня до сумерек — у гусельниковского. Лошадка в кошеве ждала меня каждый раз, когда надо было ехать в смежную деревню или возвращаться домой.

Занятия по сбору податей шли у нас своим порядком, вполне успешно. Прочётов денег не было. Ко мне стали даже обращаться за разрешением щекотливых вопросов:

не фальшивы ли такие-то бумажки, серебро и золото? Я ездил с кулаковским старшиною в город за сбором пода-тей и ходил с ним точно так же, как и с отцом моим, по разным улицам, где жили кулаковские крестьяне. В одну из таких поездок старшина купил мне книжку «Еруслана Лазаревича». Вот было радости-то у меня прочесть первую книжку гражданской печати, какая мне попадалась! Не-терпение знать, что в ней содержится, так было велико, что зимою на ходу по улицам, от одного двора к другому, прочитал её от первого листа до последнего. Потом при-вёз её домой и часто вечерами перечитывал опять, волну-ясь и любясь героем сказки, с полным увлечением.

Ещё в практике с отцом и дядей я научился бегло и хорошо «ходить на счётах» и легко справляться с перево-дом денег с ассигнаций на серебро. Крестьяне же с боль-шим трудом привыкали к такому переводу. Им всё каза-лось непонятно, для чего надобно считать совсем не так, как оттиснуто на деньгах, к которым они привыкли и уже дали им свои ходячие названия: грош, пятак, гривна — медякам; четвертак, полтинник, целковый — серебру; и синяя, красная, мешочная — кредиткам. Изволь перево-дить для чего-то в серебро, в три раза с половиной мень-ше, наши гривны и синюхи, рассуждали они по-своему. Деревенский бард составил даже песню, как гуляет хвас-тливый человек, а у него в кармане:

*...блоха на аркане*

*Да копейка серебром.*

Чаю по деревням тогда не пили, и в виде угощения мне в домах старшин ставили кедровые орехи или порою пря-ники. Раз как-то старшина Пимнев подарил мне крупную игрушку, им самим устроенную, — мельницу с полным подвижным составом и жерновами, которая во время вет-ра вертела крыльями, гремела шестернями и колёсами, а верхний жернов кружился, как волчок. Радости моей не было границ, когда сам старшина принёс её к нам в дом и установил на высоком столбе нашего двора. Как только потянет ветерок, крылья завертятся — мельница моя нач-нёт молотить, а я собою изображаю в это время мельника, якобы наблюдающего за нею. Сколько зависти бывало у соседних ребят к владельцу такого неоценимого сокрови-ща. И очень счастлив бывал тот товарищ мой, которого я

порою удостою разрешения слазить по лестнице к поверхности столба, чтобы взглянуть вблизи на это чудо.

Вспоминаются мне некоторые товарищи и друзья детства. Вот соседский сын Илюша, тихий, скромный, не по годам задумчивый. Он был старше меня на 2—3 года. Бывало, в какой-нибудь игре все веселы, выкрикивают громко, хохочут без удержу, а он смеётся тихо или только улыбается, да так печально, что вот, кажется, так бы взял и заглянул к нему в сердце. Иной раз не утерпишь и невольно спросишь:

— Илюша, ты не болен ли?

— Нет, не болен, — ответит он, и с этим словом поведёт игру усиленно и засмеётся как-то громко и ненормально.

Что причиной было Илюшина характера, сказать теперь я не сумею, но думаю, что нелады в его семье и бедность крайняя положили на него подобную печать скорби и угнетения. Отец его много лет подряд был болен и не выходил из дома, а мать не отличалась домоседством. Мальчик вырастал под гнётом этих условий и складывался в натуру грустную, в страдальческий тип. Любил он порой петь песни и пел чудесно. Летом, очень часто, как только выйдешь, бывало, в узкий переулок, сзади нашего задворья, там уже и раздаётся тенор поющего Илюши. Семья его пашни не пахала, и Илюша, изо дня в день, зимой и летом, мастерил «накладки»\* для продажи на базаре. Как только наступала лёгкая работа в этом ремесле — резать зарубки\*\*, закладывать лучинки — так и начинаются Илюшины песни.

17-ти лет Илюша умер.

Был у меня другой товарищ, Федя Пимнев, одних со мною лет, мальчик шустрый и весёлый. Бывало, всякая игра затевается им первым.

— Сегодня будем в бабки играть, — скажет он, и мы играем в бабки.

— Давайте в мячик играть, «в отсталые», — заявит он в другой раз, и вся ватага ребятишек играет в мячик.

Припоминается мне ещё товарищ Сёмка Кожан. Этот мальчик был угрюм, любил бороться и бегать взапуски. Лицо

\* Полукруглая кибитка на телегу.

\*\* Украшения на передней дуге.



имел бронзового цвета, волосы чёрные, курчавые, фигуру нескладную и длинные ноги. При всех спорах за товарищей стоял горою и никогда не пускался в рассуждения, прав или не прав его товарищ: «Кто не за нас, тот супротивник», — таков бывал его ответ на всякие вопросы.

Были ещё у меня приятели, два брата — Стёпа и Василий Пимневы. Василий, удалая голова, идущая напролом, где бы ни попало. Стёпа же был мальчик чинный, аккуратный. На Василии платье всегда замарано и изорвано, у Стёпы же всегда оно чисто, и пуговицы на своих местах. Василий в играх был забияка, кричал без смысла и толку громче всех; Стёпа же играл тихо, скромно и правила игры соблюдал строго...

\* \* \*

Летом жилось гораздо веселее, чем зимою и осенью. Весною пашня, потом покос, ходьба по ягоды и жатва изо дня в день незаметно заполняли время. Я помогал отцу: весной — рубить дрова, боронить поля; на покосе — сгребать сено, возить копны; в жатву — таскать снопы и вообще делал всё то, что требуется от деревенского мальчугана. Не было ничего приятнее и веселее летом, как ходить с бабушкой Аксиной за ягодами — земляникой и клубникой. Бывало, бабушка выйдет на крыльцо нашего дома и группе ребятшек скажет:

— Ну, детва, хотите по ягоды идти?

— Хотим, бабушка, хотим. Ты дорогой скажешь нам новую сказку.

— Знала я, детки, сказки, — ответит, бывало, бабушка, — да все рассказала.

— Ну скажи нам, бабушка, опять про Бабу-ягу и Глинышка.

— Ишь какие! Который раз мне вам пересказывать?

— Ещё, бабушка, скажи разочек, — кричим мы хором.

— Ну, ин так и быть. Вот только взойдём на горку, там и примемся за сказку. Собирайте посуду.

Мигом бросаемся мы, кто за чашкой, кто за корзиной или за берестяным туесом\*, и через несколько минут наша экспедиция уже готова.

Деревней идём чинно, на горку бросаемся вразпуски и

\* Берестяная кружка с деревянным дном и крышкой. В крышке ручка.

там, дождавшись бабушки, опять идём тихонько до поскотинных ворот. Тут всегда привал и остановка. Бабушка снимает чарки\*, чтобы идти по траве босиком, и начинает певучим голосом сказку:

— В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Баба-яга страшная: блинчики пекла, детей заманивала, Глинышка-мальчика излавливала и т. д.

Сказка лилась в её рассказе так плавно и певуче, что мы старались идти тихо, толпясь как можно ближе к ней, чтобы не проронить ни единого слова. Пока идёт рассказ о приключениях Глинышка, мы незаметно достигаем знаменитого «увала» в Больших Логах, где всегда бывало множество клубники. Ягода зрелая, сочная, так и рдеет на солнечном припёке. Мы начинаем брать сначала не столько в чашки и корзинки, сколько в рот. Потом, налакомившись, начинаем соревнование, кто больше наберёт и у кого ягода будет лучше.

Но вот посуда полна — пора домой.

— Ну, ребятки, — скажет бабушка, — пойдём тихонько. Я нашла в кармане ещё сказку. Чур, только слушать смирно.

— «Стану я, благословясь, пойду, перекрестясь, на восточную сторонку, ко синю морю. И стоит там гора высокая, и лежит там камень Алатырь...».

И пойдёт старая рассказывать сказку, слово за словом, как нанизывать жемчуг, нитку за ниткой.

Мы снова слушаем с замиранием сердца. И где эта бабушка берёт такие славные сказки, бывало, думаешь упорно. Всё-то у неё так складно и певуче,

Славная старуха была, эта бабушка!

Наступали осень и зима — пора работ молотьбы хлеба, вывозки дров и сена, а в свободное время ремесла по выделке хрясел\*\*, деревенских саней и пошевной\*\*\*. Для молотьбы хлеба требовалось всегда четыре человека, составлявших дружную, спевшуюся группу, умело владевшую цепями, а потому всегда молотильщиков нанимали из крестьян Туринского уезда под именем «молотяг». Обы-

\* Род больших кожаных туфель, опушенных красным сукном, в котором пропущены завязки (шнурки).

\*\* Хрясла — верхняя часть телеги.

\*\*\* Пошевни — сани с высокими стенками, обтянутыми лубом.

чаем требовалось только, чтобы сам нанимающий хозяин с вечера высушивал овин с хлебом. Я всегда любил ходить с отцом «сушить овин», хотя помощи моей в этом случае и не требовалось. Тёмной ночью бредёшь, бывало, к ови-ну, неся с собой огниво, труть, серные спички и растопку. Пройдя туда, лезешь в овинную яму по крутому бревну с вырубленными ступеньками, заменявшему лестницу, чтобы сложить костёр из дров и зажечь его. Огонь разводился умеренный, чтобы как-нибудь не попала искра в хлеб и не произвела пожара. На случай приставания искры к потолку всегда имелись шайка с водою и на длинной палке веник. Всё время, пока продолжалась сушка овина, насаженного снопами хлеба, нужно было сидеть около огня, то подкидывая дров, то поправляя очаг, то зорко посматривая на потолок и колосники, нет ли где тлеющей искры.

### III. В тайге

После Ильина дня и покоса бывали годы, что целые семьи нашей деревни отправлялись караваном к северным татарам за сбором брусники. Такой поход за болота и озёра требовал обыкновенно особенных приспособлений. Прежде всего надо было выбрать лошадь, которая умела бы ходить болотами, не проступаясь в топкую трясиину. Умелая лошадь ставит переднюю ногу на зыбкую болотистую кору тихо и осторожно, а заднюю кладёт плашмя до колена. Неумелая же ставит ногу быстро и прямо, прорезая кору копытом, и часто проваливается до живота. С такою лошадию в болотном пути одно мучение.

Потом надобно иметь телегу с накладушкой, покрытую берестой и с колёсами без шин. К телеге привязывается длинная доска, как подвижный материал для понтонного моста, если встретится непроходимая иным путём полоса болота. В телеге помещались: полог, одежда, посуда, топор, лопата, съестные припасы и другие принадлежности, нужные для кочёвки в дремучем лесу в течение целой недели времени. В такую экспедицию обыкновенно собирались по семь и до десяти семей.

Выезжали из дома всегда рано утром, чтобы к вечеру приехать в Верхние Тарманы — последнее жилое татарское поселение к северу от нас, отстоящее от Кулаковой вёрст на 25, позади болот и озёр, как раз за границей векового хвойного леса. Дорога шла 15 вёрст лугами и гривами, ровная и гладкая, а дальше вёрст на 10 тянулись топкие болота, где надо было пробираться по окраинам, через раakitник и кочки. По принятому обычаю впереди обоза шёл вожак; за ним тянулись гуськом взрослые мужчины и женщины; а сзади лошадьми управляли дети и подростки. И как ни бывал опытен вожак, но в обозе то и дело раздавались крики: «Эй, тятка, лошадь утонула!». Тогда все взрослые спешили к месту остановки, где обыкновенно лошадь погрузила ноги в чёрную болотистую



жидкость и беспомощно мотала головою. Мигом освобождали её от запряжки, подводили доски и вытаскивали лошадь боком. После этого для проезда остальных телег обоза, в обход провала, подыскивалось более крепкое место, а где его не находили, там строили из запасных досок понтонный мостик, которым и переезжали растоптанную «няшу» болота. На таком месте всегда ставили затем вежу, предупреждающую об опасности.

Но вот заблестит, бывало, зеркальной гладью Тарманское озеро, а на берегу его затемнеются дома с высокими белыми трубами Тарманских юрт, или, проще говоря, татарского посёлка. Болота шли к концу; чем дальше, тем дорога была лучше, и почва колебалась под нашим поездом всё меньше и меньше. Теперь для глаза уже незаметны становились волны болотного покрова, какие часто виделись при проезде через центральные трясины. Вожак командовал: «В повозки», и все, усевшись на телеги, крупным шагом подвигались к татарской деревушке. На окраине её встречала стая собак, с неистовым лаем бросавшаяся к лошадям. За нею шли двое татар, знакомых нашему вожаку, — Селим и Багай.

— Здорово, брат Корма, — кричали они издалека. — Что, за ягод пошел? Карашо!

— Собирались за ягодами. Укажи, пожалуйста, где переночевать.

— Ходи ко мне, — зовет Селим. — Рыба дам, молока дам, всего дам.

Поезд наш линией вытягивается по улице против Селимова дома. Мы, дети, высыпаем из кибиток глазеть на грязную, но пеструю и занимательную толпу татарских ребятишек, одетых в рваные рубахи, с аракчинами на головах мальчиков, бусами и монетами на шеях девочек. Лошадей отпрягают и ставят под крышу. Оглобли от телег поднимают кверху, а сами телеги сдвигают одну к другой поближе. Одни из наших женщин идут к Селимовым коврам, обмыть им вымя и подоить в свои посуды, дабы не оскверниться молоком татарского доения. Другие отправляются к озеру за водой, также со своей посудой.

Всем татарским домашним обиходом русское население пренебрегало и относилось к нему, как к чему-то неpotребному, с чем грех даже соприкасаться. Всякая татарская посуда, их хлеб, молоко и мясо признавалось пога-

ным и для христианина неподходящим. Теперь, пожалуй, такое отношение к инородцам покажется довольно странным, тем более, что у них в домашнем обиходе было всюду хорошо вымыто и чисто. С этой стороны они стояли ничуть не ниже многих христианских домохозяев. Одно у них казалось дурно — это выдача собакам всех остатков пищи в тех же самых чашках, из которых ели инородцы сами. Это уж для нас, несомненно, было «погано».

\* \* \*

Вот на берегу большого озера запылало несколько костров, закипели котелки с рыбой и провизией. Вынимались из телег скатерти, посуда и стлались и ставились на чистом песчаном берегу. Весь табор разбивался группами, и каждая отдельно рассуждала о своих делах. Женщины возились с котелками и провизией, громко восклицая: «ах батюшки, рыба пригорела!», «ах! соли положить забыла!»; а мужчины толковали с местными татарами, добиваясь самой низкой платы «ясака» за право собирать бруснику в их татарских сограх и лесах. Татары требовали полтину с человека, а наши старики давали по две гривны. Кончили на том, что «ясак» условили — две гривны с человека и по шкалику с телеги полугара, когда приедут татары сами к нам в деревню.

Рано утром на другой день табор наш выехал из юрт по направлению к сограм и сосновым лесам, где особенно водится брусника. Дорога шла сначала песчаными буграми, незаметно поднимаясь выше, и вдвинулась потом через подлесок в густой сосновый бор, пока совсем не исчезла. Дальше приходилось подвигаться гривами и косогорами, полагаясь только на особенное чутье и знание мест наших вожаков. Там и сям около сосен попадалась спелая брусника, но мы не останавливались и ехали всё дальше и дальше. Порою на прогалинах, на песке попадался нам свежий след медведя — то отпечатывались лапы с когтями, то валялся помёт. Но это соседство как-то не казалось страшным. Лошади шли весело, а ботала у них звенела сильно, отдаваясь громким эхом в высоком и кондовом лесу сосны и ели. Но вот поднялись на возвышенную гриву и, подвигаясь далее, спустились в согру, где вперемежку с елью росли кустарники и берёза. Вблизи её, на отлогом холмике, между куп высоких сосен старики опре-

делили место для нашего становища. Первым делом вожаки спустились на опушку низменного места: между согрой и урманом, чтобы выкопать колодезь и брать оттуда воду; все же остальные люди устраивали лагерь, устанавливали полукругом телеги, поднимали оглобли, натягивали пологи и раскладывали в центре полукруга костёр для постоянного огня. Отпрягли и спутали лошадей, которые, похрапывая и звеня боталами, усердно принялись щипать сочную траву в ложбинах вокруг нашего становища...

Часа через два вожаки вернулись в лагерь и объявили всем, что колодезь выкопан, подмости к нему сделаны, и вода, пожалуй, отстоялась. Костёр из сухих сучьев и смольняка был подождён и пылал на славу, разнося дым между ветвей деревьев. Около него вколотили рогатые колья как подставки для тагана, по числу семей, и навешали на длинной палке котелки с водою. Началось живое, полное суеты приготовление горячего обеда. Тем временем вожаки пошли на разведку, разыскивать поляны и бугры по сограм, где особенно растёт брусника. Через час они вернулись с хорошими вестями: ягоды кругом, по их словам, было видимо-невидимо, а в доказательство своих речей высыпали нам по пригоршне крупных спелых ягод.

Весь вечер первого дня прошёл у табора в окончательном устройстве лагерной стоянки и ужина. Кто рубил из сухоподстойника дрова, запасая на ночь; кто присматривал за лошадьми, бродящими по низменностям; а кто рубил еловых веток для прикрытия телег и пологов. Женщины возились с домашним скарбом, приводя в порядок посуду и запас провизии. Мы, детва, весело шумели в новой обстановке, собирая кучи хвойных шишек, подбрасывали их в костёр и наблюдали, как они сначала зашипят, а потом вспыхнут с треском.

За ужином выбрали единогласно моего дядю, Корнила, старостой табора, а моего отца — вожаком по лесу и по сограм, когда с завтрашнего дня придётся уходить из становища за сбором ягод. Дежурного на ночь, для охраны лошадей от Мишки, решили выбирать по жребию. Кто-то предложил произвести эту операцию жеребьёвкой еловыми шишками.

— А и то, братцы, — заметил дядя Корнил, — ведь мы в лесу, а стало быть, и жребий надо делать, как лес велит.

Собрали семь еловых шишек, по числу телег, одинакового вида и размера, заметя на одной из них угольный значок, положили в шляпу. Кто выберет шишку с таким значком, тому и быть дежурным на ночь. Жребий выпал на нашего соседа по деревне Василия Пимнева.

— Ах, братцы, — заметил он, — что же мне делать-то с ружьём? Я его немножко побаиваюсь.

Все засмеялись.

— Вот что, — сказал дядя Корнил, — ты ружья боишься, а медведь человека боится. Уж это так верно, как Бог свят! Прошлым летом, — продолжал он, — с Федькой Горошенкой слышали, какая случилась оказия? Собирает это он в лесу бруснику, ни о чём не думая, а только кладёт да кладёт целыми горстями ягоды в лукошко, благо, нашёл гривку на какой-то согре, где брусники было, как насыпано. Вот он ягоды берёт да берёт, и только что прополз на коленях кругом корня упавшей сосны да глянул наперёд, а тут близёхонько лежит Михайло Иванович да ягоды кушает. Горошенка крикнул, что есть мочи, да бежать! Медведь испугался до смерти и давай улепётывать в другую сторону. Кто кого пуще испугался, это, милый мой, и не разобрать.

Шутки и рассказы, то страшные, то забавные, продолжались потом долго, пока не стемнело. Над табором спустилась ночь, и в тишине её мелодичным шумом заговорил лес, убаюкивая нас ко сну, под пологам и накладушками.

Назавтра встали рано, позавтракали, повесили себе на плечи кто лукошко, кто кузов\* или корзину; в руки взяли берестяные туесья, куда сунули по куску чёрного хлеба, и отправились за ягодами. Впереди шли мой отец, мать и я, а за нами гуськом тянулась вся ватага мужчин, женщин и детей. На всякий случай старики засунули за кушаки топоры и вооружились дубинками. В таборе остался сторожить ночной дежурный.

Ходьба тайгой, или, выражаясь местным языком, ходьба *урманом*, сограми и гривами — совсем особая ходьба. Гривою идёшь по сухому месту, где нет почти травы и вековые сосны своей тенью совсем укрыли землю от солнца.

---

\* Большая посуда из бересты с крышкой, носимая обыкновенно за плечами.



Но вот на гриве-склоне она кончилась, и начинается покатошь — *согра*. Сосны поредели, и то там, то сям гниют громадные стволы валежников, убитых бурей, с поднятым щитом корней с землёю, а между ними, как ковёр, краснеет брусника. Ещё ниже, на самом дне и стоке вод, лежит *урман* — сплошная масса кустарников и лиственных деревьев, где трудно пробираться даже пешему. Под ногой земля зыбит и уходит в мягкий мох чуть не по колено или проваливается между кочек, в грязь и воду. С боков густая чаша полукустов, полудерев, ольхи и черемухи. Внутри урмана растут местами смородина, малина и завершается в низменных прогалинах клюквой и морошкой.

Отец остановился и указал нам на ряд маленьких полянок по увалу, освещённых косыми лучами утреннего солнца.

— Вот и брусника, — сказал он.

Мы разбрелись направо и налево. Перед нами раскрывались сплошные алые ковры спелой ягоды. Надо быть и видеть самому среди девственного леса и урманов это поле красных ягод, чтобы оценить вид и красоту подобного зрелища. На склоне согры, между редких, но могучих сосен расстилается полянка, одетая брусничником, поверх которого как бы пролита алая лоснящаяся краска. Ковёр из ягод стелется, изгибаясь по всем неровностям очертания поляны, забегает на холмы, образованные корнями и землёй, крупного залежника. Роса блестит бриллиантом на каждой ягоде, на каждой ветке и листочке. Внизу урман лежит, ещё одетый пеленой голубоватого тумана, а вверху на гриве стеной стоит могучий бор сосновых великанов.

Через несколько часов все наши запасные вёдра, корзины и кузова были полны ягодами, и мы пошли на становище, едва неся на плечах и в руках тяжёлые ноши. Около бивачного костра была уже налита в котлы вода остававшимся дежурным, сторожившим наше становище и телеги. Ноши сняты и поставлены в тени. Устали все страшно и ждут отдыха и сытного обеда. Пришлось наскоро варить сушёную рыбу, готовить кашу-заваруху и кое-как поджаривать ломти чёрного хлеба с солью. Все довольны хорошим сбором, но молчат, ограничиваясь только редкими вопросами и ответами.

К вечеру разостлали на земле полога, рассыпали на них

бруснику, и пошла кропотливая работа отделения листков и корешков, так называемая «чистка ягод». Кто-то из работающих предложил «веять на ветру». Но где же взять его среди глухого леса? Тогда встаёт от ягод изобретательный Никишенька и заявляет всем, что он устроит веялку.

Первым делом выбрал он в лесу прямую мелкослойную настоящую кондовую сосну, срубил её и, отделив обрубок аршина в два длиной, приволок его к костру. Потом при помощи других расколол обрубок надвое и нащипал драниц, насколько было возможно тонких. Затем устроил козелки, на манер праздничных качелей, с перекадиной наверху, конец которой выдавался наружу примерно на аршин. Ещё дальше снял с оси телеги переднее колесо и, надев его на перекадину козелков, прикрепил к нему по градусам спиц тонкие драницы. Во втулок колеса с одного конца ступицы смастерил и укрепил коленчатую рукоятку. Веялка была готова. Применили её к делу, и оказалось, что действует изрядно. Все наперерыв начали похваливать Никишеньку, а он краснел и робел, не знал, что ответить на сыпавшиеся от товарищей одобрения.

Веялка всё время сбора ягод вертелась и с успехом служила делу. Её разорили лишь тогда, когда понадобилось возвращаться домой и водворить тележное колесо на его законное место.

Эпизодов разных во время сбора ягод было, как всегда, немало, и все они оканчивались шутками и смехом. В один из вечеров, когда стемнело, мы сидели кругом костра, лениво перебрасываясь словами. Было тихо, и соседние ветви сосен едва покачивались от нагретого костром воздуха. Пламя вспыхивало и понижалось, и отражение света на деревьях также то ярко блестело, то темнело и как бы потухало. Где-то на озере крякали утки, и чуть слышно стрекотали в траве кобылки. Вблизи костра стояли лошади, покачивая головами и отмахиваясь хвостами; на них звенели ботала, точно переключаясь между собою. Кому-то в это время пришло в голову рассказывать о привидениях и леших. Рассказчик чуть не с клятвой уверял, что всё будет одна истинная правда.

— Возьмите вы, — начал он, — случай с Иваном Кулаковым. Ехал он однажды в Каменку на мельницу, чтобы

смолоть мешок ржи, а дорогой, возле самого села, хоронят покойника. Он возьми да и подумай: «Вот назад поеду ночью, а покойник-то меня и схватит». И что же думаете, братцы? Едет он с мешком муки обратно мимо кладбища и опять подумал о покойнике. Взглянул на кладбище, а покойник-то лезет через ограду. Обомлел Иван со страха, ударил по лошади. Лошадь понеслась, а покойник за ним, всё ближе и ближе. Иван крестится и читает молитвы, а покойник уже сзади на облучке трясётся. Сам весь в белом, глаза закрыты, зубы стучат: умирай со страху, да и только! И чем же кончилось такое наваждение, думаете, братцы? Лошадь в мыле прискакала к дому, а Иван мертвым-мертво лежит на дне телеги без движения. Три недели, бедный, вылежал в горячке после этого.

— Или вот, — продолжал рассказчик дальше, — не к ночи будь сказано, когда лесной тебя «заводит». Идёшь тогда по лесу и знаешь, ведь верно по приметам, где направо, а где идти прямо. Но если дедушка «лесной» — «прости Бог слово» — поведет тебя — пиши пропало. И будешь ты кружиться на одном и том же месте целый день, не находя пути-дороги, а он тебе в лесу то вороном прокаркает сверху, то сорокой прощекочет сбоку, то зайцем перебежит дорогу, то, наконец, филином захохочет. И вдруг...

Рассказчик внезапно остановился с испуганным выражением лица и к чему-то стал внимательно прислушиваться. Слушатели, с замиранием сердца внимавшие рассказу, тоже насторожили уши и явственно услышали поблизости хохот человека.

— Да воскреснет Бог! — зашептали женщины.

— С нами крестная сила! — восклицали мужчины.

Переполох вышел выше всякой меры. Все испугались страшно. Дядя Корнил схватил ружьё и, благословясь, выстрелил в воздух. Громкое эхо раздалось вокруг нашего становища и пошло повторяться по лесу. Оно наконец замолкло, и вот снова в лесу и на том же, по-видимому, месте кто-то вновь захохотал, потом заплакал, как дитя, и заблеял, наконец, ягнёнком.

— Да что вы, други, испугались, — заговорил отец, — ведь это филин передразнивает. Неужто филина не слышали?

— И впрямь, — заговорили все хором. — С ума сошли, наслушавшись поганых рассказов.

Все разом засмеялись и стали передразнивать один другого, кто как подскочил с земли со страху, кто какую скорчил гримасу. В особенности много насмешек досталось дяде Корнилу за то, как он серьёзно да с молитвою стрелял в «лешего», а там оказался только филин.

\* \* \*

Я был мал, почти ребёнок, плохо понимал и сознавал, но и тогда картина окружающего лесного царства произвела на меня такое глубокое впечатление, что, несмотря на прожитые долгие годы, оно мало потускнело и теперь. Мне живо вспоминаются и та грива, где мы корчевали, и согра, где мы нашли так много ягод, и урман, где мы брали воду из колодца. Каждый раз, как только вспомню я эту поездку за брусникой, так и встаёт в моём воображении во весь рост ряд картин нашей северной растительности, одна другой величественнее и прекраснее.

Вот глушь лесная в вековом и девственном бору могучих великанов — сосен и елей! Кто передаст человеческим языком всю гамму этих красок, всю мощь и красоту этой природы, где не ступала ещё человеческая нога? Вот ствол сосны в два обхвата толщиной, за ним другой, третий — и целый ряд стволов, уходящих кверху на 15 сажен. Их вершины увенчаны серо-зелёными побегам ветвей. Кора внизу корня шероховатая, с коричневым оттенком, а выше по всему стволу переходит постепенно в жёлтый, светло-жёлтый и чуть видно светит палевым на сучьях и отростках. Смолистый аромат сосен наполняет воздух, а сама смола капает на землю прозрачными слёзами янтаря. Серый дятел где-нибудь вверху стволов долбит один из них, и гул ударов его клюва звонко раздаётся в кондовой древесине. Пронесётся ветер, зашумят вершины, и целый рой мелодий охватывает душу. Прислонитесь к великану сосне и с закрытыми глазами отдайтесь на волю грёзам, мечтам без слов, и тогда природа-мать раскроет вам, какие глубины великих тайн скрываются за видимым и слышимым житейским нашим миром.

Выйдите из царства сосен к косогору-согре и взгляните вниз, где растут другие великаны — ели. Вид у них иной, иная зелень цвета, иной характер сучьев и ветвей. Как ши-



рока её окружность внизу, как стройна игла, уходящая стрелою кверху, как мягки очертания и формы сучьев и ветвей! Вот прынула на ель гурьба таёжных белок, и пошли качаться ветки плавными размахами. Одна, другая белка мелькнёт своим пушистым хвостом между веток и усядется, насторожив уши, в позе выжидания на качающейся ветке...

А ещё ниже косогора-согры, поблизости урмана виднеется сибирский кедр. Иглы его хвои длинны и висят кистями на концах ветвей, где зреют в серой шишке зёрна жёлтого ореха. Красиво и величаво каждое дерево старого северного кедра! Люблю я вековую сосну, люблю берёзу, липу, ель, даже осину, но больше всех люблю и восхищаюсь нашим сибирским кедром в его природном состоянии, сколько в нём несравненной красоты и мощи.

Когда вы стоите среди такой тайги, где не был ещё хищник-человек, не рубил деревьев, не запускал палов, не жёг кустов для сенокоса, тогда увидите вы ясно, почувствуете внутренними духовными очами, как живёт природа, какой великой мощью, творя и разрушая, проявляются её живые силы. Земля усыпана хвоей и листвой; упавшие деревья гниют и разрушаются, но на их остатках возникает и растёт «младая жизнь» опять с такой же новой силой порыва. Здесь громадная сосна, там пихта, ель и кедр, в прогалинах брусника и багульник, в урмане мелкие кусты и клюква, а на опушке топкого болота волной колышется высокая зелёная осока!

Попробуйте рассказать, попробуйте изобразить этот дикий лес и дикую природу!

За неделю времени все участники табора набрали ягод полные телеги. Помолившись Богу на восток, запрягли лошадей и медленно, одна телега за другой, по старым следам нашего же пути потянулись домой.

## IV. Рекрутчина

1849-й и 50-й год я занимался в деревне тем же, чем занимался и в 48-м, т. е. был писарем у сельских старшин и часто приглашался в волостное правление делать за неграмотных крестьян под постановленными приговорами рукоприкладство. Во время следствия по какому-нибудь уголовному случаю наезжавший заседатель Добровольский всегда меня приглашал подписывать «руку» при повальных обысках или одиночных показаниях обывателей и подсудимых. Я старательно выводил тогда стереотипную подпись: «Вместо крестьянина такого-то, неграмотного и по личной просьбе крестьянский сын такой-то руку приложил».

Одно время появился в волостном правлении новый помощник писаря, какой-то ссыльнопоселенец по фамилии не то Волинский, не то Зелинский, показавший мне невиданное мною чудо, что можно цифры складывать без счётов. Это-де называется арифметикой. Долго я дивился, как он слагал, вычитал, множил и делил цифры. Такой науке и искусству я страстно пожелал выучиться. Но где же было взять денег для платы учителю и времени для занятия такими пустяками, как считалось это окружающими? Но желание знать было у меня способно перерастить всякое препятствие, и мы с Зелинским нашли из возникшего затруднения такой выход: он напишет мне арифметику, а я заплачу ему за это 30 к. и буду сам учиться, самоучкой. Такую сумму денег я накоплю из тех, что мне порой давали за написание билета на отлучку или рукоприкладство. В план этой затеи была посвящена моя другая бабушка Авдотья, согласившаяся быть моим временным казначеем. Долгое время мне пришлось носить на хранение бабушке медные пятаки и двухкопеечники, а сумма 30 коп. серебром всё ещё не собралась. Как-то раз секрет наш случайно обнаружился. Однажды в сумерки в присутствии родных я сунул потихоньку в руку бабушке медную монету. Та приняла монету неловко, пятак упал к ногам и

звонко покотился по полу. Я ни жив ни мёртв стоял среди избы. Замыслы наши сразу обнаружилились, и я должен был рассказать отцу и матери с начала до конца всю мою затею. Меня довольно пожурили, главным образом за скрытность, но назавтра же добавили недоставшие копейки и приказали выкупить писаную арифметику. Таким образом вся неприятность окончилась благополучно.

Как теперь помню: был какой-то праздник среди Великого поста. Скворцы уж прилетели, усердно вили гнезда во всех скворечниках нашего двора и, садясь на елки, звонко распевали свои песни. Солнце грело по-весеннему, и грязь двора и переулка значительно просохла. Меня принарядили в новые сапоги, ситцевую рубашку, нанковый кафтан и вручили деньги, чтобы отнести Зелинскому и выкупить «писаную книжку».

С какой неопишуемой радостью я нёс домой это сокровище! Едва показав его родным, я тотчас же убежал на сеновал, где никто мне не мешал заучивать по тетради правила сложения чисел. Мне казалось в это время, что нет меня счастливее никого на всём белом свете...

\* \* \*

Поздней осенью каждый год почти объявлялся у нас рекрутский набор, или, выражаясь местным деревенским языком, «солдатчина», вызывавшая всегда в любой очередной семье потрясающие сцены горя и страдания. В те времена человек, принятый в солдаты, считался для семьи навсегда потерянным. Солдатская служба тянулась 25 лет, и только в самых редких случаях возвращался солдат на родину, да и то старым инвалидом, претерпев в строю всякие невзгоды, отчаянную муштровку и телесные наказания. Немудрено поэтому, что один слух о рекрутском наборе производил на крестьян подавляющее впечатление. Тягость рекрутской повинности усиливалась ещё больше в тех случаях, когда она обрушивалась на единственного сына у отца и матери. А это случалось, как говорится, «сплошь и рядом» в силу прежнего закона, указывавшего считать души «от ревизии до ревизии» и не признавать раздела семейства во весь промежуток между двумя ревизиями, хотя бы люди и жили много лет отдельными семьями.

Как только, бывало, разнесётся весть: «солдатчина», так и пойдут в очередных семьях слёзы и страдания. Обыкновенно назначалось с тысячи ревизских душ от 5 до 15 человек для сдачи в рекруты. Если требовалось 10 с тысячами, то приходилось доставлять в казённую палату, за 280 вёрст расстояния, двойной комплект в 20 человек на случай «бритого затылка». Сверхкомплектные назывались «подставными», и бывали случаи, что не хватало годных в рекруты и двойного количества кандидатов. В подобных обстоятельствах сдатчики рекрутов возвращались экстренно «заворотом» из Тобольска в дер. Кулакову, и опять везли оттуда недостающее число людей, в двойном количестве. Все денежные расходы: суточное содержание, прогоны, а также первая обмундировка принятых палатой рекрут должны были производиться от деревни, именуясь рекрутским подбором, и всегда бывали более или менее значительны.

Когда кончались в волостном правлении выборки из записей ревизских сказок, «кого везти в солдаты» и устанавливался окончательный именной список, тогда же назначался и срочный день отъезда. Этот день отличался полными контрастами скорби и разгула. На улицах деревни в одно и то же время шум, песни и бесшабашное веселье, а внутри семей очередных кандидатов сплошное море слёз, горе и отчаяние родных, неопишуемая скорбь бедных матерей. «Проводины» всегда бывали вечером, при фонарях и факелах, всей толпой крестьян, разбившейся на группы, и представляли собой зрелище, из памяти неизгладимое.

Кандидат в рекруты переживал прежде всего у себя дома, в своей избе или горнице, в последний час разлуки с семьёй страшное прощание «навек». В переднем углу комнаты, перед иконою, безутешно рыдая, прощались с ним отец и мать, благословляя его «в путь-дороженьку, в дальнюю сторонушку» и не надеясь больше свидеться на белом свете. Затем «добра молодца» выводили товарищи под руки на двор и улицу, по которой двигалась вся толпа дальше, на сборный пункт горы, у поскотинных ворот деревни. Кандидат шёл или, вернее сказать, его вели товарищи, одетого в праздничное платье, с шалью на плече, помахивающего порой пучком цветных платков над головою. Иногда он останавливался попрощаться «на веки



вечные» с каким-нибудь близким человеком и потом снова продолжал свою дорогу. Мать его, убитая горем, если могла держаться на ногах, плелась, причитая, за сыном, а молодёжь в то же время распевала одну за другою разухабистые песни.

Всё это вместе взятое представляло собою глубоко драматическую картину деревенского быта, где люди надрываются над песней, чтобы не плакать; дают провожаемому на прощанье деньги, а он повторяет только фразу: «Не поминайте, братцы, лихом!».

Проводины продолжались за деревню, до сборного указанного места, где сдатчики и волостное начальство старались поскорее оторвать провожаемых от толпы родных, посадить их в приготовленные сани на «земских лошадей» и увезти немедленно «в путь-дорогу, во казённую палату», как причитали оставшиеся матери.

Переезд на земских лошадях до Тобольска сдатчиков и кандидатов в рекруты продолжался дня 4—5, причём многое зависело от ловкости распорядителя, каким путём вести порядок на назначенных ночлегах с вольною молодёжью, позволяющей теперь себе иной раз кое-что лишнее. Умеет сдатчик быть строгим, где нужна строгость, и ласковым, где нужна ласка, — обоз людей пройдёт расстояние значительно скорее. Не сумеет — и пойдут в дороге шум и ссоры, и приезжают к месту назначения с опозданием на 2—3 дня.

В Тобольске в это время всегда бывало множество серого приезжего народа — сдатчиков, со стриженными лбами новобранцев, со стриженными затылками бракованных и кандидатов в рекруты. Всё это двигалось по улицам города, пело и гуляло. Шум и гам в это время был такой, что, как говорилось, «только пыль столбом стояла».

Но вот казённая палата назначает день приёма рекрутов от Троицкой волости, куда, как часть целого, входит и наша деревня Кулакова. Густой толпой стоят на дворе, на лестнице и в передней палаты очередные кандидаты в рекруты и их сдатчики с пакетами документов от волостных правлений. Присутствием палаты вызывается громко, через ряд фельдфебелей, такая-то волость, такого-то уезда и из неё такой-то кандидат. Его вводят в зал присут-

ствия, раздевают донага, осматривают и решают, годен или нет к приёму. В том или другом случае дают знать фельдфебелям, а те громко повторяют в дверях, через которые выходит бывший кандидат, — «лоб» или «затылок», а цирюльник дальше стрижёт и бреет ту или иную часть волос на голове.

Недели две после «проводин» томится, бывало, деревня в ожидании верного известия, кто именно «ушёл в солдаты», и вот тут-то наносились в сердца матерей последние «на веки вечные» незаживающие раны.

Для сдачи в рекруты богатые семьи деревни нанимали иногда за подрастающих сыновей «наёмщика». Условия найма охотника всегда вращались в рамке 200—300 р. (ассигн.) единовременной платы; уплата податей до следующей ревизии; месяц гулянки с заездами в кабаки; несколько вечеринок и неизбежный балаечник. У нас в деревне был захудалый мужичонка, некто Пошовни, вечный пьяница, песенник и балалаечник. На каждой вечеринке, на любой попойке всегда был и Пошовни, альфа и омега всякого веселья. Никто лучше его не пел песен, никто лучше не играл на балалайке, которая в его руках «струнами говорила». Вот этот Пошовни да другой пьяница Порвало и нанимались для гулянки и езды на лошади с наёмщиком. Сам хозяин в этот месяц превращался в кучера и терпеливо выносил всякие капризы гуляющего трио, возя его по деревне, куда седокам вздумается, и присутствуя на погулянках. Бывало, едет по деревне подобная компания. Пошовни начинает наигрывать и петь какую-нибудь песню, а Порвало подхватывает и поёт её дальше. Сани убраны ковром, на дуге у лошади развеваются яркие платки, на узде звенят, переливаясь, «ширкунцы», а сам наёмщик, опоясанный шалью, важно развалился в задку саней, ухарски помахивает в воздухе связкой ситцевых платков. У кабака остановка, и внутри его начинается шумное веселье, с выпивкою полугара. Пошовни играет плясовой мотив и сам идёт плясать вприсядку, за ним тянется Порвало и завсегдатаи кабака, пьяницы-пропойцы, продолжая выпивку и оргию, пока совсем не опьянеют. Тогда хозяин собирает своих пассажиров в сани и везёт к кому-нибудь из них в дом, укладывая спать до другого утра и подобного же дня с погулянками.

Неграмотный, нигде в то время не находивший ни правого суда, ни защиты деревенский мир вырабатывал в себе свои особые воззрения на все его окружающее. Он не мог себе представить даже, чтобы чиновник, им управляющий, судья, его судящий, не брал взятки и не мог сделать правым неправого и обратно. Если случалось, что кто-нибудь не принимал подарка, то подноситель объяснял себе дело тем, что «видно, мало», но никак не тем, что чиновник поступает по сознанию лежащего на нём нравственного долга. Все отношения крестьянина к миру чиновному «искони веков» сопровождалось «поборами», а посему он был непоколебимо убеждён, что «законы святы», да исполнители — «злые супостаты» и что «до Бога высоко, а до царя далеко». Деревенский мир вообще, и каждый крестьянин порознь, сохраняли добрые христианские отношения только между собой, в своём быту и обиходе. Эта нравственная, в общем взятая суровая простота была чиста и выражалась заповедью физического неустанного труда, молитвой Богу и воздержанностью от всяких излишеств. Грамотности почти совсем не было, а отсюда возникало много суеверий, одно другого нелепее. Верили тому, что существует порча, дурной глаз, что можно заслонить месяц, напустить болезнь и проч. Так, во время холерного года (1848) разыгрался на сельском сходе страшный случай самосуда и расправы с портным деревни поселенцем Яковом. В Тюмени в это время свирепствовала холера, распространяясь и по окружающим город деревням. В нашей Кулаковой, в селах Луговском, Каменском и других было также несколько случаев смерти от холеры. Стояла страшная летняя жара, какую в той местности редко кто припоминал. Вода в реке Туре приняла цвет небывалого красного оттенка. Ни песен, ни смеха совсем не стало слышно, даже цветные наряды в это время считались неприличными. Все настроены были мрачно, в ожидании дальнейшей грядущей беды, «Богом допущенной за наши грехи», рассуждали миряне, или напущенной каким-то злым человеком, быть может, по ветру, по воде, «вишь, какая она стала красная». На сельском сходе кто-то рассказал, что вот-де надо бы «догля-

деть», что за шарики красного цвета имеются у портного Якова и почему он, точно нехристь, в этакое время распевает песни? Все встрепенулись, точно нечаянно открыли что-то важное, и стали вспоминать, как Яков удил рыбу и лёсу все забрасывал только слева; как он в кабаке пил вино и выплескивал остатки опять налево и ходит каждый вечер зачем-то «в Таптагай». Раздражение против Якова поднималось сильное и выросло в решение вытребовать его на сход немедленно. Через четверть часа портной Яков, насильно приведённый, стоял уже перед сходом и что-то громко кричал и размахивал руками, но за гвалтом «мира» разобрать было невозможно. Кто-то из толпы вытащил из кармана у него красный шарик и положил его на бревно, лежавшее на улице. От зноя солнца шарик начал таять, испускать что-то вроде пара и издавать запах. Толпа пришла тогда в неистовство, обвиняя Якова в колдовстве, а некоторые начали бить его чем попало, не внимая увещаниям тех, кто ещё оставался благоразумным.

Через несколько минут Яков был истерзан до того, что лежал на земле еле живой, в разорванной одежде, с ранами на голове, обливаясь кровью, и не мог уже говорить. Тело его судорожно вздрагивало и трепетало.

В эту минуту к галдящей, озверелой толпе подошёл седой, как лунь, старик Карп Лазарев и когда увидел и узнал причину самосуда, то снял шапку, бросил её наземь и воскликнул:

— Что вы, безумные, делаете? Где на вас крест-то Христов? Сейчас несите сюда воды!

Толпа притихла, и из неё тотчас некоторые пустились за водой.

— Ишь ведь что натворили, окаянные, — продолжал дед, трогая Якова и расстёгивая ему ворот рубахи, где виднелся нательный медный крест.

— Вот и укор злодейству вашему, — добавил дед Карп, указывая на крест у Якова.

Толпа молчала, видимо, поражённая словами деда. Многие начали обливать Якову голову водою и давать ему пить. Несчастный начал стонать и приподниматься с земли. Его под руки увели на занимаемую им квартиру.

Другой случай из мира суеверий сопровождался забав-



ной развязкой. У нашего соседа по деревне Василия Пимнева заболел сынишка опухолью ног, как раз во время лунного затмения. Мать его почему-то стала утверждать, что испорчены и месяц, и сын её Федюша никем иным, как соседкой Щербихой. Посему беспрерывно надо осмотреть при волости Щербиху-ведьму, есть ли у неё хвост, и если хвост окажется, то закопать её в землю на три дня по пояс, а перед нею вбить осиновый кол. Иначе она «и месяц, и людей вконец испортит». В продолжение вечера Васиша обегала всех соседей околотка с этой новостью, возбуждая всех на бедную Щербиху-ведьму. К счастью, нашлись благоразумные соседи, которые сказали, что надо подождать до завтрашнего вечера и посмотреть, что станет с месяцем и Федей. Случилось так, что луна светила без затмения, а Феде стало лучше, и Щербиху оставили в покое. Но все-таки в конце концов Васиша сказала:

— Помяните моё слово, что Щербиха только с испугу зачурала месяц и болезнь Федюши. Если бы не это, сидеть бы нам без месяца сегодня.

## V. Старое начальство

Над деревенским миром, кроме волостных властей, стояли более высокие степени администрации и чиновников. Одних из них он знал по именам — это были те, для которых, чередуясь, шли деревенские поборы. Другие представлялись ему где-то далеко и лишь смутно понимались как «большое начальство». В глазах крестьян не было различия между судьёй, администратором, доктором — всё это были чиновники, которых всех нужно было кормить поборами. Их различали лишь по степени вреда, какой могли они нанести обществу — деревне, вместе взятой, или каждому обывателю порознь. Тот чиновник, который брал умеренно «оклады» и не делал особенно злых распоряжений, отзывавшихся тяжёлым следом на крестьянском благосостоянии, слыл даже добрым человеком. К первым известным чиновникам причислялись: земский заседатель, исправник, стряпчий и ветеринарный врач. Ко вторым — всё губернское начальство. Середину между теми и другими занимал окружной начальник. Побыры в пользу первых были прежде всего косвенные, в виде ежегодного оклада от волостного писаря: заседателю 100 р., исправнику 200, стряпчему 50, ветеринару 25, а потом прямые от лица всей волости, раскладываемые сходом всякой деревни на так называемую «годную душу»\* по столько-то гривен и копеек и собирались под именем «специального» такого-то побора деревенскими десятниками без всякой записи в какую-либо книгу волостного правления или сельского старшины, как суммы неофициальные. Эти прямые оклады первым трём категориям чиновников были в тех же цифрах писарских окладов, как рассказано выше, но увеличивались до 100 р. ветеринару, ввиду того, что не было им открыто какой-нибудь эпидемии на скоте, что всегда вело за собою значительный расход в виде учреждения «скотского загона» и убоя больных животных, зача-

\* «Годная душа» — работник в возрасте 21–60 л. возраста.

стую совсем и неповинных в заразной болезни. От первых зависело усилить взыскание податей и повинностей или дать такой участок исправления почтового грунтового пути натурой, куда надо ездить почти за 40 вёрст расстояния, в самую горячую пору страды и сенокоса, когда дорог каждый час для работы у себя на поле. Платимые заблаговременно оклады избавляли крестьян от подобных внезапных принудительных работ. А что такое гнев начальника, не получившего оклада, и как он мог проявляться на жизни подчинённых, может дать пример одного из случаев, который я расскажу и по которому легко понять, что за произвол царил в то время в отношениях управляющих к управляемым.

Как-то старому исправнику годовой оклад уплачен был за год вперед сполна, как вдруг назначается исправник новый. Общества деревень, составляющих административную единицу — волость, порешили, что платить до следующего года ничего не должно. Горько и чувствительно были они наказаны за подобное решение. Как-то в июле месяце, купаясь в старице\* Туры, утонул крестьянский мальчик Синичка. Как водится, возникла суматоха по всей деревне и горький плач родителей и родственников утонувшего. С большим трудом рыбацким неводом едва нашли и вытащили на сушу посинелый труп погибшего и сколько ни качали его в пологе, сколько ни катали его на бочонке, возвратить к жизни не могли и пришлось положить тело в ледник, а начальству донести «о смертельном происшествии».

Обычаем или законом, не знаю, но было установлено сторожить мёртвое тело в леднике и день, и ночь двум человекам. Проходят 3—4 дня времени, а начальство не является. Тогда едет депутация от деревни к исправнику, просит его ускорить следствие. Она не была даже принята, а через лакея было передано, что когда надо, исправник приедет в Кулакову и что тамошние крестьяне непокорны начальству. Тут только просители поняли, что мир сделал великую ошибку, не уплатив вторично оклада, но было уже поздно. Целую неделю лежал утопленник на леднике, и когда наехало начальство — исправ-

\* Старица — бывшее ложе реки, теперь оставленное, но заливаемое каждый год полою водой по весне.

ник, заседатель, стряпчий, врач — то оказалось, что труп значительно разложился, и крысы съели некоторые части тела. Явилась новая беда — порча трупа, и новое преступление — недосмотр сторожей. Результат — раскладка по душам нового «побора», а потом похороны утопленника и резолюция на деле: «смерть произошла от причин неотвратимых».

Дорожная повинность натурою, где каждое крестьянское семейство, смотря по счёту «годных душ», обязано было исправлять определённое количество погонных сажень пути главного Сибирского тракта, ложилась на крестьян большою тяжестью и зависела вполне от исправника — где именно назначить исправляемый участок, как его исправить качественно и когда производить работу. Непонятным образом выходило часто как-то так, что участок Троицкой волости отводился в пределах волости Богандинской, вёрст на 20 дальше г.Тюмени, а от деревни Кулаковой — вёрст за 38. Участок же уездного почтового тракта около самой деревни Кулаковой отдавался крестьянам смежной волости — Каменской. И вот оказывалось, что жители Каменской волости исправляли тракт за 12 вёрст от своей оседлости, а кулаковцы — за 38 вёрст, но и те, и другие — в страдное рабочее время. В редкие, исключительные годы дозволялось, правда, нанимать подрядчиков, и тогда повинность эта переходила из натуральной в денежную, но такой порядок каждый раз требовал больших денежных «подношений» как со стороны подрядчика, так и со стороны нанимателей.

Дородные «поборы», как и всякие иные, раскладывались по «годным душам» деревенским сходом и собирались десятниками для сдачи сборщику; десятники и ходили от дома к дому, стуча палками под окнами и выкрикивая:

— Эй, хозяин! Неси побор такой-то!

Война в прижимку, а может быть, и действительное желание устроить прочно трактовые пути шоссейным способом, заставляли уездную власть отыскивать материал, удобный для шоссе, — щебёнку, которой вблизи нигде не находилось. Как раз в трёх верстах от д. Кулаковой на всём пологом холму в 300 десятин, под именем Борка, на глубине аршина-двух залегал большой крупный хрящ, назы-



вавшийся галькой, которая иногда появлялась на дворе и перед окнами на улицу у какого-нибудь домовитого кулаковского крестьянина. Это давало повод начальству искать месторождение гальки — и такой же повод для всей деревни скрывать её. Всем обывателям деревни ясно было, что для них наступит страшная принудительная работа — возить гальку на дороги, а посему и надо было всячески скрыть её от властей. Для этого копались даже на Борку ямы в тех местах, где не было гальки, или где она находилась слоем не более вершка толщиной, заполнялись вновь землю, чтобы в присутствии начальства в этом месте пробовать колодцы и доказывать, что гальки мало или нет вовсе. Война в находку, война в сокрытие велась всё время между начальством и крестьянами. Начальство чуяло, что есть где-то мощным слоем залегающая галька, но каждый раз или не находило её вовсе или находило в таком ничтожном количестве, что доставать её не стоило труда и времени. Между крестьянами не нашлось предателя, и даже мироеды не рискнули рассказать начальству, в чём суть дела, — таким это казалось всем ужасным преступлением против себя, соседа, каждого жителя Кулаковой и соседних деревень, ибо представлялась впереди неминуемая тягчайшая повинность натурой, которая могла принести всем без исключения полнейшее разорение.

Отношения чиновного начальствующего лица к деревенскому миру в то время отнюдь не было человеческими, а покоились всегда на страхе, телесном наказании и преследовании. Каждый из чиновников наезжал в деревню с большой помпой важного лица, на тройке с колокольчиками под дугою и казаком на козлах. Остановливался он на земской квартире, куда и должен был являться мир, стоя без шапок на дворе, и выслушивать большей частью одни приказы и порицания, с напоминанием «непокорным» о той стране, «куда Макар телят не гонял». Редко, и лишь зимою, собирался сход в здании волостного правления, где бывали, между прочим, сцены экзекуции неисправных плательщиков податей, а иногда и просто ручные расправы самого администратора или по его приказу волостного головы и казака. Доходила распущенность до того, что один исправник заставил общество Троицкой волости нанять в волостные писаря брата своей любовницы,

проживающего при ней, человека полуграмотного и сильно выпивавшего. Все письменные дела волости были переданы его помощнику, а сам писарь подписывал только готовые бумаги. Исправник часто наезжал поэтому в деревню Кулакову и проживал в ней по нескольку дней под видом дел в уезде. Такой из ряда вон пример возмущал и оскорблял нравственную сторону всего мира деревни, но с прямым начальником ничего поделать было нельзя, зная наперед, что каждый даже самый маленький намек протеста может кончиться для смельчака одной бедой и карой. Исправник каждого шутя мог согнуть в бараний рог. Больше года продолжалось такое положение, пока исправник сам не женился в городе и не убрал из Кулаковой своей метрессы и её пьяного братца, волостного писаря.

Ближайшим к сельскому населению начальством были волостные — голова и писарь. Первый выбирался сходом волости из кандидатов, угодных по меньшей мере заседателю, а второй прямо нанимался по указанию исправника. Эти два должностных лица становились усердными слугами только своих начальников, но отнюдь не защитниками интересов избирающего их мира, а порою даже прямо враждебными к нему. Посему всё лучшее и нравственное в деревнях всеми мерами старалось уклониться от выбора на должность волостного головы, куда и попадали лица или с прирождённой склонностью быть только на виду у всех, помыкая всеми, или прямо с затаёнными корыстными расчётами. Избирали их мироеды общества и масса забитых и раболепных людей. Волостной писарь был истинный вершитель местных дел и посредник в отношениях между волостью и начальством, а голова, юридический хозяин волости и нередко даже судья, с безапелляционным приговором превращался фактически в полного манекена, руководимого писарем; он прикладывал к делам и приговорам свою печать и произносил словесные решения, руководствуясь тем, что написал или сказал писарь. Таким образом, крестьянин у себя дома, в своей волости, не мог искать защиты правому делу, а должен был и здесь давать взятку и, так сказать, покупать благоприятное решение. Самостоятельные и честные люди попадали в волостные головы редко и случайно. Обыкновенно, защищая мир и слабых его членов, они попадали сами

под административные взыскания и несли большой ущерб в своём хозяйстве.

Грамотных крестьян было у нас очень мало, да и грамота была одна церковная, для чтения книг славянской печати и духовного содержания. Грамотные люди выходили только из трёх старообрядческих кружков Кулаковой: главы филипповского толка — Скрыпы; наставника стариковщины — Якуни и начётчицы, старой девы Аннушки, имевшей также свою особую «моленную» (молельню). Влияния духовенства местной церкви, отстоявшей в 4 верстах от д. Кулаковой, не было заметно ни в смысле религиозного воздействия, ни в смысле просвещения. Церковь в её местном приходе была тоже своего рода официальным ведомством, куда приходилось обращаться при таких событиях, как, например, крещение новорождённых, венчание и проч., да при сроке выбора от прихода церковного старосты и двух сторожей.

Местный священник, служивший у нас не один десяток лет, относился к своей обязанности далеко не так, как подобало духовному пастырю, и едва ли ещё не назойливее, чем чиновники, эксплуатировал крестьян, требуя настойчиво и резко плату за всякую потребу и службу. Все старообрядцы, значившиеся православными по метрическим книгам, составляли для него доходную статью и платили за пастырские номинальные труды повышенное вознаграждение и двойную ругу, когда он собирал её в деревне. В деревне Кулаковой была православная часовня, в которой несколько раз в году священником совершались молебны, как-то: на третий день Пасхи, на второй день Рождества Христова и в некоторые другие праздники. На пасхе в день Богоявления совершалось хождение по домам деревни с крестом и святою водою...

Но я кладу перо. У меня, как у православного не поднимается рука, даже спустя полвека времени, чтобы написать по правде о том, каковы бывали сцены в эти дни...

Да и без этих подробностей, которые слишком болезненны и горьки, я думаю, понятно, каковы были отношения местного населения к приходскому священнику.

Об интеллигенции, радеющей о благе обывателей деревни, какая проявляется теперь в наших захолустьях, во времена, мною описываемые, не было и помину. Не только в

какой-нибудь деревне, её не было и в городе. Чиновники, если и были частью воспитанники высших учебных заведений, нисколько не были интеллигентными в нашем смысле слова, т.е. радетелями о благе общества. Всё их время, кроме определённых часов службы, уходило на картёжную игру, взаимные обеды и вечеринки, где главную суть также составляли карты и вино; общественное благо, благо деревенского населения едва ли кому приходило и в голову. Начальство считало своих подчинённых за овец, которых можно только стричь, а корм пусть уж они сами находят, где хотят.

Жители деревни Кулаковой искони были земледельцами и ремесленниками. Земледелие давало им рожь, ячмень, овёс, пшеницу, гречу, горох, репу, лён; огород — капусту, картофель, огурцы, морковь; конопляники — коноплю, пеньку и посконь. Всё это обрабатывалось примитивно, но всё шло на домашний обиход и только лишнее, сверх потребности семьи, вывозилось в город для продажи. Лугов для сенокоса и пашенных угодий было вдоволь, а потому скотоводство успешно развивалось и давало широкое подспорье всякому хозяйству, ввиду продажи лишней скотины осенью. Я помню даже, что на выгоне были устроены для всего скота деревни обширные навесы, покрытые дерном, под названием «холодовников», куда в каждый жаркий день и прятался скот от овода и зноя. Сермяги, зипуны, дублёнки, посконные рубахи — все были своего домашнего изделия, и даже женщины носили сарафаны из холста льняного и посконного, окрашенного «кубом»\*, под именем «дубасов» и «верхников». Про женщину, у которой бывали у рубахи ситцевые рукава, обыкновенно иронически замечали: «Ах, девоньки, какая щеголюха, у ней, поди-ко ты, ситцевые рукава!».

Ремесло мужчин было сани и телеги; женщин — ковры и паласы. Это давало деньги, достаточные для уплаты податей, повинностей и даже для всех других общественных поборов, о которых говорилось выше.

Соломенных крыш на домах и службах не было нигде. Все избы были крыты тёсом и очень редко драницами. Солома на крышах водилась только на навесах, зимою для скота; к лету она всегда убиралась.

Вообще надобно признать, что экономическое положе-

\* Синяя краска — индиго.



ние народа в деревне Кулаковой в то время было в хорошем, сравнительно, состоянии и стало падать лишь в следующие десятилетия, когда в деревне после откупов развернулся кабак со свободной продажей вина, и особенно когда там укрепились на значительное время целых три питейных заведения. Не стало у крестьян запасного зерна, уменьшилось скотоводство, исчезли «холодовники», самодельные холсты, сермяги и сукно. На плечах у всех стали появляться фабричные товары — ситцы, кумачи и шерстяные материи. Деревня стала значительно беднее прежнего, и если она теперь ещё не так обеднела, как некоторые сёла и деревни, её окружающие, то только благодаря ремеслам, которые при поднявшейся волне переселенческого движения в Сибирь давали много лет подряд хорошие заработки от продажи деревенских изделий.

Сто лет назад, как рассказывал мой дед (около 1795 г.), всё население Тюмени и Тюменского уезда, а частью и всей губернии постигло страшнейшее бедствие — неурожай хлеба, равного которому с тех пор не повторялось. Стояла летом такая сильная засуха, что земля потрескалась, а трава и хлеб в поле совсем засохли и погибли. Хлеб ржаной поднялся до неслыханной цены двух рублей за пуд, когда средняя цена перед тем много лет существовала только два алтына. Прадед мой Никита был весьма зажиточный крестьянин и, умирая, оставил деду моему, 12-летнему мальчику, в наследство, между прочим, решето серебряных рублей. В голодный год в большой семье, состоявшей из матери, его малолетних братьев и сестёр, всё оставленное серебро и ушло на покупку дорогого хлеба. С тех пор в следующее полустолетие деревня Кулакова мало-помалу ожила и поправилась так, что к моему отрочеству считалась чуть ли даже не богатой.

Кредита в деревенской жизни, в смысле нынешнего вексельного, совсем не было. О процентах никто и никогда даже не слышал. Всякую сбережённую копейку прятали дома в какой-нибудь сундук в узелок из тряпок, закатывали в холстины или, наконец, складывали в горшок, запываемый где-нибудь в землю, в углу «подполья». Если и давали деньги кому-нибудь «взаимы», то отмечали это зарубкой на бирке, и это считалось верным обеспечением. Брат бабушки моей, дед Василий, часто нам рассказы-

вал, как должник его в ноги ему кланялся и умолял «не скалывать зарубки», пока он не уплатит долга.

Наивные времена, как давно вы миновали! Начиная с пятидесятих годов, эти порядки стали быстро изменяться; исчезли патриархальные приёмы и отношения. Уже тогда нарастало поколение, в котором появились люди, хотя ещё не взимавшие процентов, но уже выговаривавшие отдавать им на срок за  $\frac{3}{4}$  цены ремесленные изделия или убирать хлеб с десятины вместо полного рубля за восемь гривен. Векселей и расписок, правда, не существовало и тогда; всё велось на совесть, или в крайнем случае требовалось уверение, что «вот вам Бог порука» или «святой угодник Никола». И я не помню за всё моё детство случая, чтобы у кого-нибудь возникали споры между должником и кредитором. Всякие расчёты оканчивались на оговорённых условиях, всегда добросовестно и верно.

Внешние политические события глухо доносились в деревню Кулакову и рисовались там чисто легендарным образом. Так, Венгерская кампания 1849 года всплывает в моей памяти в рассказе инвалида, у которого одна нога была отрезана и заменялась деревяшкой с окованной железом оконечностью. В праздничный день, помню, инвалид сидел на завалинке избы и рассказывал собравшимся кругом его слушателям такую историю:

— Эх-ма! Из-за чего война-то другой раз бывает. Вот недавно взбунтовались венгерцы против ихнего царя. Царь-то их немецкий видит, дело плохо, возьми да и пошли нашему царю грамотку: так, мол, и так, помоги мне, любезный брат. Наш-то царь подумал, погадал, с сенаторами совету подержал, как, мол, быть? Сегодня бунтуют здесь, а завтра, чего доброго, забунтуют в другом месте — и пошло писать. Вот он и надумал: дай-ка проучу венгерцев, да и послал на помочь немецкому царю наше войско. Как только русские солдатики туда пришли, так куда тебе венгерцы! Разнесли мы их в пух. Начальник-то их набольший, давай Бог только ноги: удрал в другую землю. И уж какое же немецкий царь спасибо-то давал нашему, белому царю. Вот, говорит, если бы не ты, совсем капут мне приходил. А наш-то царь и отвечает: «Ну ладно, ладно, сочтёмся после, а теперь не поминай нас лихом, да живите смирно».

Более точных и подробных сведений о внешних политических событиях в деревенскую глушь тогда не проникало. Газет не было и в помине, и никто ничего не знал не только о том, что делается в столице государства, но даже и в ближайшем губернском городе.

\* \* \*

Обыденные рабочие занятия шли у нас своим порядком и чередою. Наша семья, видимо, стала поправляться. Мои писарские заработки, личная помощь в ремесле моему отцу мало-помалу возвышали наше деревенское благосостояние. Чем больше я подрастал, тем больше успевал по хозяйству и ремеслу. На четырнадцатом году я уже мог сооружать простые хрясла: от начала и до конца. Артист-ремесленник, мой дядя Никифор, и тот даже, глядя на мою работу, подчас меня хвалил и говорил: «Ну, брат Николаха, мастер же ты будешь, когда вырастешь». Через год я уже ездил один из деревни в город продавать на рынке сделанные совместно с отцом сани или хрясла. Из этого периода моей жизни мне припоминается случай, когда в городе я взял подряд — сработать особенного типа хрясла за цену «золотого» (полуимпериал) к назначенному сроку, ровно через неделю. Я сделал эти хрясла без помощи отца и сам отвез и сдал заказчику. Когда же в первый раз у меня у руках появился полуимпериал, заработанный мною лично, я почувствовал в себе гордое сознание своей самостоятельности. Дорогою из города в деревню я то и дело нащупывал в кармане «золотой», боясь его утратить, а может быть, желая лишний раз убедить себя посредством осязания в новом приятном ощущении.

Я выучился также «точить точки». Искусство это состояло в том, что на особенном самодельном токарном станке вставлялась сухая строганая, заострённая с обоих концов палка. Она обёртывалась ремешком гудка и вертелась левой рукою в ту и другую сторону по возможности быстро. В правой руке был специальный, на длинной рукоятке, маленький нож, направляемый на вертящуюся палку. «Точки» походили на мелкие балясины разной формы и размера, служа украшением задней части саней. Я готовил их для своего ремесла, а также продавал другим по

копейке за штуку, зарабатывая на этом иногда в продолжение вечера около 30 копеек (ассигнациями).

Пашня и покос у нас увеличились, и мы уже нанимали летом работника и «пострадульку». На покосе я косил траву, убирал сено; на пашне — жал хлеб, вязал его в снопы и наравне с другими подавал на «клади».

Несмотря на такое повышение нашего крестьянского благосостояния, внутренний червь грядущей семейной беды точил нас каждую минуту. Дело в том, что два родных брата моего отца — Корнил и Никифор, жившие отдельными дворами, в ревизских сказках числились в одной семье под одним номером с нами. У дяди моего Корнилы было два сына, оба с физическими недостатками, а у другого дяди, Никифора, был один сын, но малолетний. К моему совершеннолетию в ревизской семье состояло бы шесть полных работников, с которых требовался срочно в сдачу рекрут. И я, единственный сын у родителей, должен был идти в солдаты за моих дядьёв и их сыновей. Чтобы избавиться от этого, представлялся единственный исход — найти наёмщика или купить рекрутскую квитанцию, а это требовало денег, по меньшей мере 100 р. (ассигнациями). Ни заработать, ни найти у кого-нибудь такой суммы денег не было возможности, поэтому придумали отдать меня, 15-летнего подростка, служить к богатому нашему родственнику И. А. Решетникову, чтобы к совершеннолетию моему я мог рассчитывать занять у него денег для покупки рекрутской квитанции.

Весной 1852 г. такой исход в семье нашей был принят окончательно, а 12 июля я выехал из дому в г.Тюмень, на новый путь жизни, в новую среду, оставив позади себя деревню и все её воспоминания.

Так окончились мои отроческие годы и начиналась жизнь юноши, о которой и поведу рассказ в следующих главах.

## VI. В приказчиках на заводе

В начале июля 1852 года в семье у нас состоялся опять семейный совет для решения назревшего вопроса: какой избрать для меня жизненный путь, чтобы избежать роковой судьбы идти в солдаты за моих дядьёв и сыновей их, составлявших с нами одну семейную единицу по прежним правилам ревизских сказок. На совет были приглашены дяди Семён и Николай (братья матери), тётка Анисья и одна из моих бабушек Авдотья.

— Вот что, — сказал собравшимся родной мой отец: — Микола подрос, ему 15 уж годов. Того и гляди вырастет в «годные», а там и ступай в солдаты за племянников и братьев моих. Все вы это знаете; ведь семья, по сказкам, семь ревизских душ. Что теперь нам делать с матерью, чтобы не постигла нас такая беда — ума не приложим? Посоветуйте, родимые.

Вопрос для всех был очень ясен; все они давным-давно знали его во всех подробностях, а потому сам вопрос не требовал ни фактов, ни пояснений. Каждый из собравшихся имел высказать только своё мнение.

— Я бы пошла к дядьям, — заявила бабушка, — да и сказала им: так, мол, и так, давайте наймёмте сообща наёмщика.

— Ах, бабушка, — возразила мать, — да что в этом толку-то будет? Вот недавно ещё деверь мой Никифор нашему Миколу со смехом в глаза сказал: «Какой же ты будешь за нас славный «некруть» (рекрут)». После этого жди от них, дадут они тебе денег на наёмщика, как бы не так!

— А что, ежели бы, — вставил дядя Никола, — взять мирской приговор, что семья твоя, зять, живёт отдельно 18 лет, да и послать с прошением в казённую палату?

— Ничего, дядя, не выйдет из этого, — возразил отец. — Напишут, что нельзя, и только. А приговор-то сам во что обойдется? Надо ведь покупать вина, орехов обще-



ству, дарить особо мироедов, расходов страсть сколько будет, а толку все равно не выйдет никакого.

— Эх вы, — громко заявила тетка Анисья, — так нельзя и эдак нельзя. Да я пошла бы да каждому в глаза и сказала: что вы, нехристи, что ли, брать в солдаты одного сына! Право, так бы вот и начальнику сказала даже: есть на тебе крест Христов? Ну и делай бумагу по-христиански.

— Ах, сестра, сестра, — вмешался дядя Семён. — Ну и что же выйдет? Велят тебе уходить вон, да и только. А дело-то ни на волос не подвинется вперед. Всё это никуда не годится. Лучше давайте-ка поговорим о том, что уже надумано; это будет прямее и вернее. Раз положен в семье некрут, тут и толковать нечего, подавай его, своего или наёмника, а подавай. Как ни кинь, остаётся одно: нанимать наёмщика. Рассчитывать на помощь от сватов Корнила и Никифора нечего: они ни гроша не дадут на это. Им просто нет расчёта. Стало быть, через пять годов надо самим найти денег на наёмщика. По-моему, и остается одна дорога — отдавать теперь же Миколу к Афанасьевым в услужение, а там они дадут и денег.

— Господи! — воскликнула мать, заливаясь слезами. — Отдать служить в чужие люди ребёнка! С кем он будет там жить, чему его научат? Чего доброго, ещё мало будет Богу молиться, соблазнят его табак курить, вино пить. О, я, несчастная...

— Эх, какая ты, сестра, — заговорил дядя Семён, — ну, в солдатах-то ведь и того хуже? Здесь хоть в две недели раз ты можешь повидаться с сыном, а там угонят его Бог знает куда, а будет война — и убить могут.

На этом совете после долгих споров и рассуждений вопрос о моей дальнейшей карьере был решён окончательно в том смысле, что надо отдать меня богатым купцам в городе, нашим дальним родственникам, в приказчики, чтобы потом к совершеннолетию моему они дали взаимобразно денег на наёмщика.

Через несколько дней после этого семейного совета мать моя, тетка Анисья и я поехали в город к Афанасьевым просить их милости принять меня к себе «в услужение».

Я не буду описывать сцены, где, с одной стороны, было сознание силы капитала, а с другой — полная бес-

помощность и зависимость. Да это понятно и без описаний. Для меня, как новичка, казалось только многое удивительным и унижающим, но думалось, что так угодно Богу, и надо принимать и переносить всякое ярмо безропотно.

Будущие мои хозяева подвергли меня испытанию в чтении и письме и нашли, что я читаю и считаю хорошо, а пишу «прескверно», какими-то, по их словам, каракулями. Порешили на том, что я поступлю пока в подручные к приказчику на жалованье 50 р. в год, на всём хозяйском содержании, причём прибавили, что если я буду служить усердно и хорошо, то жалованья мне потом прибавят и даже дадут денег на наёмщика.

С этим результатом мы отправились домой, в деревню Кулакову. Мать моя, предвидя предстоящую разлуку со мною, всю дорогу плакала, а тетка Анисья читала мне наставления, как надо себя держать в богатом доме, чтобы «не ударить лицом в грязь». «Ты, Микола, — добавляла она, — покажи-ка им, нашей богатой родне, что и мы не лыком шиты. Отец их, покойный Афанасий Егорович, дай ему Бог царство небесное, бывало, заедет к нам в деревню под хмельком и матушке нашей, царство ей небесное, часто приговаривает: Авдотья Егоровна, Авдотья Егоровна, ведь мы с тобой родня, а? Я богат сегодня, вы разбогатеете завтра, что же нам этим гордиться? Угости-ко ты меня травничком\*. И такой-то он, покойный головушка, бывал добрый и ласковый. Всех нас, малых деток, приласкает да приголубит и пряников на даёт. Вот у них старик-то какой был! Они теперь, его дети, хоть и не такие, как он, а всё же в них что-нибудь от старика перешло».

Родители начали снаряжать меня в путь-дорогу, на службу «в чужие люди». Мать моя готовила бельё для меня, и я часто видел, как молча роняла она слёзы на полотно, как усердно работала иголкой. Отец выдерживал себя и не жаловался, но я видел его постоянно с нахмуренным лицом, а ночью, просыпаясь, слышал, как он в тёмном углу перед иконою усердно клал земные поклоны, громким шёпотом приговаривая: «Боже, милостив буди нам, грешным! Боже, дай ума и разума Миколе».

\* Густой домашний квас, настоянный на листьях смородины.

Дядя Семён, видимо, хотел поддержать бодрое семейное настроение и, приходя к нам, рассказывал мне, как другие подростки, поступив служить мальчиками, «выходили в люди, и делались в конце концов славными и богатыми». «Ты знаешь ли Котовщикова, — добавлял он, — ведь он мальчиком уехал, зимой, на козлах кошевы, служить в Кяхту к купцу. А теперь, поди-ка, какой стал именитый купец сам! Или вон купец Иван Егорович Решетников. Его увёз мальчиком также на козлах тарантаса в Кяхту обозный приказчик. А теперь посмотри-ка, какой у него каменный дом в городе, и какой он сам богатейший человек теперь».

Я слушал эти речи, но никак не мог понять, каким образом из бедного мальчика выходят «богатейшие» люди. У меня сжималось сердце при мысли покинуть дом, отца, мать, сестру; жить в чужих людях, подчиняясь их приказам, — но солдатская шапка впереди, если я этого не сделаю, пугала меня страшно, и я, поплакивая втихомолку, готовился к отъезду, предпочитая лучше вытерпеть в чужих людях службу и нужду, чем поступать в солдаты и оставить навсегда свою семью осиротелою.

Настал наконец и день моего отъезда. Как теперь помню, это было 14 июля 1852 года. У нас собрались все родные с материнской стороны. В переднем углу горницы зажжены были восковые свечи пред иконою. Отец, мать и я положили «начал», и они поочередно благословили меня крестным знаменем, напутствуя словами:

— Сын наш родимый, Бог тебя благословит. Видно, так уж тебе на роду написано. Будь на то Его святая воля. Поезжай с Богом. Служи хозяину верою и правдой. Не забывай Бога и молись Ему чаще, чтобы Он наставил тебя и вразумил. Хозяев слушайся и почитай. Мы часто будем тебя проведывать.

Дядя Семён — я заметил это — как-то особенно серьёзно заговорил со мною:

— Ну, племянник, сегодняшней день у тебя поворот с нашей деревенской дороги на другую. Куда приведет тебя этот новый путь, мы не знаем. Но надеемся на Бога, что Он тебя не оставит. Ты отселе будешь сам и работник, и хозяин своей судьбы. Старайся же сделаться хорошим человеком. Благослови тебя Бог.

Тётка Анисья, присутствуя при этом, сильно плакала и по временам громко восклицала:

— Смотри же у меня, не вздумай вино там пить и табачище курить! Глаза всем выцарапаю, кто тебя этому научит.

Остальные родственники, каждый по-своему, выражали мне свои пожелания всякого добра и успеха.

Я сам был в сильнейшем нервном возбуждении, какое когда-либо испытывал. Слезы лились из глаз как-то сами собою. И странное дело! Вся эта бытовая картина — лица присутствовавших, их жесты, интонации голосов сохранились в моей памяти до мельчайших подробностей и теперь, несмотря на то, что с тех пор протекло почти полвека! Я отчетливо помню сумрачную фигуру отца, убитую горем мать, фигуру и жесты прихрамывавшего дяди Семёна, горячую, увлекающуюся тетку Анисью; мне как бы слышится тембр их голосов и вырисовывается вся обстановка горницы, где это происходило, начиная с печи, выбеленной золотухой, до знаменитого дедовского шкафа с двумя маленькими стеклами, раскрашенного синей и алой красками с жёлтыми отводками.

Прощание с родными и их наставления, наконец, окончены. Отец ещё раз благословил меня. Мать и я уселись в телегу, запряжённую старым Гнедком, и поехали в город.

\* \* \*

Купеческая семья Решетниковых, известная под именем Афанасьевых, состояла из главы дома, Ивана Афанасьевича, его жены, старухи-матери и трёх пожилых незамужних дочерей его сестёр. Глава дома имел унаследованный от отца большой кожевенный завод, а его старшая сестра держала в гостином дворе лавку с мануфактурным товаром. Жизнь они, по тогдашнему времени, вели открытую и считались в Тюмени «богатеями», хотя состояние их не превышало ста тысяч рублей. На заводе выделывалось в год кож до 30 т. штук, а лавка выручала до 15 т. рублей. Кожи выделывались исключительно «на линейскую руку», яловые, в виде красной юфти, «чарошные», в виде черных мерееных кож, и конина, в виде белых мягких сортов, для голенищ туземной обуви под именем «бродней».

Красная юфть продавалась потом на меновых дворах

пограничных городов Троицка и Петропавловска в обмен на азиатские товары: «мату», «выбойку», «армяки», жёлтые бараньи шаровары, «кочьмы», «кишмиш» и шёлковые товары. Единицей счёта при мене товаров считалось со стороны заводчиков «бунт» (10 кож), скатанный трубою, а со стороны азиатов — «конец», «мешок ягод» и «штука сшитой вещи»\*. Вымененные на русскую юфть азиатские товары продавались потом русским торговцам по ярмаркам и торжкам, существовавшим в пределах Тобольской губернии, или вновь выменивались на кожевенное сырьё. Кожевенный завод и дом Решетниковых находились на берегу р. Туры, в заречной части Тюмени.

В эту семью Афанасьевых и привезла меня мать «в услужение». Нас приняла покуда старуха, мать будущего моего хозяина, и приласкала меня, назвав «добрым пареньком», наставляя в то же время, как надо служить хозяевам верою и правдой, с дворней не связываться и помнить, что я ведь всё же их родственник. Это несколько меня ободрило, и я с нетерпением ждал возвращения в дом хозяина, куда-то выехавшего в город.

Всё меня в этом купеческом доме занимало. И дом, и двор казались до того обширными, что я не мог придумать, для чего требуется такой простор. Дом стоял в углублении, среди двора, с выдвинутым вперёд парадным крыльцом, а со сторон его фасадами на улицу тянулись громадные постройки флигелей с жилыми помещениями, «завознями» (амбарами) и широкими «галдареями». Двор вымощен был тёсаными брусьями, так, что всякий экипаж, проезжающий двором, производил грохот, слышанный из каждой комнаты дома и флигелей, и отдавался эхом в крытых «галдареях». Все заборы были унизаны гвоздями остриём кверху, а ворота запирались на ночь висячим замком. Всюду носился запах дубильной кислоты, и всё незамощённое деревом место двора и улицы засыпано было «одубиной».

Но вот послышался грохот быстро въезжавшего на двор экипажа, где правил рысаком рослый кучер, а на дрожках сидел верхом сам хозяин дома, одетый во фризтовую шинель и шляпу-цилиндр. Он быстро соскочил с дрожек

\* «Конец маты» — 14 арш. ручной белой бумажной материи. «Конец выбойки» — 24 арш. бумажной набивной материи.



и направился во флигель, где жила его мать, и где мы временно приютились.

— Здравствуйте, — сказал он матери моей и мне. — Что, сына привезла, Егоровна?

— Да, сына, Иван Афанасьевич, — ответила мать.

— Ну, что же, хорошо. Пусть служит и привыкает. Я велю поместить его вон там, во флигеле, в комнатах с приказчиками! А завтра найду ему и дело.

Мать повела меня в эти приказчиьи комнаты. Они оказались наверху над амбарами, с узенькими окнами, выходящими на улицу и широкими на двор; комнаты были довольно просторны. В них стояли две конторки, несколько кроватей и полдюжину стульев. В обе комнаты далеко выдвигалась громадная печь. За конторкою сидел какой-то человек и громко щёлкал костяшками крупных счётов.

Мать моя несмело промолвила:

— Иван Афанасьевич велел поместить моего сынка здесь. Он будет у вас служить.

— А! Хорошо, — сказал пишущий у конторки. — Вон, кладите в уголок его пожитки. А там его устроим. Как малого зовут? — спросил он.

— Николай, — отвечала мать.

— Ну, брат Николай, располагайся здесь, где-нибудь у стены к окошку. Вечером принесут тебе кровать, вот около неё и устроишься.

Мать моя снова обратилась к приказчику.

— Милый человек, я не знаю вашего имени, но прошу вас, поучите моего сынка, чего он не знает, на всякое доброе дело.

— Не проси об этом, матушка. Если есть в нём толк, то он скоро сам поймёт, что надо делать.

Мать попрощалась со мною с обычными материнскими слезами, надавав мне всяких наставлений, и пошла к своей телеге. Я проводил её за ворота.

Когда я вернулся в приказчиьи комнаты, мною овладело полное отчаяние, до того невыносимо было новое чувство заброшенности и одиночества. Я не знал, к кому обращаться за советом, не знал, что делать, и, помню, просидел до самого обеда на одном и том же месте на старом диване. Люди, приходившие в приказчиью, разговоры и манеры их производили на меня тягостное впе-

чатление. Что-то новое, до сих пор мне неведомое, начало открываться передо мною и поражать меня неизвестными сторонами жизни, начиная с технических выражений кожевенного промысла до свободных шуток и бранных слов, у нас в деревне не употребляемых. Я то и дело слышал спор кожевенного мастера с рабочими, приходившими за записью в рабочие листы, о какой-то «мере», «подрезях», «мази», «передубке», «3-м и 4-м дубе», «киселе», но решительно ничего не понимал, что это всё означает.

\* \* \*

Колокол, повешенный на кожевнном дворе, по другую сторону улицы, против наших комнат, возвестил время обеда, и тот же конторщик, работавший за конторкою, пригласил меня к общему столу, в особую большую комнату, расположенную в нижнем этаже отделочного здания, рядом с кухней. Обедающего народа набралось человек десять: двое приказчиков, конторщик, кожевенный мастер, кучер, строгаль и др. Я в первый раз в жизни сел за стол среди чужих людей и чувствовал себя до крайности неловко. Строгаль Прохор Степанов, давно живущий на заводе, заметил моё смущение, посадил меня рядом с собою, проговорив:

— Что тут стесняться? Все люди свои. Садись и кушай, не зевай. А то как раз Максимка всё захватит; вон он какой охальный.

Максимка был парень, давно живущий на дворе, полуприказчик, полурбочий, озорник, обжора и старался захватить себе кушанья из общей чашки как можно больше, не заботясь о других. Его за то бранили, над ним смеялись, но он спокойно отвечал: «А что же мне делать, что вы зевааете, а мне есть хочется» и уписывал чужие порции, как ни в чём не бывало.

Строгаль Прохор Степанов первый на дворе заговорил со мною задушевным тоном искреннего человека, и я сильно обрадовался этому. После обеда он пошёл со мною в приказчиьи комнаты, расспрашивая меня, кто я такой и как попал на службу к Афанасьевым. Я, конечно, рассказал ему всю мою биографию и причину поступления моего на службу.

— Знаю я всё это, — заметил он. — Вон, кухарка с мужем Фёдором живут здесь уже другой год — она кухаркой, а он работником — за взятые деньги на наёмщика. Что с этим поделаешь? Судьба, видно, такая. А ты шибко-то не печалься; ко всему помаленечку привыкнешь и будешь жить по-хорошему. Хлеб-соль тут добрые, пожаловаться нечего. Утром и вечером пьём чай, в полдень обед, а вечером ужин. Хозяин у нас немножко горяч, но хороший человек. Вот только не сходишь с Максимкой да с отделовщиками: непутёвые они люди и охальные.

Я слушал все эти замечания строгаля Прохора и принимал их, как некое откровение.

— А нельзя ли посмотреть, как тут на заводе работают? — спросил я несмело.

— Пойдём, я тебе всё покажу. Вот я строгаль. Ты знаешь, что это за работа?

— Нет, не знаю.

— Пойдем со мной и увидишь. Я иду на завод кожи принимать, а потом строгать их буду.

Я с радостью согласился. Прохор пошёл со мною на завод, где вся земля и строения пропитаны были специальным запахом дёгтя, извести и дубильной кислоты, а все рабочие обрызганы и как бы облиты грязной жидкостью из той же извести, дёгтя и дубильных соков. Мы прошли сначала в зольное отделение завода, где, казалось мне, невозможно быть и часа времени от едкого запаха, проникающего в нос и горло, но где люди, все в грязи и мокрые, вытаскивали железными клещами из зольников кожи, раскладывали их «на кобылы» и сбивали тупиками шерсть в продолжение целого дня.

Потом мы пошли в другое отделение завода — дубильное; там сотни деревянных чанов заполнены были кожей, пересыпанными толчёною ивовой корою. Здесь казалось несколько чище и лучше, чем «в зольниках», но и тут сильный запах дубильной кислоты и мелкая пыль толчёного корья, носящаяся в воздухе, казалась мне трудно выносимою.

Потом пошли мы далее, в сушильное отделение, на так называемые «вешала», откуда выдаются кожи строгалям, отделовщикам, для придания им внешнего вида разных сортов — юфти, чарошной, сапожной и проч. Путе-

водителю моему Прохору Степанову отсчитали 20 кож, и мы с ним перенесли их в угол «отдельной» (отделочной), на занимаемое Прохором место. Тут мой строгаль снял с себя верхнее платье, сапоги, засучил рукава и принялся за работу «отделовщика». Прежде всего он разложил кожу на широкий деревянный «каток», взял воды из туюса в рот и sprыснул кожу «по лицу». Потом начал мять её руками и ногами на специальном станке — «окованной кобыле». После этого разложил кожу на колоду бахтармою кверху и специальным стальным ножом, «стругом», начал снимать с неё длинные ленты до тех пор, пока кожа не достигла желаемой толщины. Дальше особыми, выработанными практикою приёмами, отминал её на «кобыле» и прокатывал на «полке» насечкою до тех пор, пока кожа не стала мягкой и неузнаваемой.

Я долго стоял и смотрел на эти новые для меня манипуляции с кожами; они меня очень занимали и удивляли.

— К вечеру в «завозне», — сказал мне Прохор, — я буду бунтить кожи. Приходи туда посмотреть и учиться, как надо это делать.

Я охотно согласился, а пока пошёл в приказчицкую. Там конторщик дал мне для проверки какой-то счёт. Я начал класть на счётах скоро и, по-видимому, удачно, так что он заметил:

— Э, брат, да ты на счётах ходишь хорошо. А ну-ка возьми листок бумаги и напиши мне: «Милостивый государь, дайте мне переписать письмо».

Я написал и подал ему.

— Пишешь ты неважно. Тебе нельзя ещё давать переписывать что-нибудь набело. Почерк твой никуда не годится. Надобно будет поупражняться, пока станешь писать красиво. И где только научился ты выводить такие крючки и завитушки?

За вечерним чаем, который я пил в первый раз в жизни, мне пришлось испытать горькие минуты, так как на мой счёт отпускались окружающими шутки и насмешки. Я не умел обращаться с горячим стаканом чая, и мои неловкие приёмы вызывали едкие издевательства шустрого Максимки. Один только строгаль Прохор да всегда серьёзный кучер Симеон не принимали участия в этой травле, а даже защищали меня. Остальные присутствующие, не стес-

няясь, громко хохотали. Даже мальчик Сила, племянник хозяина, живущий также вместе с приказчиками, не утерпел подтрунить над новичком-деревенщиной, выставляя на вид, как предмет для юмора, мою одежду, жесты и не всегда удачные выражения.

После чая я пошёл с Прохором бунтить кожи. Процедура эта заключается в следующем: вы входите в амбар, где стопами навалены крашенные кожи, которые надобно завернуть скатанным тюком, по 10 штук в каждом, но так, чтобы в десятке было ровно 98 четвертей меры, считая по длине кожи «от зареза до зареза». Этого мало. Их надобно ещё уложить так, чтобы постепенно кожа крупная закрывала собою кожу мелкую, и, наконец, весь «бунт» завершался бы кожей самой крупной, без всякого изъяна как на самой коже, так в её отделке и окраске. При «бунтении кож» всегда имелась в виду конечная цель — покупатель юфти в Петропавловске, обыкновенно при осмотре товара перелистывающий весь бунт от первой кожи до последней. Рассчитывалось на то, чтобы у него последнее впечатление было самой крупной, лучшей кожи во всём её объёме. Всё это требовало особой специальности приготовить товар с «казовым концом», для чего у каждого заводчика и имелись специалисты, умеющие накладывать кожи в бунт так, чтобы выдвинуть вперёд достоинства и затенить, по возможности, недостатки. Такие люди назывались от слов «бунтить кожи» — «бунтовщиками».

Строгаль Прохор Степанов, кроме специальности строгаля, владел ещё искусством «бунтить кожи», но для него, как неграмотного, трудно было подсчитывать четверти и вершки. Когда мы с ним пришли в амбар, он прямо мне сказал об этом затруднении, прибавив:

— Ты поможешь мне в этом деле, и сам увидишь и научишься, как бунтятся кожи.

Я с радостью взялся за эту подсобную работу.

Прежде всего мы начертили мелом на полу завозни 16 квадратов для складывания в них кож разной меры: в 8,  $8\frac{1}{4}$ ,  $8\frac{1}{2}$  и так далее, до 12 четвертей. Всех кож в амбаре было около 300 штук, и надо было забунтить их в 30 свёртков, в общем равной величины и качества. На помощь нам были позваны со двора три отделовщика.

Строгаль Прохор развёртывал кожу, осматривал крас-



ку и лицо на ней; я мерял саженью длину в четвертях и вершинах, рабочие складывали кожу вчетверо и относили в намеченные квадраты. Когда же вся партия была осмотрена и промеряна, тогда сделан был подсчёт четвертей и вершков во всех квадратах для выяснения вывода, сколько каждого размера требуется положить в бунт, чтобы вышла принятая мера — 98 четвертей в десятке. Выходило так, что надо положить сначала самую большую кожу в 12 четвертей, потом самую маленькую и постепенно, увеличивая размер кож, покрыть десятой, опять самой большой кожей в 12 четвертей. Закатав крепко свиток в 10 кож и перевязав его скрученным мочалом, получали тот «бунт», который требовался на меновом азиатском рынке.

Ужин вечером был повторением обеда, ничем от него не отличаясь, ни персоналом участвующих лиц, ни количеством подаваемых к столу кушаний.

Так прошёл мой первый день служения в людях.

Утром следующего дня меня позвали к хозяину, в его кабинет. Это была маленькая комната, не больше пяти квадратных сажен величиною, со столом-конторкою, маленьким диваном и принадлежностями охоты в углу и на стенах. На полу лежал яркого цвета персидский ковёр, на столе куча конторских книг и счёты. Хозяин сам сидел на стуле пред конторкою и что-то писал. Я остановился у дверей.

— А, Николай! Ну что, походил вчера на дворе и на заводе? Что ты там видел?

— Видел, — отвечал я, — как кожи делают, видел, как их складывают.

— Кожи не делают, а *выделяют*, и их не складывают, а *бунтят*. Заметь это. Понял?

— Понял.

— С сегодняшнего дня, — продолжал хозяин, — ты будешь помогать приказчику в его занятиях и делать то, что он тебе велит. К вечеру ты с ним поедешь в Парфёнову и Мыс отдавать кожи отделовщикам. Слушай-ка, — добавил он, — твой кафтан здесь не годится. Надо сшить тебе новый халат, пальто и платье. А пока скажи приказчику, чтобы выдал тебе из «завозни» подходящий армяк и кушак. В лавке пусть купит фуражку. Вот и всё пока. А теперь идти и занимайся.

— Ладно, — промолвил я.

— Здесь не деревня, и «ладно» не отвечают. Надо говорить: слушаю-сь.

С этого момента начался самый тяжёлый для меня период времени «служения в людях», такой тяжёлый, что я не выдержал его и по прошествии месяца сбежал в деревню; но об этом ниже.

Но буду продолжать рассказ день за днём, в порядке обыденной жизни, как она в то время протекала.

После обеда, на второй день моей службы, приказчик и я наложили в две телеги 300 штук выделанных кож и, усевшись наверху, поехали в д. Парфёнову и Мыс для раздачи строгалиям-отделовщикам. У дома какого-нибудь Данила Парфёнова мы останавливались, и между приказчиком и Данилом начинался разговор:

— Эй, Данило, слушай! Надо кож? — кричит под окном дома приказчик.

Немного погодя отворяется форточка в окне, высовывается голова Данилы, и он отвечает от себя вопросом:

— Какие у вас кожи-то?

— Линейские и чарошные.

— Нет, не надо. Привезите завтра для меня сапожных.

Приказчик приказывает мне записать, что завтра нужно отвезти Данилу Парфёнову сапожных кож 10 пар.

Мы едем дальше, к какому-нибудь Якову Яркому, повторяя те же вопросы и ответы, с той только разницей, что сдаём ему для отделки 10 пар чарошных. Приказчик, по обыкновению, лениво сидел на своём возу кож, покуривая самодельную сигарку, а я отсчитывал кожи и наскоро записывал их на листок бумаги.

После раздачи кож с наших возов в упомянутых деревнях мы начали подъезжать к тем же дворам отделовщиков, но в обратном порядке, получая от них отделанные кожи в виде «красной юфти», «чарошных» и «сапожных». Принимая товар, приказчик каждую кожу развертывал для осмотра, сгибая бахтармою внутрь, проводил её между пальцев правой руки и часто бранил отделовщика на чём свет стоит.

— Ты что это, чёртов сын, перестрогал кожу! — кричал он на всю улицу. — А это что за подрезь? Вон тут нет скулы и лапы. Ах, ты дьявол, такой-сякой! — и пойдут непечатные выражения.

Отделовщик сначала хладнокровно уверяет, что он немножко промахнулся, перестрогал, а там лапа оборвалась, струг зарискнул и проч. в этом же роде, но потом на беспрерывные обидные выражения приказчика раздражался бранью сам, и тогда разыгрывалась между ними такая сцена ругани, что, казалось, вот-вот перейдет в драку и потасовку.

Когда мы с собранными кожами вернулись домой, моя запись на скорую руку оказалась неверна, и я должен был выслушать от приказчика такую брань, что заплакал горькими слезами от обиды и оскорбления. Я совсем не знал, что отделка кож за каждый сорт оплачивается разными ценами; никто мне этого не разъяснил, а теперь, когда невольно я напутал, меня бранят как человека, учинившего сознательное преступление. Только строгаль Прохор заступился за меня, устыдив приказчика и тем избавив меня от дальнейшего нравственного страдания.

— Ну, смотри же, напутай только в другой раз, я покажу тебе, кто я такой, — пригрозил мне в конце приказчик, но уже более мягким тоном.

За ужином все знали, как приказчик по его манере приводил меня «к порядку», и жестоко надо мною издевались.

— Здесь, видно, не дуги гнуть на телеги и не шаньги есть у матери, — язвительно твердил Максимка.

— Мама, мамонька! — крикнул Сила и подставил палец с боку моего носа.

Я невольно обернулся и попал как раз на палец носом. Все захохотали разом и больше всех Максимка.

Я сидел ни жив ни мёртв среди других. Слезы оскорбления подступали к горлу, нет, я не мог заплакать, ибо это уронило бы меня и надолго сделало бы мишенью всяких насмешек. В это время, неожиданно для меня, грозно крикнул кучер Симеон:

— Силка, собачий сын, что пристал к новичку? Мало, видно, пороли тебя за куски сахара!

Этот возглас сразу изменил господствовавшее настроение. Сила замолчал, а Максимка усиленно принялся уписывать кушанье.

— А ты, Максимка, — продолжал кучер Симеон, — грязная твоя душа, забыл Плеханова?

Максимка покраснел от этих слов до самых ушей, и с тех пор редко приставал ко мне со своими насмешками. Тогда же я начал постигать, что всякий озорник — «герой на время только», пока не знают люди его интимной стороны. Узнали, и всё обаяние пропало. Тот же злой язык, те же острые слова, но они не производят былого впечатления; озорник не может уже взять подчиняющего тона.

— Слушай-ка, Микола, — идя со мной из кухни по двору, заговорил душевно Прохор. — Ты не огорчайся шибко на приказчика; он ведь только «собачливый» человек и ругается каждую минуту, а не дурак, как Сила, и не поганец, как Максимка. Я также, как живу здесь, сколько натерпелся от Максимки. А теперь, сам видишь, он ко мне не пристаёт. Вон Симеон молчал, молчал, да как потом обоих отделал! Потерпи, казак, атаманом будешь.

Я вернулся в приказчицкую, когда уже там никого не было, бережно достал из сундучка благословение матери, маленькую икону, и, поставив её над своей постелью, излил пред нею мою душу.

Назавтра приказчик в 5 ч. утра грубо разбудил меня.

— Вставай, возьми Прохора и выдай из завозни отделовщикам кож, сколько кому надо, — приказал он.

Я в точности исполнил приказание и принёс ему записку, сколько и кому сдано кож, каждому отделовщику поимённо. Всё это было сделано верно.

Кроме живших по деревням отделовщиков, были ещё жившие при заводе и работавшие в особом помещении, называемом «отдельною». Тут они работали, стругая кожи, делая насечку, намазывая дёгтем, и тут же под колодами и спали. Плата заработная производилась им поштучно, сдельная, несмотря на то, какая была кожа — крупная или мелкая. Отсюда самый заработок бывал у них то больший, то меньший. Всё это отделовщики знали тонко и при приёме кож старались выбирать наиболее мелкие и тонкие, оставляя для последующих товарищей кожи крупные и тяжёлые. Когда потом приказчик выдавал им кожи сам, то всегда, бывало, возникало пререкание из-за крупных кож. Я же ничего этого ещё не знал и, выдавая кожу, наблюдал только верный счёт поштучно. В результате оказалось, что в складе остались кожи только крупные, и на меня обрушилась жесточайшая брань приказчика. Даже

Прохору досталось, зачем он допустил такое «безобразия». Но Прохор тихо и резонно заметил приказчику:

— Разве вы не знаете, что за народ у нас набран в домашние отделовщики? Подите-ка, справьтесь с ними. Я сам отделовщик, а должен был принять крупные сорта, только бы не вздорить.

Такой аргумент, по-видимому, подействовал несколько на приказчика; он притих и перестал ругаться.

— Иди теперь к Максимке, — сказал он мне, — вели ему запрягать лошадей в две телеги. Накладывайте с ним по полтора ста кож «мостовья» на каждую. Мы поедем с тобой в Парфёнову. Да смотри у меня, кожи сосчитай верно!

Новая поездка в Парфёнову была повторением предыдущей и не представляла собою ничего особенного. Я имел уже вчерашний опыт и тщательно записывал имена и фамилии отделовщиков, сорта и счёт кож, а посему на этот раз не подвергся от приказчика ни брани, ни упрекам. К тому же сами кожи, как выданные, так и принятые, были в одном сорте, именуемом «мостовье» при выдаче и «юфть» при принятии, где не представлялось для меня незнакомых технических названий.

После обеда заставили меня принимать от закройщиков нарезанные ими из целых кож составные части бродней, чирков и рукавиц. Тут были голенища, переда, задники, подошвы, оторочки и пр., всё это я плохо понимал, а потому и попросил сначала всё мне указать.

— Ну, вот ещё, учителя к тебе приставить, что ли, — грубо заявил приказчик, — возьми вон Силу; он также без толку болтается на дворе.

Я направился к Силе Михайловичу и передал ему распоряжение приказчика, на что он только рассмеялся и заметил:

— Иди и принимай. Ты привык в деревне работать, вот тебе и занятие.

Оставалось обратиться к Прохору Степанову. Душевный человек остановил свою работу — стружку кож — и пошёл со мной показывать, как нужно принимать кроеные товары.

— Ты не говори закройщикам, что послан принимать от них товар, — сказал мне Прохор. — Пускай думают,



что буду принимать я, а ты приставлен только для записи. Тем временем и приглядишься, как я буду это делать.

Мы вошли в «закройную», где резали кожи «по наметкам» человек 5—6 закройщиков.

— Ну, ребята, — громко сказал Прохор, — кто много накроил, у того я принимать буду.

— У меня уж места нет, куда складывать товар, — отозвался Прокофий с Городища. — Принимайте у меня.

— Ладно, — согласился Прохор.

Сначала перебрал он голенища для «бродней», прикинув их размер наметкой; потом пересмотрел, в какую сторону направлены «пашины»; где допустимы подрезы, ломины, и откидывал особо каждый выкроенный лист, не подходящий к неписаным, но существующим условиям. На сотню пар кроеных голенищ браку оказалось пар пять.

— Ну, Микола, давай завяжем голенища в два тюка, — сказал мне Прохор, — а в книге запиши, что у Прокопия с Городища оказалось браку 5 пар на сто. Годных же голенищ 100 пар.

— Да что ж ты, Прохор, так бракуешь, — произнес Прокофий недовольным тоном. — Разве ты не знаешь, какая будет ругань от приказчика за это?

— А ты десять раз примеряй да один отрежь, вот и будет ладно, — возразил Прохор. — А то всё делаешь на мах да глазомер. Из кожи надо брать четыре пары, ты и делаешь четыре; да не смотришь, все ли они годны. Ты наложь наметку да расчерти по коже, а потом и посмотри с лица, все ли голенища годны, тогда и режь. Если не годятся, примеряй снова, по-иному, вот тогда и будет хорошо.

— Да эдак только 20 кож и искроишь за целый день!

— Что ж делать. Если не умеешь, как надобно работать, то и 20 кож не изрежешь. На то ведь ты и мастер.

Я слушал практический урок Прохора Степанова со всем вниманием, на какое только был способен.

Этим же порядком Прохор принимал и другие кроеные товары от закройщиков: переда, подошвы для «бродней» и «чарков» — из кож яловых; голенища, рукавицы — из кож конёвых. Приёмы сортировки кроеного товара всюду прилагались одинаково. В кожах, кроме общих пороков, были ещё специальные пороки: в яловых — *свищи*, в конинах — *ломины*.

Принятые от закройщиков товары мы с Прохором перевязали бечёвками и переносили в кладовую. Я составил на листе бумаги подробную запись всем закройщикам, прочитал её и, проверенную, передал приказчику. На этот раз всё сошло благополучно, но к вечеру я так устал, что, сидя на кровати, уснул, как убитый. Меня будили, чтобы идти ужинать, но я не мог проснуться и проспал всю ночь, не раздеваясь.

Таким образом, изо дня в день я целый месяц подвергался поистине невыносимому и непосильному режиму. Жаловаться я, разумеется, не смел, боясь прослыть наушником и тем ухудшить ещё более моё служебное положение. К концу месяца вместо поощрения моего усердия я начал замечать, что хозяин, встречаясь со мною, не так уж добродушно отвечает на мои вопросы по какому-нибудь делу. Я совсем упал духом и не знал, что мне делать. Сила и Максимка снова подняли тон своих насмешек и чаще начинали издеваться надо мною. Как-то вечером Прохор Степанов тихонько мне шепнул:

— А ведь Максимка или Сила что-нибудь насплетничали на тебя хозяину! Я это заметил.

Горю моему не было границ. Я всю ночь не мог уснуть и решил завтра же бежать к родным в деревню. Едваждавшись утра, когда только что ворота от висячего замка были освобождены, я ушёл пешком домой. Там я заявил отцу и матери, что лучше идти в солдаты, чем выносить эту каторжную жизнь подручного приказчика, с которого спрашивают правильной записи и подсчёта товаров, заставляя в то же время работать наравне с другими; вставать в 6 утра и ложиться в 11 ч. вечера да выслушивать постоянно незаслуженную брань приказчика. Отец и мать встревожились сильно, опасаясь, не наделал я какой-нибудь беды, и, поплавав над моей участью, назавтра же отвезли меня назад к Афанасьевым. Хозяева также всполошились по поводу неслыханного казуса, мною учинённого, но, выслушав мои жалобы, приказали изменить режим моих занятий в смысле некоторого облегчения. С этих пор условия моей жизни изменились к лучшему. Меня перевели из общей комнаты конторы в особую небольшую комнату, где я мог по временам оставаться наедине. Мои сослуживцы, не исключая Силы и Максимки, переменили тон на

более мягкий и приятный. Я понемногу начинал входить в колею моих обязанностей и быстро познавать приёмы техники, какие требовались от подручного приказчика в кожевенном производстве. В праздничные дни и вечера появилась некоторая свобода, которая временами позволяла участвовать в играх в мяч, в лапту и бабки.

О книгах и газетах в то время не было даже помину. Их как бы вовсе не существовало. Раз в неделю хозяин получал «Московские ведомости», но давать читать их приказчикам было бы сочтено за баловство и непроизводительную затрату времени. Газета получалась, прочитывалась хозяином и складывалась номер за номером в особую пачку, завязанную бечёвкой. Мне выдана была единственная книга «Часы благоговения», которую я много раз перечитывал с начала и конца. Лишь год спустя единственный раз нам отпущен был номер «Московских ведомостей», в котором сообщалось о переходе наших войск с Южной стороны на Северную при защите Севастополя. Что это был за маневр, мы совсем не знали, но хотя смутно, а догадывались, что победы он не означает. Толки о войне ходили разные, но все они вращались на том, что европейские державы из зависти напали на русского царя, но где-то там, на самом «краешке» нашего государства. Всем верилось, что француз не посмеет забраться в Россию далеко, ибо 12-й год научил его порядком. Известные стихи:

Как в воинственном азарте

Воевода Пальмерстон...

ходили в списках по рукам и заучивались наизусть почти каждым грамотным человеком. Порою делались со вздохом замечания на ту тему, что «сколько православных погибнет в этой войне — страсть!» или «вот бы нам теперь Суворова командиром, задал бы он неприятелям перцу».

О том, чем вызвана была война, какие политические причины побудили европейские державы её начать и какие принесёт она последствия для России, никто не имел ни малейшего понятия. В нашем сибирском захолустье война отражалась только усиленным набором рекрутов и денежными сборами.

## VI. За прилавком

Старая хозяйка, мать хозяина, Аграфена Ивановна, жила со старшей дочерью в особом флигеле, где устроена была богатая старообрядческая «моленна» с прекрасными древними иконами и книгами. Каждый праздник совершалось там общественное моление, и у них всегда, бывало, проживала какая-нибудь начётчица из Москвы под именем «старницы», которая читала по Часослову и Псалтыри положенные службы и состояла регентом хора и блюстительницей порядка. Иногда по праздникам в послеобеденное время приглашали и меня прочесть собравшимся какое-нибудь «слово» или «житие» то из Пролога, то из Четьи-Минеи или Маргариты. Но мне, как состоявшему в никонианстве, не позволяли ни молиться вместе с ними, ни есть и пить из одной посуды. Я прочитывал известные страницы книги, получал «спасибо» и уходил в мою квартиру.

Лавка с красным товаром, хотя и числилась от имени хозяина официально, но фактически принадлежала старшей незамужней сестре его Наталье Афанасьевне, и она давно вела эту торговлю от себя, имея приказчицу старушку Екатерину Алексеевну. В базарные субботние дни хозяйка продавала товары сама, а ей помогала только её приказчица. В остальное же время недели торговала одна Екатерина Алексеевна. Торговля велась старым способом с запрашиванием цен вдвое и втрое против цен действительных. Товары продавались исключительно мануфактурные, и вся годовая выручка денег не превышала суммы тысяч пятнадцати рублей. Покупателями были преимущественно сельские жители, и лишь изредка заходили городские обыватели.

Через два месяца после моего приезда из деревни на службу к Афанасьевым мне предложили поступить в упомянутую лавку продавцом товара с прибавкой жалованья до 120 р. в год. Я, конечно, с радостью принял это предложение.

Рано утром на другой же день я пошёл во флигель Аграфены Ивановны взять ключи от лавки, получить её благословение и идти в гостиный двор в занимаемую Решетниковой лавку. Сама хозяйка на первый раз дала мне несколько практических уроков, как укладывать товары и как их продавать покупателям. Приказчица её Екатерина Алексеевна была тихая, добрая старушка, а посему отнеслась ко мне ласково и сердечно.

Техника торговли была так проста и примитивна, что я скоро её понял и начал выдвигаться вперед быстро и успешно. Приходит покупательница, какая-нибудь деревенская баба, и спрашивает, например, сарафанного ситца. Вот типичный диалог, какой ведётся, бывало, в этом случае.

— Ну-ка, покажи мне ситца сарафанного, — спрашивает баба.

— Вам какого? — ласковым вопросом отвечает продавец. — Есть ситцы светлые и темные. Не угодно ли кубового, самой прочной окраски?

— Ну покажи кубового.

Достается с полки целая стопа кусков кубового ситца разных рисунков и доброты. Развёртываются куски и вытягиваются на прилавке перед покупательницей так, чтобы представить рисунок в наиболее выгодном освещении. Баба выбирает ситец, какой ей нравится, и спрашивает цену.

— Вот этот ситец чего стоит?

— 32 коп. серебром, или 1 р. 12 к. ассигнациями, — не запинаясь, отвечает продавец.

— Что так дорого! Я вижу, ты запрашиваешь втридорога. Я не знаю, что тебе и «подать» (предложить).

— Сколько вам угодно подавайте, но ситец прочный, кубовый, и в сарафане будет прямо загляденье. А вымое-те, ещё будет ярче и красивее.

— Ну уж ты пошёл нахваливать! Скажи как лучше, что стоит решительно?

— Извольте, для вас только: десять старых гривен.

— Нет, дорого! Возьми-ка половину.

— Что вы, что вы, помилуйте, да это ведь убыток будет! Даже фабрикант не может продавать за такую цену. Ведь одна кубовая краска чего стоит!

Баба колеблется и молчит. Потом решается и заявляет:



— Ну вот тебе семь гривен и больше не прибавлю.

— Невозможно это. Посудите сами, ведь семь гривен — только 20 к. серебром. Ну хотите, вот вам цена — прежний рубль, а теперь 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп.

— Ну, вам, краснобаю, можно разве верить? Берите, что даю, и меряйте десять аршин.

Баба намеревается из лавки уходить. Её надо во что бы то ни стало удержать.

— Вы посмотрите-ка, как ситец этот прочен, — заявляет продавец и при этом быстро отрывает ленту от ситца.

Треск разрыва ткани интересуется бабу. Она подходит снова к прилавку и любуется оторванной лентой, рассматривая ткань и разорванные нитки основы.

— Посмотрите-ка, как блестит колер краски, — снова начинает продавец свою рекламу, — нигде вы такого ситца не найдёте. Вот рядом ермаковский ситец, низенькой доброты и линючих красок — я возьму с вас цену за него только 20 к. Но куда же он годится против вот этого?

Баба ещё колеблется с минуту, то рассматривая ленту обрывка, то спуская с прилавка полосу ситца.

— Ну вот вам: семь гривен и семишник (22 коп.) и больше я не дам ни гроша, — заявляет она, намереваясь снова уходить из лавки.

— Только для вас я отдаю за четвертак серебряный, — отвечает продавец и намеренно завёртывает ситец по старым штампам, как бы желая убирать его на полку.

— Ну и не надо, — заявляет покупательница, направляясь решительно к выходу из лавки.

— Пожалуйста, пожалуйста, — настойчиво продолжает продавец, — я вам уступлю ещё копейку.

— Чего же вы меня вернули, а сами опять тянете канитель? Сказано, более не прибавлю.

— Делать нечего, извольте, отдам и по вашей цене. Убыток ведь беру, только чтобы знали вы, где хороший товар продаётся.

На самом деле ситец стоит продавцу 15 к., и его можно продавать с хорошей пользой за 18 к. Но тенденция торговцев в те времена была такая, чтобы продавать «с запросом», как с кого придётся. Запрашивать больше, чем двойные цены, продавать товары с 30–40 процентами пользы считалось столь нормальным, что продавец, умев-

ший успешно это делать, был «на счету» и пользовался славой хорошего человека.

Я быстро успевал в этой новой должности, присматриваясь по соседству к тем порядкам, какие были в крупных лавках того же гостиного двора. Мало-помалу я завёл лучшее убранство лавки и более точную запись в книгах, когда была продажа в кредит своим клиентам. Старушка Екатерина Алексеевна была мною довольна и часто выставила на вид моей хозяйке «как хорошо Миклушка занимается». Теперь уже никто меня не бранил, и я приходил домой по вечерам не изнурённый, а довольный. После чая я охотно занимался с приказчиками поверкой счетов, приёмкой товаров и т.п., ибо это не носило уже характера принуждения.

Находясь в лавке целый день, я имел много свободного времени и вначале употреблял его на упражнение в переписывании попадавших под руку бумаг и писем, чтобы, как твердили мне хозяева, «натореть в почерке». Но пришла зима, нельзя стало писать чернилами в холодной лавке, и я чаще начал выходить в угол коридора, где собирались на скамейке некоторые торговцы соседних лавок. Тут я свёл первое знакомство с Василием Прокофьевичем Шмурыгиным, которому затем обязан чтением первых книг гражданского содержания. У него в доме много лет подряд жил образованный человек, некто г. Устинов, который, умирая, завещал ему порядочную библиотеку из книг русской литературы. В ней были полные собрания сочинений русских выдающихся писателей и довольно много отдельных романов, повестей и исторических сочинений. Г-н Шмурыгин был в то время человеком средних лет, обыватель Тюмени, побывавший в детстве в уездном училище и развившийся в общении с Устиновым настолько, что поражал меня своими знаниями и замечательным даром слова. Сидя со мной на скамейке коридора, он часто мне рассказывал содержание некоторых книг, относясь всегда критически к прочитанному сочинению. Прежде всего он начал систематически давать мне книги для прочтения из его библиотеки. Первая книга, какую он мне посоветовал прочесть, была «Юрий Милославский» Загоскина. Я не помнил себя от радости, когда читал этот роман. Секретно, конечно, я принёс книгу домой и, дож-

давшись ночи, наглухо завесил окна, чтобы не видно было со двора света, дабы не возбуждать неудовольствия хозяев. Когда я возвращал прочитанную книгу Шмурыгину, он потребовал от меня рассказа её содержания и, видя, что рассказываю неумело и нескладно, посоветовал прочесть её вторично. Две зимы и лето продолжалось мною чтение книг библиотеки Устинова при постоянном руководстве Шмурыгина.

Я подрастал и развивался умственно настолько, насколько позволяли мои практические служебные занятия в лавке и в доме моих хозяев.

Торговля в лавке мануфактурой давала мне значительный запас свободного времени, но и в ней были своего рода «шипы», о которых вспоминается теперь с горечью и болью. Так, зимой, несмотря на холод, доходивший иногда до 35 градусов Реомюра, приходилось мерить ткани железным аршином и пересчитывать медные деньги голыми руками, а это вело к тому, что несколько раз в течение зимы я отмораживал себе, бывало, пальцы обеих рук. И это горе было выносимо. Всего же хуже и труднее было спать ночами в холодном балагане в продолжение января, когда в Тюмени открывалась Васильевская ярмарка и нужно было на это время перемещаться из гостиного двора во временные лавки. Балаганы, где мы торговали, наружно охранялись сторожами, но так как в балаганах не было дверей, а только западни, из которых на день одна нижняя половина служила прилавком, а другая на шарнирах поднималась кверху — то и надо было ночью сторожить товар внутри, за плохо замкнутыми западнями. Эта служба приходилась и на мою долю. Бывало, в сумерки идёшь домой напиться чаю и поужинать, а потом в сопровождении дворового человека отправляешься ночевать в дырявый балаган, в котором и запирают меня снаружи висячими замками, унося ключи домой. Утром около 7 часов тот же дворовый человек приходил отворять замки для выпуска меня оттуда и замыкал их снова до полного рассвета. Вставая из-под шубы и кочьмы, бывало, дрожишь от холода напропалую, одеваешься наскоро и полной рысью бежишь домой, чтобы сколько-нибудь согреться. Как я это выносил в течение месяца, не схватил горячки, до сих пор не понимаю! И никому не прихо-

дило в голову, что случись пожар в этих временных рядах, построенных из тонкого теса и досок, где люди спали, запертые висячими замками, ключи от которых унесены в квартиры, мы все погорели бы заживо. Мороз по коже пробирает меня даже теперь, когда я вспомню время этой ярмарки.

Спустя два года после начала моей службы продавцом товаров в лавке, я приобрел настолько доверия от хозяев, что они разрешили мне сделать нововведение в способе продажи. Меня постоянно возмущали запрос цен и обман доверчивых покупателей: претило уверение в заведомой неправде, выдавая ложь за истину. Поэтому я задумал объявить цены без запроса и с такой целью поместить над лавкой вывеску, гласящую:

«Цены без запроса».

Многие, кому я ранее рассказывал о моём проекте, находили его несбыточным и непрактичным. Даже приятель мой Шмурыгин находил его преждевременным. «Ты подумай, — говорил он, — кто поверит нам, что мы, целые века уверяя наших покупателей в неправде, вдруг в один присест сразу всё изменим и скажем ему правду? Да разве покупатель этому поверит? Никогда. А если так, то перестанут покупать товар, и для тебя наступит поражение». Старушка Екатерина Алексеевна сомнительно качала головой, приговаривая: «Господи Иисусе, какое ты, Миколушка, затеял неслыханное дело». Но я крепко верил в успех дела, настаивал на нём упорно и наконец добился от хозяев разрешения на полное его применение.

С лихорадочной поспешностью расценил я товары с 20 процентом барыша, написал крупно цены на кусках материи и повесил над лавкой мою вывеску, где большими буквами было нарисовано: «Цены без запроса». Всё это произвело в местном захолустье большую сенсацию и заставило говорить обывателей как о некоем событии, из ряда вон выходящем. Я начал торговать по новому методу. Никто сначала мне не верил, и покупатель уходил из лавки без покупки, не добившись сбавки цен. В первые дни торговля продолжалась плохо, а в базарный день, субботу выручка едва достигла четверти того, что обыкновенно выручалось. Но зато молва об этом разошлась по целому уезду. Я несколько приуныл, хотя вера в конечный ре-

зультат меня поддерживала, и я настойчиво продолжал вести новую систему продажи. К концу месяца однако торговля улучшилась, а потом постепенно расширялась дальше, пока не определилась лучше прежней. Я был героем дня и с гордостью смотрел, как новая система заслуживала между клиентами лавки все больше и больше доверия. Хозяин мой теперь часто осведомлялся о положении дела и, видимо, доволен был самым моим нововведением.

В первые годы моей службы каждое лето мы ездили с товарами для продажи на торжок в село Каменское, отстоящее в 28 верстах от г. Тюмени. Народу собиралось в Каменке в храмовой праздник, Прокопьев день, по местному выражению, видимо-невидимо, и торговля всеми сельскими товарами бывала из ряда вон хорошая. Из Тюмени прибывал туда крестный ход, и это придавало сельскому торжку вид заправской ярмарки. Кругом церкви шли квадратом маленькие деревянные лавки, носившие громкое название гостиного двора, в которых бойко торговали красным товаром, мелочью, пряниками, и там же выделялись постоянной толпой народа лавочки с косами и серпами, звон стоял кругом от постоянно ударяемых о дерево стальных «литовок». Вся внутренняя площадь гостиного двора занята была толпой народа; весь отлогий берег, вне его, по направлению к реке Туре, сплошь был заставлен рядами телег и складов на земле, где продавались и покупались ковры, рогожи, холст, конопляное семя, сермяги, туесья и кузовья\*.

У самой реки устраивался ряд временных шалашей с очагами для огня, где готовились «пряженики» и где разгулявшаяся молодёжь веселилась и пела песни. Косогор занимался также молодёжью в ярких праздничных нарядах. Здесь же часто разрешались семейные вопросы о жене или невесте. Густыми толпами виднелись «круги», среди которых происходила борьба «под пояски», и где героем дня часто выступал Антошка Лазарев, поборовший постепенно до 70 человек кряду и не имея более соперников, «уносивший круг с собою». На самом гребне берега длинными рядами стояли мужчины и женщины, желавшие наняться на летнюю работу «от сегодня до По-

\* Котомка из бересты особенного типа.



крова»; между ними выступали наниматели, желавшие найти себе работника или «пострадульку». Там и сям слышались хоры песенников, смешанные голоса и звуки, и над толпой носился постоянный гул многотысячного сбора.

Я не довольствовался уже той ареной деятельности, какую представляла местная торговля, и предложил хозяевам развить её поездкой с товарами в большую ярмарку — Бобровскую, происходившую от Тюмени в 100 верстах расстояния. Эта ярмарка продолжалась две недели и занимала время с 15 до 30 июня. По обыкновению из Тюмени снаряжалось несколько караванов из торговцев и нанимались возчики «на долгих» для доставления в Бобровку как торговых людей, так и товаров. Езда тянулась медленно, обозом лошадей в 15—20, с остановками для кормёжки лошадей и ночлега пассажиров где-нибудь на берегу реки или озера. Каждый год подобная поездка составляла целое событие среди монотонного строя нашей городской торговли. Она представляла, по крайней мере для меня, как бы повторение той поездки, когда мы ездили из Кулаковой за брусникой. Здесь было только большее удобство и сравнительный комфорт, чем тогда в деревне, и не было опасности от топкого болота по дороге и встрече с медведями в лесу. Все же остальное — гладкая дорога, чистый воздух, сосновые леса, поляны, разложенный костёр огня, ночлег под открытым небом — представляло собой одно глубокое наслаждение.

Ярмарка представляла собой как бы повторение торжка в селе Каменском, но только была продолжительнее, несколько обширнее, а потому для торговли выгоднее. Описывать её считаю бесполезным повторением.

\* \* \*

Знакомство моё с В.П.Шмурыгиным, служившим мещанским старостой в городе, указало нам дорогу — хлопотать о том, чтобы, перечислившись в мещан, тем самым выделиться из ревизских сказок большой крестьянской семьи и избежать солдатчины. Для этого требовался увольнительный приговор от деревни, приёмный от мещанского общества и утверждение такового местной казённой палатой. Каких больших и унижительных хлопот сто-

ило нам получить увольнительный приговор сельского общества, мне с горечью вспоминается даже и теперь. Отец мой предлагал деревне за этот приговор все наши угодья (пашни, покосы, леса) и, кроме того, денег 100 р., но ничто не помогало. Общество отказывало наотрез. Но когда некоторым мироедам даны были подарки, поставлено 5 вёдер водки и несколько пудов орехов обществу, увольнительный приговор сразу был составлен. И, Боже мой, какие сцены пьянства и разгула в кабаке вызвала поставленная водка! Кабак стоял как раз против здания волости; делёж водки и орехов занял всё пространство улицы. Я помню ужас моего отца, не употреблявшего ни пива, ни вина, когда смотрел он на эти отвратительные сцены, приговаривая, что «только сатана придумал водку».

Получить приёмный приговор мещанского общества в городе стоило меньшего труда и денежных расходов, хотя и тут много зависело от своих мещанских мироедов. Вслед за этими приговорами мне пришлось ехать в Тобольскую казённую палату, где, благодаря протекции покойного Н.А.Тюфина, очень скоро всё было устроено благополучно. Я вернулся в Тюмень уже сыном мещанской семьи, и мы вздохнули наконец свободно от висевшего над нами дамоклова меча. Я никогда не видывал большей радости у матери и отца, чем тогда, когда они узнали, что сына их наконец-то не возьмут в солдаты.

Но недолго продолжалось это радостное семейное настроение. Через какой-нибудь год времени объявлен был новый закон о воинской повинности, и мне, хотя одиночке, приходилось подвергнуться жеребьёвке. В семье у нас опять наступили тревожные времена. Приходилось снова решать вопрос, покупать ли рекрутскую квитанцию, приискивать ли наёмщика или, наконец, записывать меня в купцы 3-й гильдии. Благодаря помощи моего хозяина быстро удалось превратить меня из мещанина в купца и на этот раз уже навсегда покончить с кандидатурой моей под красную шапку.

## VIII. К свету и воле

В 1856 г. в моей духовной жизни совершилось одно событие, заставившее меня усиленно идти к возможному самообразованию. Хозяин мой Решетников в это время выписал из Вятки нового приказчика Михаила Анфимовича Рылова, молодого человека, кончившего курс местного уездного училища, а посему писавшего грамотно и правильно. Свежий человек, больше меня видевший и знавший света, даже, как мне тогда казалось, довольно учёный, произвёл на меня сильное впечатление, и мы с ним скоро сошлись в товарищеские хорошие отношения. Как-то раз я показал ему несколько моих стихотворений, явившихся подражанием балладам Жуковского, и получил ответ, что нельзя писать стихи, не зная грамматики. Недолго думая, я на следующий же день купил в уездном училище грамматику и начал проходить её пока под руководством Рылова. Но учить грамматику в лавке, на виду у всех, было очень трудно; заниматься дома ночью и украдкой и того труднее, потому что это скоро вызвало бы со стороны хозяев строгое порицание. Я долго ломал голову над разрешением этого вопроса и пришёл опять к тому же заключению, что единственный исход в моём положении — это заниматься только урывками и посвящать учению праздничные дни. Долго ли продолжались эти занятия, я теперь не помню, но, видимо, для ментора моего они стали казаться утомительными, и мне пришлось снова ограничиваться «самоучкою».

В эти времена мы с Рыловым читали много книг и занимались даже стихотворными посланиями один к другому. У нас заведены были альбомы с надписью: «Всё, что есть, моё», куда мы заносили свои стихотворения. Мне почему-то нравились особенно баллады Жуковского, и я старался подражать их размеру; Рылов же сочинял стихи на темы реальных, обыденной жизни. Трудясь над этим, мы послушались одного здравого сомнения, в нас заговорившего, и

решились показать стихи учителю словесности в уездном училище Николаю Ивановичу Яковлеву. Этот прекрасный, душевный человек принял нас ласково и одобрительно, предложив нам оставить у него альбомы на просмотр. Когда же мы явились к нему за приговором, он вежливо, но искренне ответил нам, что поэты мы плохие, и в доказательство своего мнения прочёл несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, наглядно показав, как плохо мы владеем стихотворной формой. В особенности Яковлев порицал стихи товарища моего Рылова, находя, что они чужды всякой музыкальности. Ко мне же он отнёсся несколько снисходительно, заметив, что при неумении моём владеть стихом в некоторых из них проглядывают искорки поэзии.

Разочарованные, вернулись мы домой со своими альбомами стихотворений. Товарищ мой, как более нетерпеливый, взял топор и тут же изрубил альбом на мелкие кусочки. Я же долго хранил своё сокровище, по временам в него заглядывая, пока наконец его не затерял.

Читать книги охота была сильная, а покупать их, выписывая из Москвы, средств не было. Ни публичной библиотеки, ни городской читальни в Тюмени и в помине тогда не было. Лишь у некоторых богатых лиц имелись маленькие собрания книг, но они крепко запирались в шкафы, и достать их оттуда для прочтения не было для нас возможности. К числу таких владельцев библиотек принадлежал богатый человек в Тюмени Е.А.Котовщиков, имевший мальчиком при комнатах некоего Стёпу Шаршавина. Этот Стёпа часто заходил ко мне в лавку и видя, что я постоянно что-нибудь читаю, высказал однажды, что вот у хозяина его хранятся в шкафу такие замечательные книги, что даже переплеты их украшены золотом.

— Ах, вот бы почитать-то! — невольно вырвалось восклицание у меня.

— Ну что же, хочешь, я принесу тебе одну книжку? Читай на здоровье, — ответил Стёпа.

— Сделай милость, век не забуду, — упрашивал я.

— Только вот что: книгу заверни в бумагу и читай так, чтобы книгу никто не увидал. А то на первом листе написана фамилия «самого», и беда будет мне и тебе, если кто-нибудь об этом ему скажет.

Итак, каюсь, книги вынимались из шкафа их владельца не совсем легально; я знал об этом, но соблазн был слишком велик, и я не мог устоять перед ним и пользовался чужой собственностью без ведома владельца. Книга за книгой я перечитал «Историю Государства Российского» Карамзина, сочинения Марлинского, Вальтера Скотта и проч. Владелец книг так и умер, не зная, что когда-то, том за томом, его сокровища тихонько вынимались из шкафа, прочитывались чужим человеком и ставились опять на свои места.

Рылов и я завели свою секретную библиотечку, выписывая из Москвы пока одни учебники и руководства, — он по технической химии, а я по физике. Как-то раз я прихожу домой из лавки и вижу Рылова, стоящего на коленях у лестницы, ведущей в наши комнаты, и восклицającego: «Ура! Химия и физика приехали!». Вечером, когда все уgomонились, мы тщательно закрыли окна, чтобы свет не проникал наружу, и уселись за присланные руководства. Но какое же постигло нас разочарование, когда мы там нашли целые строки и столбцы, наполненные алгебраическими формулами, в которых ни он, ни я ничего не понимали! Чего мы не придумывали, чтобы победить неожиданное затруднение, ничего у нас путного не выходило, а потому мы решили, что я пойду к учителю арифметики Семёнову попросить совета, как бы нам изучить алгебру. Учитель Семёнов выслушал меня в передней и расхохотался мне в глаза, проговорив: «Ишь, что выдумал — алгебру учить! Иди-ка домой, мне некогда с тобой разговаривать».

Эта неудача нашего рвения однако не остановила. В следующий же праздник я и Рылов с теми же запросами явились к смотрителю училища Неугодникову, который так же, как и его коллега Семёнов, выпроводил нас обратно с нотацией — не братья за чужое дело.

Впоследствии, когда я по привычке писать несколько литературно, этот случай вызвал даже местную полемику в неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» между мною и смотрителем уездного училища Неугодниковым.

Наши учебные занятия и чтение книг не могли долго укрываться от внимания нашего хозяина. Как-то раз, от-



куда-то вернувшись в наши комнаты, мы нашли наш шкаф открытым и книги наши унесёнными. Мы догадались, что тут ходила хозяйская рука, и что за эти книги будет нам головомойка. Мы ждали её со страхом и нетерпением. В тот же вечер позвали нас в кабинет хозяина, где сидела и мать его, старушка Аграфена Ивановна.

— Вы что это, книги завели? — строго заговорил хозяин. — И проводите время за чтением книг, а хозяйским делом манкируете? Вот посмотрите-ка, маменька, — развёртывая книгу и показывая её неграмотной матери, продолжал хозяин, — что у них за книги: физика Писаревского, техническая химия Ходнева, сочинения Жуковского!

— Я давно говорю, — ответила Аграфена Ивановна, — к добру это не приведёт. Ну читали бы что божественное, а то накося, как ты, Ванюша, назвал книгу-то?

— Физика, маменька.

— Господи, помилуй! Фезика какая-то. От роду моего не слыхала такой книги. И на что им она?

— Нам хочется узнать, что такое теплота, свет, — заявил я, запинаясь.

— Да разве вы не знаете, что солнышко светит, а огонь греет? Какого вам рожна ещё нужно?

— А я хочу узнать, какое корьё действует на кожу, — вставил мой товарищ.

— Иди в завод и работай, вот и узнаешь, — резко и наставительно перебил его хозяин.

Мы замолчали.

Хозяин сердито перечитывал Жуковского и снова заговорил:

— Корьё, какое там корьё! Вот они учатся, как лучше песни сочинять. В этой книге, маменька, есть такое, что и прочитать-то срам.

— Бесстыдники, — заключила Аграфена Ивановна и поднялась сердито со своего места.

— Возьмите ваши книги, — резко заявил хозяин, — и чтобы я больше их у вас не видел. Занимайтесь лучше делом.

Мы молча захватили наши книги и вышли вон из кабинета хозяина, точно пойманные на преступлении, радуясь в душе, что дёшево ещё отделались. С этих пор мы удвоили осторожность и когда читали и учили что-нибудь, то завешивали окна ночью и прятали книги на день где-

нибудь под ящик. К учителю Яковлеву мы ходили только в праздничные дни, когда хозяин уезжал к обедне: я сдавал уроки из грамматики, а Рылов просил ответа на какие-нибудь трудные вопросы, какие представляла научная терминология технической химии. Иногда для нас делался разбор какого-нибудь литературного произведения. Вообще, учитель Яковлев был для нас такой чудный руководитель, что сердечная благодарность ему останется у нас в глубине души, как говорится, до гробовой доски.

Как-то раз Рылов написал корреспонденцию в «Московские ведомости», и газета её напечатала. Это подняло его в глазах у всех. У меня также зародилось соревнование, и я рискнул послать мою корреспонденцию о Бобровской ярмарке в «Казанский экономический журнал». Корреспонденция была тоже напечатана, и притом с моей полной подписью. О нас в Тюмени заговорили, как о чём-то невиданном и неслыханном в торговом мире. К хозяину нашему стали приезжать гости — чиновники города и купцы — и спрашивать его, что у него за приказчики, что «в газетах даже пишут»? Это, видимо, ему польстило, и с этих пор отношение его к нам и нашим литературным занятиям стали мягче, и нас начали удостоивать разговором. Я из Николая превратился в «Николашу», а товарищ мой из Рылова в «Мишеля». Раз хозяин даже позвал меня к себе, прося прочесть какое-нибудь моё сочинение в присутствии его гостя, того самого Решетникова, которого когда-то в деревне называл дядя Семён «именитым». Я не помню, что я им прочел, но похвалы гостя, видимо, приятны были моему хозяину; он ликовал и как бы говорил своим видом и осанкой, что, вот, мол, каковы его приказчики — «ребята сочиняют и в газеты даже пишут».

Мания учиться в то время завладела мною сильно. Я выписал, между прочим, самоучитель французского языка, какую-то книжонку с Никольского рынка в Москве, по которой будто бы на русских буквах можно выучиться — «читать, писать и говорить по-французски». Я возился с нею несколько недель, твердя наизусть: «лом» — человек, «сел» — небо, пока какой-то добрый человек не растолковал, что напрасно трачу время. Потом судьба столкнула меня со старым семинаристом, который соблазнил меня учиться греческому языку; скоро потом должен был

он сознаться, что знал его давно и теперь уж многое забыл. Мы оставили в покое греческий язык, но часто рассуждали о религиозных вопросах вообще, и старообрядческих в частности. Как-то речь зашла об «Олонецких ответах» Дионисова, которых он не знал и не ведал. Я выпросил у хозяев эту редкую рукопись с рисунками на полях «перстного сложения» и дал ему для прочтения. В одно из своих посещений он похвастался, что умеет писать книги по-славянски и копировать рисунки и что, если я хочу, он спишет эту книгу «точка в точку», только за 5 р. вознаграждения\*. Я согласился. Но подсмотрел ли кто-нибудь такое преступление и донес о том городничему, сам ли мой знакомый где-нибудь проболтался, только раз приходит ко мне полицейский солдат с приказом явиться завтра утром к городничему в квартиру.

Я обомлел от страха, зная его взяточничество и придирки. Бросился было к хозяину, прося защиты, но тот ответил, что городничий и на него за что-то сердится и что он слышал, что «расстригу моего» за переписку «Олонецких ответов» упрятали в кутузку. «Не следовало переписывать, вот и вся штука», — укоризненно заметил мне хозяин, но прибавил, что завтра надобно идти к городничему и взять с собою 25 р. для подарка.

На другой день рано утром я был уже в приёмной градоправителя.

— Ты что задумал? Распространять еретические книги? — напустился на меня городничий. — Да знаешь ли ты, что за это полагается? Посадить тебя в острог, а потом сослать в Березов?..

— Я только из любознательности дал переписать это сочинение и вовсе не думал распространять его, — заметил я упавшим голосом.

— Знаю я вашу любознательность, — перебил меня городничий, — сегодня перепишет один, завтра даст другому, а там и пошло совращение в раскол...

— Ваше высокоблагородие, не можете ли уделить мне несколько минут времени наедине? Я имею вам сообщить нечто по секрету, — ответил я.

— А! Хорошо!

Мы перешли в его кабинет и затворили дверь.

\* 5 расс. = 1 р. 43 к. сер.

Я молча положил на стол 25 р., прибавив:

— Сделайте милость, прекратите это дело.

— Ты просишь прекратить? — сказал он мягко. — Только жалея твою молодость, я не буду производить следствия, но чтобы сегодня же было мне доставлено ещё столько же, сколько ты там положил! Иначе прикажу тебя арестовать и посадить в острог.

Я замирал от страха и обещал добавить 25 р., лишь бы только не сидеть в остроге, что по-тогдашним временам легко мог сделать городничий.

В то же время другая, меньшая напасть, тоже с книгой, постигла меня вот по какому случаю. Через Шмурыгина я свёл знакомство с одним священником, с которым мы иногда подолгу беседовали о старообрядцах и их отношении к нам. Священник был глубоко религиозный, прекрасный человек и часто жаловался мне, что не может достать книги Симеона Дионисова о падении Соловецкого монастыря, которую ему хотелось бы прочесть. Я проговорился, что могу достать, но только книга редкая и ценная, а посему, — прибавил я, — он должен дать мне слово, что книгу только прочитает и сейчас же возвратит. Слово было дано, и книга ему вручена. Но вышло так, что священник написал об этом в консисторию, которая потребовала присылки самой книги; мне же он ответил, что обязан был так сделать. Я вынужден был заплатить за книгу 30 р., не говоря уже о том, какие неприятности я вынес от её владельцев.

\* \* \*

Между тогдашними нашими приятелями был один оригинальный человек, кузнец Яков Удалов. Никто лучше его не ковал в городе лошадей, никто лучше не оковывал «долгуш» и «дрожек». Всякая старая машина, ружьё, затейливый замок занимали его, и он слыл в Тюмени чудачком-механиком. Отец его был «шваль», т.е. шил кожаные рукавицы, но сын Яков настоял отпустить его в работники к кузнецу и к 30-летнему возрасту имел уже свою кузницу и прославился работой. Яков Удалов был неграмотен, но целые вечера, бывало, просиживал над книгой «Механика» Писаревского, рассматривая рисунки машин и оптических приборов. Всегда молчаливый и серьёзный,

с чёрными блестящими глазами, сидит и слушает, бывало, как кто-нибудь из нас читает что-нибудь беллетристическое, а порой не утерпит и скажет:

— Какую пустяковину читаете вы, господа! Вот если бы божественное вы читали или что-нибудь про машины, то людям была бы польза, а это что?

— Ах, Яков Иванович, опять ты за своё принялся, — ответим мы ему. — А что же, вечное движение подвигается у тебя вперед?

— Что же вечное движение? Это штука поважнее ваших книжек. У меня вон только не хватает ползубца в ходу колесика, а то бы и совсем готово было.

— Да покажи ты нам хоть раз твоё перпетуум-мобиле, — пристаём мы к нему.

— Ну нет, не просите, не покажу! Бог даст, когда ползубца последние осилю, ну тогда другое дело, приходите и смотрите.

Необыкновенно соблазнительным казалось нам иметь лодку-самоход с механическим двигателем, на которой мы могли бы плавать по р. Туре, и вот, толкуя с Удаловым как-то о машинах, мы решили начать строить эту лодку-самоход на товарищеских началах: лодка, железо и рабочие — наши, а работа механика Удалова. Товарищество наше составляли: я, Рылов, Сила и Прохор. Месяц целый продолжались у нас оживлённые дебаты и работы над этой лодкой. И вот как-то в праздник мы встали на рассвете и отправились на речку Монастырку, чтобы собрать там наш самоход и, плывя рекой, удивить тюменцев новым изобретением. На берегу речки собрали мы нашу лодку. Все готово, колеса с лопастями по бокам, как у парохода, внутри коленчатые рукоятки с колесами и шестернями для вращения. Мы попробовали вертеть механизм, и оказалось, что на суше прекрасно работали гребные колеса! Восторгу нашему не было границ!

Лодка, наконец, спущена на воду. Мы уселись внутри, выплыли на реку и понеслись по её течению. Рабочие вертели рукоятки; лопасти колёс легонько загребали воду, и лодка наша двигалась исправно. На берегах реки явилась публика, глядя на невиданное чудо. Нам неслись оттуда одобрительные крики, и мы почти торжествовали! Но какой же горестный конец ожидал нас! Как только по-



вернули лодку против течения реки, так оказалось, что её машина совершенно слабосильна, и наша лодка двигалась вперед едва заметно, несмотря на большие усилия рабочих, вертевших рукоятки.

Та же публика по берегам, что нас одобряла раньше, начала смеяться над нами беспощадно. Мы растерянно смотрели друг на друга и не знали, где бы выбрать место для причала лодки. Кое-как мы пристали к кожевенным плотам, но толпа и тут нас окружила, издеваясь над нашей неудачей. Со стыдом поспешили мы домой, где дворня дома хохотала «до упаду» над нашим пароходом. И долго нам потом не давали проходу, смеясь над нами и делая вопросы: «А ну, как ваш пароход? Какая такса будет за пассажирские билеты?».

Яков Удалов задумал потом строить в своей кузнице паровую машину, с какими-то новыми прибавлениями. Без устали работал он над этим дни и ночи. Машина была уже почти готова. Но в то же время, как на грех, где-то он купил старое тяжёлое ружьё и, пробуя стрелять усиленным зарядом, попал на несчастье: ствол ружья около казенника разорвало, и Яков Удалов лишился четырёх пальцев левой руки. Это горе и болезнь сломили богатырскую натуру Удалова. День за днём он стал задумываться больше и больше, и наконец сошёл с ума, сначала буйно и неистово, так что в некоторое время был приковал цепью у стены, а потом мало-помалу впал в тихое, но безвозвратное помешательство. В этом состоянии Яков Удалов и умер.

Между родственниками моими, проживающими в Тюмени, были две замужние тётки (сёстры матери), из которых одна, крестная мать моя Марья Егоровна, жила сравнительно богато, имея с мужем постоянный двор, а другая тётка, Авдотья Егоровна, была замужем за ремесленником и хотя жила не так богато, как первая, но все-таки в довольстве и достатке. И та и другая тетки были замечательны по энергии и деловитости, управляли домом и промыслом от имени мужей и были душою своего дела. Одна держала в городе постоянный двор, заменявший порядочную гостиницу, а другая вела скорняжное ремесло беличьих мехов с полным и возрастающим успехом. Один из дядей моих (муж тётки Авдотьи Егоровны) был добрый,

душевный человек, немного временами запивавший, но отличался тем, что успешно вылечивал «опасную» болезнь (сибирскую язву) на людях и животных. Официальные ветеринары много раз запрещали ему эту его профессию, но каждый раз, когда эпидемия возникала и когда они не могли с ней справиться, — тогда городская администрация разрешала дяде практику лечения, и он тогда не знал ни отдыха, ни покоя, помогая каждому человеку, нуждающемуся в его лечении. Платы за труды он ни с кого не брал, исключая копеечных расходов на лекарство. Чем он эту болезнь лечил, многие содержимое лекарств знали, но никто не знал, чему обязан дядя своим успехам, потому что те же лекарственные материалы из других рук никому не помогали. Дядя всегда над лекарствами молился Богу и что-то долго нашёптывал. Этому, собственно, и приписывалась всеми чудодейственная сила дядиного лекарства.

Я часто спрашивал его, что такое он нашёптывает, но получал один и тот же неизменный ответ, что это «божеский секрет», который он мог бы, умирая, передать только кровному лицу — сыну или отцу, а так как у него ни сына, ни отца в живых не было, то и секрет вместе с ним сойдёт в могилу. Я иногда смеялся над «шёпотами» дяди, но результаты представлялись поразительными. Бывало, больное животное едва к нему приведут, уж прямо-таки обречённое на то, что оно подохнет, но животное от его лекарств неизменно выздоравливало. Позовут его порою к больному человеку этой же болезнью, и я не слышал примера, чтобы больной не оправлялся. Судить и насмехаться над суеверием народа можно сколько угодно, но факты иногда побивают наповал насмешку и остаются фактами, до сих пор необъяснимыми.

Женщина в Сибири не раба мужчины — она ему товарищ. Умирает муж — не погибает дом и промысел, мужем заведённый. Жена-вдова ведёт его дальше с тою же энергией и знанием, какие присущи были мужу. В Тюмени в гостином дворе было с мануфактурными товарами до двух десятков лавок, и половина их велась и управлялась женским персоналом не менее удачно, чем другая половина. У меня была истинным другом и советником вдова Татьяна Алексеевна Пеньевская, до самой смерти после мужа

торговавшая кожевенным товаром. Она вела свои дела прекрасно и пользовалась общим уважением. На её прилавке всегда лежала какая-нибудь книга духовного или светского содержания. Я также знал множество ремесленных семей, потерявших главу семьи — мужчину, которые потом руководимы были женой умершего, а заведённое ремесло продолжалось и развивалось безостановочно.

Крестная мать моя была даже из тюменских женщин, по её энергии и труду выдающейся женщиной. Иной раз казалось даже непонятным, как она может справляться с таким сложным управлением торговлею и хозяйством, входить во все детали и в то же время, что называется, быть душою дела? Меня она любила сильно и часто мне говорила: «К стани и Бог пристанет» (т.е. труду и раннему вставанию Бог помогает). Уходя от неё, я часто получал такое наставление:

— Ну, Миколушка, послужи ещё несколько годиков и потерпи неволю, а там я помогу тебе встать на свои ноги.

\* \* \*

Не помню хорошенько, у кого из нас зародилась мысль — у меня или товарища моего Рылова, но мы сообща написали Петербургской обсерватории о нашем желании быть в Тюмени наблюдателями метеорологических явлений. Предложение наше было принято, и обсерватория прислала нам физические инструменты и таблицы, бланки для занесения наших наблюдений, цифрами и принятыми терминами, предписав в то же время местному почтамту принимать бесплатно нашу корреспонденцию. Мы устроили эти наблюдения на чердаке отдельной, где раскрыли некоторую часть тесовой крыши. Каждый день в 8 ч. утра, в полдень и в 9 часов вечера мы лазили туда по лестнице записывать высоту барометра, температуру воздуха по Реомюру, осадки воды, силу ветра и видимое состояние неба.

В этот период времени умер муж моей крестной матери мой дядя Кривошеин, и я несколько дней находился около покойника. После похорон придя домой поздно вечером, я, по обыкновению своему, отправился в нашу обсерваторию для записи наблюдений. Что-то напевая, я весело поднимался по лестнице и только что просунул голову в западную чердака и глянул к инструментам, как

увидел моего дядю-покойника, лежащего в гробу, на котором колыхалось белое покрывало. Я остановился на ступенях лестницы и обмер от страха. В моём мозгу блеснуло воспоминание о деревенском поверии, что ежели бежать назад, то покойник вскочит, нагонит и загрызёт до смерти, а что лучше идти прямо на него, и тогда нечистый дух исчезнет. Творя молитвы, какие только вспомнились, я с решимостью отчаяния ринулся вперед и схватил колыхающееся покойницкое покрывало. Это оказалась рогожа, нами же повешенная на стропилах. Луна в отверстие крыши её освещала, ветер слегка колыхал, и она казалась совершенно белою!

Нужно ли прибавлять, какой смертельный страх я испытал в этом приключении? Сердце моё билось и сжималось так, что я вернулся в приказчицкую, по выражению Силы, «бледнее мертвеца».

Другой случай был вызван следствием суеверия и безрассудства моего. Кто-то подстрекнул меня к тому, что можно видеть чёрта, отправившись в полночь в баню без огня. Раздевшись там, необходимо позвать его три раза. Чёрт должен явиться в том образе, каков он носит на самом деле. Только-де на это нужны смелость и решимость.

Баня наша находилась в заднем углу кожевенного двора, как раз на берегу р. Туры, и выдавалась задней стороной прямо над водою. Дождавшись полночи, я отправился один в баню, отыскивая ощупью двери из тёмного предбанника. Там я разделся, поднялся по ступенькам на поллок, уселся в самый угол и три раза произнес определённую формулу:

«Чёрт, чёрт, явись ко мне показать себя».

Конечно, никто не явился, и я вернулся в комнаты к себе ничего и никого не видевши. Но представляю я себе, что если бы в момент вызова чёрта забежала в сени бани собака, закричал бы на реке рыбак, — что было бы тогда с моею храбростью? В то время я достаточно был суеверен и все-таки пошёл один ночью в баню вызывать чёрта.

\*\*\*

Летом в праздничные дни мы иногда плавали на лодке по р. Туре в виде прогулки. Соберётся, бывало, кучка песенников, и мы, сидя в лодке во время плавания, распе-

вали песни; то захватим самовар, чайную посуду и уплы-  
вём за город куда-нибудь на бережок с полянкой, где и  
устраивалось чаепитие. В одну из таких поездок товарищу  
моему Рылову надо было перейти из лодки на нагорный  
берег р.Туры. Он выскочил из лодки на берег и начал шутя  
кидать в меня комочками земли. Лодка оттолкнута была от  
берега и плыла вниз по течению реки. Я стоял среди неё,  
уклоняясь направо и налево от бросаемых в меня комков  
глины, и вдруг, поскользнувшись, упал за борт лодки,  
головой вниз, в воду. Плавать я не умел, а место реки  
было глубокое. Люди, бывшие на лодке, в первые момен-  
ты растерялись и не знали, как мне помогать, ибо я, по  
их выражению, «как камень скрылся под водой, и лишь  
пятки сверкнули возле лодки». Я живо помню обуявшие  
меня первые ощущения, когда я начинал тонуть. В глазах  
стоял жёлтый цвет, в ушах звенело, а в голове с неверо-  
ятной быстротой проносились мысли и картины созна-  
ния, что я утопаю и умираю, что родные будут плакать, а  
мать моя замрёт от жгучего страдания. Со страшной быст-  
ротой проносились в голове картины, виденные в детстве.  
Как могло всё это уместиться в моём сознании в такое  
короткое время, пока я шёл ко дну реки, на глубину ка-  
ких-нибудь 5 аршин, я не могу понять, но отчётливо со-  
знавал и видел ярко одну картину за другою. Мне вспом-  
нилось даже, что я одет в платье и сапоги, которые, на-  
мокнув, наполнились водою, и я не успею их снять в воде  
до момента задушения. Я успел даже вспомнить, что на-  
добно руками сильно оттолкнуться от дна реки, когда я  
прикоснусь к нему. Так я и сделал, и быстро вынырнул на  
поверхность реки, где меня схватили люди и втащили в  
лодку. Воды я проглотил довольно, и у меня пришлось  
искусственно вызвать рвоту.

\* \* \*

В кругу моих знакомых был ещё удивительный субъект  
— гитарист Алексей Иванович Васильев. Маленького рос-  
та, щедушный человек с бритой бородою и стриженными  
под гребёнку волосами, в чёрном сюртуке, застёгнутом на  
все пуговицы, Васильев представлял собою тип, о кото-  
ром говорится: тише воды, ниже травы. Он всю жизнь свою  
провёл писцом в канцелярии городской Думы и славился



игрою на гитаре. Васильев был питомцем Московского воспитательного дома, за что-то сосланный в Тюмень; здесь он женился и всю жизнь находился под командой своей дражайшей половины. Каждый день, придя со службы, он увлекательно играл на гитаре и в это время забывал всё окружающее. Порою Васильев пил запоем по несколько дней и в это время становился храбрым, гнал от себя свою жену-злодейку и играл на своём излюбленном инструменте грустные мотивы песен. В такие времена Васильев становился полной противоположностью трезвого человека, начиная с одежды и оканчивая характером.

Вот с этим человеком я как-то познакомился и начал у него учиться игре на гитаре... Уроки продолжались несколько недель, но, видимо, ученик не обладал музыкальными способностями, и Васильев как-то, в период запоя, храбро объявил, без всякого стеснения:

— Бросьте вы учиться на гитаре, из вас не выйдет музыканта. Только тот артист, который любит инструмент, как я люблю мою гитару и играю на ней по шести часов кряду. Вы посмотрите на мои пальцы, как их оконечности стали широки от постоянного соприкосновения со струнами...

Как мне ни казался такой отзыв неприятным, но я послушался благоразумного совета и забросил учение на гитаре. И лишь временами стал я заходить к Васильеву слушать его артистическую игру, пока не узнал однажды, что мой артист во время приступа запоя отдал Богу душу.

\* \* \*

Служа приказчиком, мне редко удавалось приезжать в деревню Кулакову. Но когда я там бывал, то всегда заходил к моему старому учителю Скрыпе, живо интересовавшемуся всё время, как я живу, чем занимаюсь и какие читаю книги. Я рассказывал ему в подробностях многие обстоятельства моей жизни, а по поводу прочитанных книг, которых он не знал, я получал от него совет относиться к ним рассудительно.

— Я этих книг не знаю, — бывало, скажет Скрыпа, — а потому и не могу сказать о них определённого мнения. Думаю только, что большая часть пустые книги, а ты сам уже должен разбирать их, которые вредные или полезные.

Мой приезд теперь в деревню вызывал уже обо мне большие толки между всеми её обывателями, как о человеке, ускользающем из их сферы.

— Микола-то, Микола-то наш, смотрите-ка, какой стал. Его теперь и рукой не достанешь. Вот оно что значит, город-то!

Приехав в деревню, я, бывало, обойду и навещу всех своих родных и непременно съезжу в Таптагай и в Лога, где в детстве часто приходилось бывать за ягодами — клубникой, малиной и черемухой. Нужно ли прибавлять, что посетишь и осмотришь, бывало, также все те места и закоулки, какие почему-нибудь были дороги по воспоминаниям детства. Так, я непременно побываю на сеновале, где часто читал моего «Еруслана Лазаревича» и учил «писаную» арифметику; потреплю по шее старого хромого Гнедка в конюшне; загляну в гнёзда ласточек и схожу в напогребник посмотреть кучу песка, где печатала свои следы белая лапа. Потом загляну в угол задворья, где я работал топором, пилой и рубанком. Сбегаю наконец в высокую крапиву, растущую на дворе старой часовни, и загляну между стоек под пол, где, бывало, мы играли в прятки, и кончу огородом тётки Матрёны, где, срезая большим ножом подсолнечник и перелезая через забор, как-то раз я глубоко ранил себе ножом ногу.

В первое время в нашем доме самовара не было; он считался несовместимым со строгостью старообрядческого режима и порядка в доме. Мать моя, бывало, зная, что я уже привык к чаю, дипломатично скажет:

— Микола, ты бы шёл к тетке Орине погостить.

Другими словами, это значило, что у себя дома как бы грех иметь самовар, а в чужом доме сыну, находящемуся в гостях, можно и напиться чаю.

Жалованье моё из года в год росло: я получал уже 300 р. в год, что в то время считалось значительным окладом. Хозяин мой как-то предложил мне торговать от себя каким-нибудь товаром, который бы не нарушал хозяйских интересов. Я выбрал для продажи чай, что и было мне разрешено. Когда же я сообщил об этом моей крестной матери, она подарила мне 100 р. на мою торговлю, как фонд, в основание для будущей моей торговой карьеры. С какою гордостью самостоятельности обратился я тогда к

чайной фирме Шешуковой за покупкой целого цибика! Ведь это превышало все мои мечты, какие когда-либо приходилось лелеять. Я развесил цибик чая в фунты и полфунты, продавая их в той же лавке моих хозяев, и помню до сих пор, что распродажа эта, длившаяся месяц времени, дала мне барыша целых пятнадцать целковых!..

Из жалованья моего я расходовал на свой незатейливый костюм и книги не больше половины; остальное уходило на расходы по перечислению нашего семейства в мещане, а потом на переход мой в купеческое звание. Остатки жалованья передавались моему отцу в помощь по домашнему хозяйству в деревне. Как-то раз призвал меня хозяин к себе в кабинет, где находились его мать Аграфена Ивановна и старшая сестра, негласная владетельница лавки Наталья Афанасьевна.

— Вот что, Никола, — заговорил хозяин, — ты занимаешься по лавке хорошо, и мы решили помочь тебе ссудой 200 р. Отвези эти деньги твоим родителям и скажи им, пусть они чем-нибудь приторговывают в деревне.

Я изумлен был неожиданным предложением и мог только промолвить:

— Спасибо вам за это.

— Откладывать нечего, — продолжал хозяин. — Вот тебе деньги и завтра же поезжай к родителям в деревню.

Я так и сделал. Дома у нас радости семейной не было границ. Было между нами решено, что отец будет закупать ремесленные изделия на деревне — сани, телеги, накладушки — и потом поедет в ярмарки — в Устькаменскую, Курганскую и Ишимскую — для продажи их. Я же буду от себя вести торговлю при лавке Решетниковой развешанным байховым чаем.

Так продолжалось дело наших экономических успехов года два. Отец и я постепенно и успешно увеличивали материальный семейный достаток. Торговля ремесленными изделиями велась удачно, и мы решили дом и двор в деревне продать, что значительно увеличивало наш денежный фонд и давало возможность ещё большего развития наших торговых операций. Дом был продан, и семья наша переехала на квартиру в город, к моей крестной матери, теперь вдовевшей и закрывшей свой постоянный двор.

Я понемногу мужал и развивался, мои корреспонден-

ции, печатавшиеся в «Губернских ведомостях», придавали мне в глазах общества вес и значение. В качестве купца я бывал уже в думских заседаниях, и помню случай, когда на представлении общества губернатору, покойному Деспот-Зеновичу, он пред всеми заявил городскому голове:

— Кто у вас тут автор корреспонденции из Тюмени г. Чукмалдин?

Меня представили, и я имел с ним маленький диспут о сломке старого гостиного двора.

Этот случай породил в глуши провинциального города большую сенсацию. Одни меня хвалили, а другие находили, что я какой-то деревенский выскочка, который полез даже к губернатору.

В это же время крестная мать моя, видя успешность моего дела, предложила мне денег 1500 р. с тем, чтобы я из приказчика стал компаньоном моих хозяев, предъявив им эту комбинацию. Я долго не решался на такое предложение, опасаясь показаться резким и назойливым, но перспектива независимости и самостоятельной жизни действовала неотразимо, и я решился наконец заявить о том хозяевам, а если они на то не согласятся, то отказаться от должности приказчика и продолжать с отцом моим торговлю ремесленными изделиями. Как-то в праздничный день, усердно помолившись Богу, я пошёл к хозяевам с этим предложением и, к удивлению моему, не встретил ни спора, ни отказа. Тут же было и решено, что я вкладываю денег в общую лавочную торговлю 2000 р. и становлюсь участником в трети прибылей, не получая жалованья. В течение нескольких дней пересчитаны были все товары, внесены в реестр благонадежные долги, составлен общий счёт актива и пассива, и я превратился из приказчика в компаньона. Семья моя в то время жила уже в Тюмени, и я после семилетней службы в чужих людях снова зажил совместно с моими родными.

В первое время я бы не верил в эту перемену жизни, в это счастливое сочетание внешних обстоятельств. Мне всё казалось, что вот-вот изменятся условия, и я опять попаду в зависимость и снова помещусь в маленькую, с двумя берёзовыми стульями и софою, приказчичью комнатку, в которой прожил столько времени! Я напрягал всю мою

энергию, чтобы торговля шла как можно лучше, чтобы результаты её, в смысле прибыли и стройного течения дел, были безупречны и постепенно достигали того и другого. Я самостоятельно покупал в Ирбитской и Крестовской ярмарках товары и самостоятельно же продавал их...

В этот же счастливый период моей жизни судьба столкнула меня с покойным Константином Николаевичем Высоцким, бывшим учителем Тюменского уездного училища. Это был человек с выдающимися способностями, с благородной и возвышенной душой! Многим я ему обязан в моём душевном складе. Но в своей личной жизни он был несчастлив, и как-то трагично угасала его жизнь среди неустранимых обстоятельств! По уважительным причинам я не могу ещё касаться коренных причин, заставивших его пройти тернистую дорогу жизни и преждевременно умереть, но не могу от всей души моей не скорбеть об этом человеке. Когда будет возможно, я напишу его биографию, из которой будет видно, какие мученики, без вины виновные, бывают среди нашей повседневной жизни.

\* \* \*

С каждым месяцем и годом моё материальное и умственное состояние росло и развивалось, а это в свою очередь давало мне репутацию делового человека, с которым начали искать знакомство многие из тех, которые ещё недавно смотрели на меня, как на выскочку из деревни. В числе первых приехали ко мне в квартиру познакомиться покойные теперь Ф.С. Колмогоров и И.В. Канонников. Я бывал уже как равный член на купеческих собраниях, и меня избрали секретарём комиссии по собиранию сведений и составлению доклада о нуждах города, какие требовались от городских Дум перед введением городского положения. Мало-помалу у нас составилась кружок, в котором интересовались общественными интересами, и устроились даже дни, когда по вечерам происходили чтения в квартире то у одного, то у другого из членов-товарищей, пока полиция не придала этим вечерам неподобающего значения и не пригрозила нам ответственностью. Понятно, после этого вечерние чтения сообща сами собою прекратились.

Бывало, с каким животрепещущим интересом ожида-



лась новая книжка «Современника», которая ходила по рукам до тех пор, пока все знакомые, интересующиеся литературными новинками, не прочтут её! Особенно много волновали нас и порождали бесконечные споры и рассуждения журнал «Ясная Поляна» и роман «Война и мир» графа Толстого. По поводу их спорам и толкам не было конца, и у кого-нибудь вечер за чаем затягивался далеко за полночь.

\* \* \*

Кончаю пока на этом мои воспоминания юности. Когда-нибудь, если позволят время и здоровье, я расскажу с такой же откровенностью, какая положена в основу этих воспоминаний, и дальнейшую жизнь мою — взрослого, сложившегося человека, и обрисую, как росло моё материальное благосостояние до переезда моего на жительство в Москву включительно.

# **Мои воспоминания**

**Часть вторая**



Мелания Егоровна Чукмалдина,  
мать Н.М.Чукмалдина  
(† 28 мая 1894 г. на 80-м году жизни)

## Памяти Н. М. Чукмалдина

15 апреля 1901 года скончался вдали от родины в одной из берлинских клиник прекрасный человек в полном смысле этого слова и весьма замечательный русский самородок Николай Мартемьянович Чукмалдин, сибирский крестьянский мальчик, обратившийся в московского купца-миллионера, создавший себе положение и богатство кристально чистым путём, никому ничем не обязанный и всю жизнь работавший под давлением одной преобладающей мысли: облагодетельствовать, просветить и поднять свою родную деревню Кулакову, сделать добро своему родному городу Тюмени.

Такие типы в их чистом виде сравнительно редки. Но Чукмалдин в своём роде был единственный. Среди жизненной борьбы его почти не задела ни своя, ни людская злоба. У него не было врагов, его все любили, как безгранично доброго и умного человека, скромного до самозабвения, никогда никого не оскорбившего, никогда никому не отказавшего в помощи и нравственной поддержке. Это был в полном смысле слова праведник, хотя и без малейшего оттенка ханжества. Он делал добро как бы шутя, его помощь была нравственно легка, потому что всегда умно направлялась, спокойно, по-братски, с улыбкой оказывалась, и главное — оказывалась деловым образом, без всякой слащавой сентиментальности. От этого каждый данный им рубль поднимал человека на ноги и шёл в дело...

Чукмалдин, занимаясь всю жизнь торговлей, был идеалист до корня волос и истинный поэт. Идеалистом и поэтом был он не только в своих писаниях, благотворительных делах и мечтаниях, но и в торговле. Он так твёрдо веровал в торжество правды и добра, что пускался в самые смелые, самые рискованные торговые планы, основанные на «добре», и всегда выходил победителем, т.е. получал огромную прибыль. Это может показаться парадоксом, но прочтите записки Чукмалдина, где описана его жизнь и торговые приёмы, и вы будете поражены трезвой правдой и простотой его торговой логики. «Выигрывает и богатеет в торговле только тот, кто оказывает услугу обществу. Наивыгоднейший товар — доверие, а доверие даётся только безупречной честности и торговому бескорыстию. Богатеет только изобрета-

тель, пионер нового общепольного дела. Всё то, что добыто несправедливо, посредством обмана, своекорыстия и зла, носит в самом себе смерть. Жизненно и прочно одно добро».

И вот с такой философией Чукмалдин вносит ряд реформ в торговлю чаем и шерстью (две его специальности). Открывает новую отрасль чайного дела, устанавливает новый товар на рынке и среди всеобщего кризиса наживает сотни тысяч. Устраивает валяльную фабрику, даёт высокой доброты товар для войск и одерживает победу, одолевая жадных подрядчиков и заставляя изменить установившийся распорядок поставки. Части войск обращаются к Чукмалдину непосредственно — и опять сотни тысяч заработка, оплачивающего только смелую инициативу честности.

К сожалению, не всё успел рассказать Н.М. Чукмалдин в своих записках, и сжатее всего их конец, где именно и должны бы быть изложены его торговые реформы en grand, хотя бы с кирпичным чаем и поставками войлоков в войска. Но всё предыдущее рассказано автором достаточно подробно, вполне ясно и просто, с необходимыми цифровыми данными. Первая половина «Воспоминаний» была напечатана в приложении к «Русскому Труд» за 1899 год, вторая была Николаем Мартемьяновичем совершенно закончена и приготовлена к печати и должна была появиться в начале 1900 года. Но «Русский Труд» погиб, и потому приходилось издавать книгу отдельно. Откладывая день за днём вследствие множества других работ, я так и не успел издать при его жизни эту вторую половину «Воспоминаний», обнимающих деятельность автора, уже взрослого и самостоятельного человека. Теперь это мой долг перед почившим другом, и я, хоть и поздно, но решил его выполнить.

До самой старости (Николай Мартемьянович умер 64 лет) Чукмалдин сохранил огромную рабочую способность и все силы духа. Это был труженик, каких мало. Окружённый небольшим персоналом конторы, щедро оплаченным, товарищески обласканным и хозяину беззаветно преданным (вот где сказались разговоры с К. Высоцким, великим гуманистом, заброшенным в Тюмень судьбою!), Чукмалдин зиму работал в Москве, ярмарочный сезон — в Нижнем, ранней же весной или после ярмарки отправлялся в путешествие, длившееся иногда по два и по три месяца. Где только не побывал покойный! Он объехал Россию, изучая её исторические города и древности, Западную Европу, Палестину и Египет. Каждое путешествие им записывалось и печаталось в какой-нибудь скромной провинциальной газете, а затем выходило отдельной книжкой. В большой печати на эти статьи и книжки не обращали, конечно, внимания, но эти бесхитростные рассказы очень ценны. Тонкая наблюдательность, сжатость и точность и особая, скажу так, крестьянская



точка зрения автора придают им своеобразную прелесть. Чукмалдин не обобщает, не философствует, он только описывает, но мимовольно перед вами обрисовывается весь этот прекрасный человек, который смотрит на мир, свой и чужой, с радостным доверием и любит его всей своей христианской душой. Лучше всего путешествия Чукмалдина в Египет и Палестину.

Другой страстью Николая Мартемьяновича было приобретение древних и ценных славянских книг и пергаментов. Как ликовал он, заполучив великолепный подлинный экземпляр «Апостола» знаменитого русского первопечатника Ивана Фёдорова или Острожскую Библию! Всё это предназначалось в Тюмень, в музей, который, по мысли основателя, должен был иметь лучшие экземпляры древних изданий, чем Императорская Публичная Библиотека. Этот музей после долгой канцелярской волокиты наконец осуществился.

Больше всего любил Чукмалдин свою родную деревню. Это была поистине трогательная привязанность. Он сознавал её невежество, её бедность и приниженность, и мечтой его жизни было поднять своё родное гнездо и материально, и духовно. Несколько лет назад он приобрёл среди этого селения большой участок земли и построил сельскохозяйственную школу с фермой и опытным полем, навсегда обеспечив их существование. Затем стал строить большой каменный храм, который и был закончен весной 1901 года. Освящение этого храма предполагалось на Николин день, 9 мая, в день ангела покойного. Торжество это и состоялось, но в этот же день и в этом же храме был исполнен и другой, уже тяжёлый долг: предали земле тело Николая Мартемьяновича. Он умер от рака кишок 15 апреля в Берлине, куда отправился делать операцию.

По просьбе родных протоиерей А. Мальцев, напутствовавший и отпевавший Н.М. Чукмалдина, прислал мне сказанное им в Берлинской русской братской церкви слово над его гробом, которое я и помещаю здесь полностью.

*«Христос Воскресе!  
Пришелец есмь аз, Господи, на  
земли Твоей, и дни мои не дни ли  
наёмника?»*

С далёкой отчизны восточной ты пришёл, почивший раб Божий Николай, сюда, на Запад, на чужбину, чтобы найти здесь облегчение от твоего тяжкого недуга, и не обрёл того, чего искал, чего жаждала ещё душа твоя, чего хотели и о чём молили твои дорогие — жена, дети и сродники! На Востоке начался восход твоей жизни и на Западе наступил её закат! И то, чего не дали тебе врачи земные,

дал тебе ныне Господь, небесный Врач, принял тебя в вечный *безболезненный* покой, предварительно предуготовив тебя принятием св. Тайн и предсмертными молитвами матери-Церкви! 64-й Пасхе в твоей жизни суждено было быть *последнею*, которую ты праздновал с нами, вступив ныне в вечную Пасху, в невечерние дни Царствия Божия! Знаменательна была твоя христианская *кончина*, но ещё более поучительна была твоя *жизнь*, исполненная непрерывного труда, несокрушимой энергии, тонкой наблюдательности, разумной попечительности о благе ближнего, о его духовном просвещении, материальном и образовательном подъёме, в связи с твоим собственным высоким просвещением, достигнутым лично самим собою, твоим собственным развитием не скудно данных тебе Богом талантов! Такие самородки, выходящие прямо из народа, из деревни, от сохи и домашнего деревенского промысла, составляющие себе независимое положение, приобретающие всеобщий почёт и уважение и в то же время сохраняющие в своём сердце горячую любовь к родному краю и неусыпающую о нём заботу, становятся ныне всё реже и реже! Ты был представителем этого простого, славного патриархального периода; был *послушным* сыном своих родителей, крепким помощником их с самого твоего детства, надёжною опорой их старости. И недаром почило над тобою их великое родительское благословение. Всё у вас в семье делалось с молитвою, с благословением Божиим, по любви и согласию, по семейному совету старших. И вот в твоей жизни оправдалось над тобой произволение Божие — послужить *этой среде*, быть ей полезным, просветить её и *устроить*! Явилась *школа*, тобою созданная, мастерские и образцовые поля, усовершенствованные земледельческие орудия, созданся наконец *великолепный храм*. И на всё это хватало у тебя и времени, и умения, и средств! Ты мечтал быть 9-го мая на освящении созданного тобою храма в честь тезоименитого тебе святителя и чудотворца Николая и просил меня убедить владыку Тобольского *непременно* прибыть на освящение храма, хотя тебя (быть может, это было твоё предчувствие) и не будет! «Это очень важно, — говорил ты мне, и я писал владыке, — для населения!» Но если тебя и не будет теперь на сём торжестве — телесным и видимым образом, всё же душа твоя, проникнув с высоты небес, будет радоваться радостью великою, и ты не лишён будешь награды, обещанной по молитве Церкви создателям храма, а именно: *прощения грехов*, равно и вечных молитв о создателях святых Божиих церквей! Твой дух будет разделять радость сию и твой *духовный дух* будет пред глазами и в душах всех знавших тебя! Хотя ты и умер, но будешь жить в *делах* твоих, кои останутся из рода в род!.. Всё твоё знание и умение, всю твою опытность, обогащённую разумными путешествиями в Палестину и Египет, страны Севера и Запада, ты вложил в своё дело, применив к жизни, поделившись вынесенными тобою впечатлениями и знаниями со светом путём печати в виде «Путевых очерков» и «Воспоминаний». «Когда-нибудь, если позволят время и здоровье, — заключил ты их в 1899 году, — я расскажу с такой же откровенностью и мою *дальнейшую* жизнь — взрослого, сложившегося чело-

века». Может быть, это уже и сделано тобою... Люди труда, как ты, обыкновенно мало имеют времени подводить итоги сделанному! И вот елей твоей жизни мало-помалу догорал, позаботиться же о восполнении его, о своевременном подкреплении сил твоих не было времени! Спелый колос или плод не держится на стебле — души, созревшие для житниц небесных, не остаются на земле и, послушные голосу небесного Сеятеля — Христа, идут в другой мир, чтобы почтить от трудов своих. Жизнь человека подобно свече, которая и светит для других окружающих, но сама сторает и, если она горит ярким и полным пламенем, её хватает на меньший срок, чем если бы она горела слабо и в тиши! Итак, видно, угодна была душа твоя Господу, брат наш Николай! Видно, всё, положенное тебе, как делателю в винограднике Божиим, совершено тобою, и тебе, как рабу потрудившемуся, ныне дан покой Тем, кто сказал: *придите ко мне вси труждающиеся и обременённые, и Азь упокою вы. Благий раб и верный, вниди в радость Господа твоего!*

Не печальтесь же, дорогие супруга и сестра, о потере тяжкой и невознаградивой для вас! Найдите утешение в его глубокой вере, в совершённых им делах, в том, что и вы сделали со своей стороны всё, что было в ваших силах! Вы ежедневно молитесь Отцу Небесному: да будет Твоя, а не наша воля! Покажите же ныне эту преданность в сей час испытания, и Господь найдёт средство к врачеванию скорби вашей! *Возверзите на Него печаль свою и Той препитает вас!*

Отныне, возлюбленный брат Николай, солнце не будет тебе светить днём и луна ночью, но зато теперь твоим вечным солнцем, освещающим и согревающим тебя, стал Сам Господь наш Иисус Христос. Аминь».

Помещаю последний портрет Николая Мартемьяновича, снятый его дочерью и чрезвычайно схожий, а также снятый самим Николаем Мартемьяновичем портрет старушки его матери, умершей в 1894 году на 80-м году жизни, и вид выстроенного им в дер. Кулаковой храма.

От воспоминаний Н.М. Чукмалдина веет совсем иным воздухом, чем от многих произведений нашей современной литературы. Этот бесхитростный и тёплый рассказ перестанавливает совершенно наши «культурные» понятия. Уже при чтении первой главы невольная улыбка читателя над этими «азами» и «буками», «словотитлами» и чтением «по верхам» сменяется некоторым конфузом. Да полно, культурнее ли наше-то усовершенствованное преподавание? Культурнее ли и сама наша нынешняя школа, земская или церковно-приходская — всё равно, чем эта домашняя школа беглого солдата и раскольниковского начётчика? Выше ли стоит и сама наша сельская жизнь в её новых формациях? Свидетельство Н.М. Чукмалдина, православного и сына православных родителей, здесь очень ценно. Ведь независимо от того, что дед Скры-

па — филипповец-беспоповец, он, как учитель, не разбирает детей своего согласия от чужих, служит одинаково всем. Ученые здесь, как в Древней Руси, — подвиг, богоугодное дело.

А как это ученье было обставлено! Азбуку надо было «писать», Псалтырь покупать за пять рублей... Н.М. Чукмалдин упоминает, что азбуку его учитель писал «по растре». Знаете, что это такое? На гладкой доске натягивались параллельные ниточки. Сверху клалась бумага, и по ней проводилось чем-нибудь гладким. Получался глянцевитый след линеек. Карандаш и бумага были роскошью. Но это не служило тормозом просвещению...

Когда я в первый раз печатал этот удивительный «человеческий документ», мне прямо стало жутко: по азам да по херам, а вся азбука усвоена в один день!.. Азбуку пели! Не лежало ли там какой-нибудь особой методики, более согласованной с душевными свойствами русского ребёнка, чем наши всякие звуковые и иные методы? Не мертвечина ли здесь и не яркая ли жизнь там, где каждая буква есть своего рода священная личность, где учиться не только ум, но и сердце, где усвоение облегчается пением, и всё вместе так захватывает душу, что мальчик бежит домой в экстазе, в восхищении? До этого экстаза способна ли довести наша современная школа?

Затем останавливает внимание читателя весь строй жизни обитателей Кулаковой. Церковь далеко, священник приезжает редко и представляется совсем чужим человеком. Просветителями и духовными вожаками являются спорящие между собой сектанты-беспоповцы Скрыпа и Якуня, но их споры идут в интимном кружке. Для массы — раскольничьей и православной — безразлично чтение священных книг, житий святых, нравственные беседы, обучение детей, решение споров — словом, живое культурное воздействие на чистой христианской почве. Забытый церковным и гражданским начальством уголок русской земли держит свой духовный, русский и христианский строй высоко и ждёт высших даров культуры. Это в маленьком отражении наш XVII век.

И вот эти дары приходят. Но, увы! Цивилизация идёт чужая, не из народной почвы выросшая, с русской историей связь порвавшая, от родных заветов отвернувшаяся. Кулакова втягивается в общее русло новой русской жизни... Патриархальный период окончился.

Лучше ли стало? Пусть об этом расскажет читателю сам автор, который ушёл из своей деревни, составил независимое состояние, но до самой кончины своей сохранил в сердце горячую любовь к родному углу и делал для него, что мог. Пусть же он будет живым свидетелем, что сделала новейшая цивилизация из Кулакова и что за воззрения и нравы там воцарились.

Да не подумает читатель, что мы стоим за XVII век, за эту исключительность и ревнивость в оберегании старины, за застой! Нет! Рассказ Н.М. Чукмалдина рисует какой-то подготовительный период — период ожидания, период сосредоточения народных сил и народного духа в себе самом. Всё это сильное, здоровое, верующее, нравственное, мягкое и доброе население при иных условиях могло дать неслыханный и оригинальный культурный расцвет. Могло... да ничего из этого не вышло! На дрожжах петербургского периода русской истории, когда эти дрожжи были брошены, взошла опара... её месят, пекут, но хлеба упорно не выходит...

Из родной деревни автор переносит нас в уездный город и с тою же тёплой простотой и безыскусственностью рисует свою юность в доме богатого родственника, кожевенного фабриканта. И здесь наши ходячие понятия о купеческой среде, о «тёмном царстве» значительно перестанавливаются. Да полно, такие ли уж были самодуры и кулаки эти вышедшие из крестьян капиталисты, как их нам рисовали? Это были просто деловые люди, но по-своему и честные, и отзывчивые, хотя немного и грубоватые. Так ведь вспомним только, что над ними тяготело сверху целых двести лет! Рассказ Н.М. Чукмалдина — большой важности культурный документ. Быт захолустного города полвека назад отражается в нём очень полно... и снова возникает жестокий поистине вопрос: лучше ли стало? Наша цивилизация, ворвавшаяся с паром и электричеством, банками и биржами, газетами и кафешантанами и всё кверху ногами в России перевернувшая, — к лучшему ли изменила она этот цельный и крепкий народный быт?

Тяжёлые вопросы и тяжело их решать...

Вторая половина воспоминаний Н.М. Чукмалдина рисует уже нам окрепшего, взрослого человека, своим неустанным трудом и сметкой вышедшего в люди. Читатель видит, как добрые традиции честной и трудолюбивой семьи столкнулись в одной и той же душе с влиянием благородного и гуманного в лучшем смысле слова человека, неудачника-идеалиста, и что из этого получилось. Умный и дельный купец остался купцом, но как облагородилась в его руках торговля, как тотчас же явилось стремление не к голой наживе ради наживы, а к сознательному приумножению своих капиталов ради возможности властно и широко делать добро своему родному углу. Чукмалдин торговал и наживал деньги словно не для себя, а по чьему-то поручению или доверенности. Он отдавал какой-то великий долг своей земле, которая его обогащала, щедро платя за находчивость и честную энергию. Такие дельцы и вместе с тем праведники в нашей



русской жизни встречаются, и влияние их на всё окружающее самое благотворное. Но эти люди обыкновенно живут и умирают для более широких кругов совершенно неизвестными. Николай Мартемьянович составляет исключение. Скромно и просто он рассказал нам свою жизнь, даже, может быть, и не подозревая, как велико значение его бесхитростной автобиографии. Я недаром назвал её культурным документом. Попробуйте сделать сличение, ну хотя бы с воспоминаниями С.Т. Аксакова, и вы увидите, какая громадная разница между Русью верхней и подспудной, какие характеры выработывались там и здесь. Я не буду углубляться в это сличение, но я твёрдо уверен, что, не возбуждая никакого особенного внимания к себе сейчас, записки Н.М. Чукмалдина будут читаться и комментироваться нашими внуками, которые, отбыв нынешнюю переходную эпоху, теплее, чем мы, заглянут в седую нашу старину, отразившуюся в этих записках в таком добром, светлом виде.

Мир праху твоему, добрый работник, прекрасный человек и верный, толковый свидетель одной из любопытнейших полос русской культуры. От созданных тобою школы и храма над твоей могилой пусть льётся тихий свет в том углу, где ты родился, от твоих воспоминаний пусть льётся тот же свет в более широкие круги. Легка тебе будет родная земля, и память о тебе не заглохнет.

*Сергей Шарапов.*

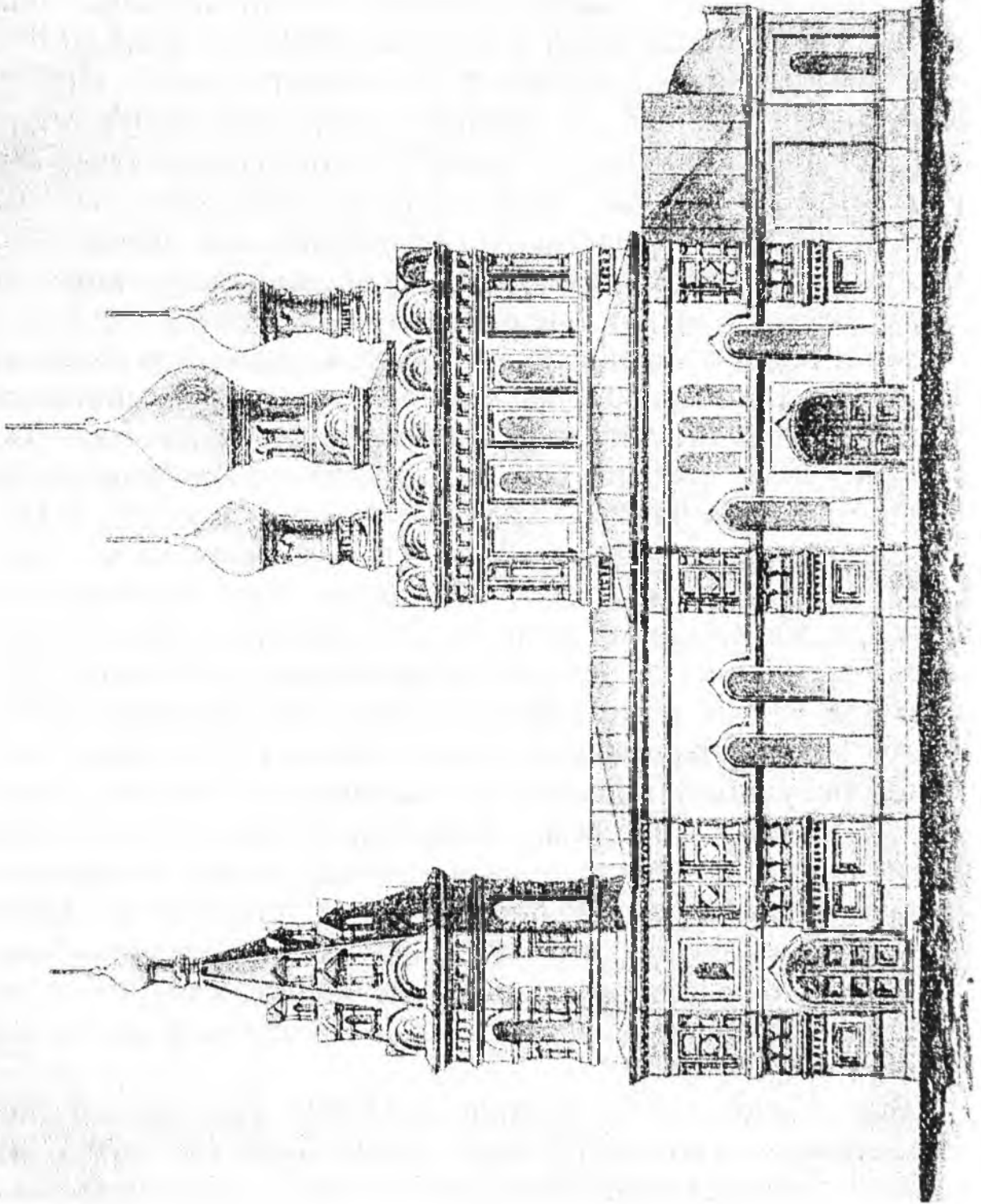
## IX. Самостоятельность

Ведя торговлю в лавке от своего имени, на компанейских началах с бывшими моими хозяевами, я должен был ездить за покупкою товаров в большие ярмарки — Ирбитскую и Крестовскую. В ярмарках я покупал мануфактурные товары за деньги и в кредит; в последнем случае выдавал от себя векселя, хотя и был на самом деле маленьким вкладчиком в негласную компанию, где всё основано на вере и обещании и где, кроме расчётных книг, не было никаких других письменных документов.

Ирбитская ярмарка по своим размерам тогда казалась такою колоссальною, что ярмарке этой наши сибиряки только удивлялись, не находя ей меры для сравнения. Про ярмарку и выражались больше односложными словами да знаками восклицания: «а, Ирбит!» или: «это ведь в Ирбитской было!», подразумевая, что эта ярмарка есть основа, центр, развязка всех дел, своего рода «крайний судья». Перед ярмаркой и после неё товарные обозы тянулись через Тюмень целыми вереницами и заполняли собою все улицы и постоянные дворы Затюменской части. Часто можно было видеть, как, обгоняя друг друга, неслись по улицам галопом так называемые «возки с чаем», с шумом, гиканьем и криками ямщиков, и топотом пяти лошадей, впряжённых в громаду возок, заключающий от 80 до 100 пудов байхового чая. Проезжих на Ирбит и обратно в кошёвах, повозках и других незатейливых экипажах было всегда такое большое количество, что казалось невероятным даже, где они в Ирбите и поместиться могут?

Всё это двигалось и ехало в Ирбит, где, сделав своё дело, продав и купив товары, — разъезжалось опять в обратном направлении, обменяв товары — восточное сырьё, на товары западные, обработанные на русских фабриках и заводах.

В Ирбите приезжающий занимал у обывателя в доме



комнату, угол, каморку, где только можно было найти тёплое помещение, а для торговли — лавку, лавочку, ларь в гостином дворе и на площадях, всё на полном холоде и ветру. О тёплых помещениях для торговли в те времена и помину не было; тогда не было ещё устроено знаменитого тёплого ирбитского Пассажа, и лишь изредка и только кое-где существовали отапливаемые магазины, преимущественно с часами и музыкальными машинками.

Я также приезжал в Ирбит и целыми днями ходил по лавкам, выбирая нужные товары, где лучше и дешевле, а потом собирал их и с извозчиками отправлял в Тюмень. Обзорение ярмарки давало мне о сырьевых товарах большие сведения, которые в другом месте получить было трудно или даже прямо невозможно. Я с интересом всматривался и наблюдал длинные ряды всякого сибирского сырья и старался узнавать качество и цены, чтобы на следующую ярмарку испробовать торговлю ими, а не приезжать в Ирбит только за покупкой мануфактуры. Так я мало-помалу становился не только торговцем мануфактурой, но и продавцом на ярмарке — белки, щетины, косицы, кож, опойков и других сырых товаров, что большей частью давало мне постоянные барыши. Вернувшись в Тюмень, я пробовал заводить торговлю всё новыми и новыми товарами и только в редких случаях убыточно и неудачно. Перебирая в памяти теперь номенклатуру товаров, какими я в те годы торговал, мне кажется, что пришлось испробовать куплю-продажу всех сырых товаров и фабрикатов, какие только собирались и выделывались в Тюмени и около Тюмени. По крайней мере я не помню такого местного товара, которым бы не пробовал торговать.

Бывали случаи, что я делал ошибки, влекущие за собой неизбежные убытки, но это давало опыт и знания, которые потом предохраняли от последующих ошибок и убытков. В большинстве же случаев моя торговля давала хорошую прибыль и развивала сметку, расширяя опытное знание и большой кругозор товароведения.

Спустя два года после начала моей самостоятельности я купил у моих хозяев всё их участие в мануфактурной торговле с выплатою денег в течение трёх лет и стал единоличным владельцем лавки.

В эти последующие годы я настолько расширил в лавке

чайную торговлю, что пришлось учредить для неё особый торговый дом в образе «Товарищество Чукмалдин и Глазунов» в отдельной лавке того же гостиного двора. Составляя по учреждению т-ва между собою договор, мы внесли в проект параграф, гласящий, что ежели кто-либо из нас не соблюдёт подписанных условий свято, «тому да будет стыдно». Опытный юрист, просматривая проект, посмеялся над нашей наивностью и разъяснил нам, что в законе такого наказания не полагается.

Чайная торговля пошла у нас удачно, и мы вели её, как в Тюмени, так и в ярмарках — Ирбитской и Крестовской, с постоянным успехом и расширением, так что даже открыли отделение в Омске. Характерного в этой торговле мне припоминается только один эпизод, имевший место в начале деятельности нашего товарищества. В одну из навигаций в Западной Сибири затонула баржа на р. Тобол с 3000 ящиков зелёного кирпичного чая, принадлежавших покойному Хаминову. Чай этот высушили, привезли в Тюмень и начали продавать по 12 р. за ящик. Мы и конкурент наш г. Гилёв купили чая по 500 ящ., но, соперничая между собою, продавали его только по 13 р., хотя по качеству товара могли бы продавать по 20 р. Как нашему торговому дому, так и конкуренту Гилёву хотелось купить в одни руки и остальные 2000 ящиков чая. Доверенный же Хаминова продавал нам весь остаток, но с условием, если г. Гилёв не заплатит цен дороже. Мы с товарищем моим поэтому пошли на риск — предложили Гилёву купить у нас 300 ящ. чая по 10 р. якобы потому, что деньги нам уж очень нужны, рассчитывая, что Гилёв такого предложения испугается и чая нашего не купит. Так и вышло. Гилёв был так поражен неожиданным с нашей стороны предложением, что не только не купил чая, но отказался от покупки и у Хаминова. Мы в тот же день купили весь остаток, 2000 ящиков чая, и в течение года продали его с пользою более чем по 5 р. на ящик.

Через некоторое время оказалось, что мой товарищ Глазунов, по семейным обстоятельствам, не мог более оставаться в торговом доме, и нам пришлось прекратить его существование. Весь актив и пассив торгового дома я принял на себя, выплатив товарищу его долю участия наличными деньгами.



## Х. Промышленные опыты

В Тюмени торговал мануфактурой елабужский уроженец Дмитрий Иванович Лагин, с которым мы сошлись на короткую дружескую ногу. Надоела ли ему и мне торговля ситцами, желали ли мы сильно испытать что-нибудь новое, — только мы придумали пуститься в промышленное предприятие. Опыта в этом мы оба не имели никакого, но теоретические выкладки и подсчёты обещали нам вернейшую прибыль, не говоря уже про славу пионеров дела. Короче сказать, мы задумали устроить в Тюмени ткацкую фабрику хлопковых изделий, как, например: твина, тика, трико, нанки и сарпинки. Пряжу решили выписывать из Москвы, а рабочие ткачи в Тюмени находились из ссыльных поселенцев; они уверяли нас, подкрашенными сведениями и цифрами, в необыкновенной выгодности такого предприятия. Мы арендовали здание на Малом городище (часть города) для ткацкой фабрики, отремонтировали его и выписали из Москвы станок с батанами, челноков, берд, шпуль, пряжи и проч. Мы наивно были убеждены, что все орудия этой фабрикации нужны только для первого обзаведения, а что потом в таком ремесленном городе, какова Тюмень, всё будет сделано на месте, около фабрики, значительно дешевле, чем в Москве и Владимирской губернии, потому что лесные материалы и топливо в Тюмени по крайней мере в пять раз дешевле. Последний аргумент — дешевизна топлива и лесных материалов — казался нам, неопытным людям, настолько важным, что он как бы покрывал собою всякий риск, наше полное незнание дела и был важнее даже покупки пряжи за тридевять земель.

Трудно и рассказать теперь, каких трудов и хлопот стоило нам поставить и пустить в работу 10 ткацких станков в Тюмени, где на месте не было для этого ничего подготовленного окружающей промышленностью. Сломается челнок, испортится бердо, покривится навой —

надобно усиленно искать мастера для исправления, а потом платить ему за поправку дороже, чем стоит новое орудие. Не хватило какого-нибудь цвета пряжи, нельзя оканчивать «сновать основу» — и вот останавливай ткацкий стан на два месяца, пока получится нужная пряжа из Москвы.

Но зато какие бывали славные минуты иллюзии, когда, например, мы с Лагиным наклеили на кусках твина и сарпинки наш ярлык с громким титулом:

«Сибирская фабрика»

и принесли их в свои лавки для продажи потребителям. О! Такие хорошие минуты порою стоят массы трудов, времени и материальных убытков, потраченных на то, чтобы пережить их.

Два года мы возились с этой фабрикой, пока решили, что лучше ликвидировать её, чем продолжать предприятие, явно не имевшее будущности.

На этом опыте, приведшем нас к полной неудаче и убыткам, мы однако не остановились. На родине моей, в д. Кулаковой, мы с тем же Лагиным устроили спичечную фабрику и мыловаренный завод. И то и другое, казалось нам, будет давать хорошую пользу, — первое потому, что главная работа в спичечном производстве, «древесная соломка», сподручна ремесленности жителей деревни, а второе потому, что мыло будем выделывать по методу нашего мастера-изобретателя и получим фабриката против других на 10 процентов больше. И в том, и в другом случае, конечно, была полная ошибка, а отсюда неизбежный убыток и гибель производства. Соломку нам готовили в деревне, но требовали плату, ровно втрое большую, чем существует в Вятке; мыло, правда, выходило весом на 10 процентов больше, чем у других мыловаров, но когда просыхало, вес его уменьшался на 15 процентов, и сам фабрикат превращался в куски с высокими краями и втянутой серединой.

Таким образом, и здесь, несмотря на массу нашего труда и хлопот, нам не удалось ввести на родине моей ни нового производства спичек, ни нового способа варки мыла. И то и другое разбивалось в прах о суровую действительность и подтверждало лишний раз, что надо помнить

никогда не пререкаемый закон житейский: «Берись за такое только дело, которое знаешь не меньше твоего мастера или приказчика. Иначе будет верная неудача».

\* \* \*

Я покупал порою кожевенное сырьё и хлебные товары, которые тут же в Тюмени потом и продавал: кожи — заводчикам, а хлебные товары — продавцам. Как-то осенью я поехал за покупкою овса в г. Тару и случайно остановился на квартире в доме местного торговца хлебом, бывшего каторжника, посёлённого в том городе. Я не знал этого, и только встретившись с исправником, услышал, что хозяин дома отбывал когда-то каторжное наказание, имеет на лице каторжные клейма, а теперь, посёлённый в Таре, женился на туземке и живёт себе припеваючи. Исправник был ещё молодой чиновник, недавно приехавший из России, а посему приходил в ужас от того, что, имея с собою деньги, я буду ночевать в доме бывшего каторжника. Я, как природный сибиряк, улыбнулся его страху, заметив, что ссыльные в Сибири совершают преступления ничуть не больше природных жителей и что у меня в Тюмени есть сторож Никита и кучер Иван, оба из ссыльных, и я нисколько не боюсь того, что они поселенцы, как выражаются в Сибири, «варнаки», или «посельщики». Так я и остался на квартире в доме каторжника на всё время моего пребывания в Таре и даже закупил у него партию овса с выдачею вперёд значительного денежного задатка.

## XI. Сибирские картёжники и гуляки

Вечером того же дня составилось у исправника маленькое общество, где пили чай и по обыкновению играли в карты; был приглашён и я в качестве гостя из Тюмени. Составились зелёные столы, и меня уговорили поиграть в простую «стуколку», хотя до тех пор мне никогда не приходилось упражняться в картёжном занятии. Мне преподали несколько уроков, и я скоро понял правила игры, но также скоро и проиграл 51 р. денег. Я забастовал, убоявшись увлечения, и с тех пор никогда уже игры не повторял. Видимо, «тарская стуколка» подействовала на меня отрезвляющим образом.

А какие страшные азартные игры в карты в те времена существовали в Сибири! Это покажется теперь, пожалуй, невероятным. Кроме риска и азарта, в эти игры вносились зачастую многие степени шулерства, начиная с краплёных карт и оканчивая систематическим спаиванием вином увлекшегося азартного игрока. У меня хранится картина покойного художника Калганова, копию которой здесь воспроизвожу. Талантливо и правдиво схвачен в лицах момент здешней шулерской игры, когда обыгран был в Тюмени проезжий полковник, спустивший в один вечер 10 тысяч рублей казённых денег.

Покойный А. Малых картёжною игрою расстроил своё блестящее транспортное дело, проигрывая в Тюмени по 10 и по 20 т.р. в вечер. Одно время славился и процветал в Тюмени отставной чиновник, некто Унжаков, составивший себе карточною игрою целое состояние. Дом его был устроен прекрасно и открыт для всех; здесь постоянно велась картёжная игра, конечно, среди богатой обстановки, изысканных ужинов и с бесконечной выпивкой. Бывало, каждый праздник, каждый день рождения, именин, как самого Унжакова, так и членов его семьи, был предлогом для «вечера», а отсюда — и карточной игры, затягивавшейся иногда до другого и третьего дня. На всяком вечере,

званом и незваном, в кругу тюменского купечества героями его фигурировали всегда картёжные игроки крупных ставок, для которых отводился почётный зелёный стол, пользовавшийся особенным вниманием самого хозяина дома. Всякие интересы и разговоры на подобных и о подобных вечерах вертелись только на том, кто кого обыграл, кто у кого какую карту убил и как проигравшийся посылал к себе домой с ключами конторки за новой пачкой денег.

Типичны были эти записные игроки и их жертвы во время боя на зелёном поле. Шустрый, бойкий, образованный Унжаков, как предводитель, с тактом и умением находил средства завлечь намеченную жертву и обыгрывать её с помощью своих пособников — Семенова, грузного, циничного человека; Ежова, отставного майора, умевшего пить водку так, как никто другой, и изящного, салонного, сосланного в Сибирь адвоката Тутомира. Какие забавные, вызывавшие гомерический хохот присутствующих, умел рассказывать Унжаков анекдоты! Как плавно и непринуждённо велась его беседа об общественных делах и отношениях; с какой готовностью и умением устраивал он порою благотворительные вечера и концерты! Да, это действительно был артист в своём роде. И часто прорывалась в нём даже прекрасная черта помощи ближнему и благородные, великодушные поступки. Да ведь и нельзя было быть ему иным; нельзя было обыгрывать каждого, кто садился с ними за зелёный стол. Тогда никто не стал бы и играть. Они вели свой промысел по всем правилам искусства, сегодня выигрывая, завтра проигрывая, и только к «крупной рыбе» применяли свои «особенные» приёмы и таланты. Как о геройстве каком-нибудь они рассказывали, как один купец поставил на одну карту 10 тысяч рублей, и пока банкомёт бросал направо и налево, пошёл к другому столу выпить рюмку водки. «Вот это человек, вот это сила воли!», — восклицали они хором.

Бывало, так называемые обозные приказчики, в известный период года останавливавшиеся в Тюмени для «перевалки чаёв» и хождения «на совок» — каждый вечер устраивали картёжную игру или у себя в квартирах на постоянных дворах — Глазунова, Железова и других, приглашая туда местных игроков, или у кого-нибудь из тюменских обывателей и ставили «на кон» деньги тысячами рублей. Ставить



на карту сто рублей считалось обыденной нормой, а ставить больше — своего рода отвагой и достоинством, отличающим не рядового человека. Никто не спрашивал и не задавал себе вопроса, откуда у обозного приказчика, получавшего жалованья 300 р. в год, находятся тысячи рублей свободных денег, им проигрывааемых. Находили это вполне естественным, потому что он «обозный». Жалованье считалось ни во что, а вся суть его доходов заключалась в том, сколько тысяч ящиков чая поручено ему просматривать в пути и на перевалочных пунктах — Томска, Тюмени и Перми, прохаживать «на совок». Обыкновенно полагалось давать обозному приказчику на дорожную трату 2 фунта чая с ящика, а он потом хождением «на совок» вынимал по 3, по 4 фунта, а с приёмщиками партий в Нижегородской ярмарке или в Москве входил в особые соглашения, уплачивая ту или иную сумму. И вот «обозный», присматривавший за пятью тысячами ящиков, оказывался владельцем 15.000 фунтов чая, который и продавал в свою пользу. Судите же по этому, как легко доставались ему деньги. Понятно, как они легко им проживались на гомерических пирушках и карточной игре!

Одно крупное хищение, ставшее обычным, порождало такое же обычное хищение мелкое, как следствие хищения крупного. В перевалочных пунктах, вроде Тюмени, образовались артели совошников, которые не получали платы за свою работу «хождения на совок», — а получали чай «с рогожки», накрошенный при этой процедуре. Обыкновенно совершалось это следующим образом. Помощник обозного приказчика усаживался на стуле, перед табором чая, около весов, и над лукошком посредством обоняния контролировал запах чая, подносимый ему на открытой руке совошником. Железный совок с длинной ручкой вмещал в себя чая  $\frac{1}{8}$  фунта, а высыпaeмый из совка на руку падал в это время и мимо её, на рогожи. Из каждого ящика (цибика) бралось совков от 6 до 12-ти, и само собой понятно, совошники намеренно роняли на рогожи как можно больше чая, застилая один ряд другим, новыми рогожами, чтобы не дразнить взгляда приёмщика значительным слоем насоренного чая. Таким образом совошные артели получали чая «с рогожки» от  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{2}$  фунта из каждого ящика.

Нужно ли добавлять, какие иногда после картёжной игры

и пьянства устраивались на улицах Тюмени скандальные сцены обозными приказчиками и местными жителями, причастными их разгулу? Эти вещи нельзя и описывать, потому что они были так дики и циничны, что, пожалуй, покажутся теперь прямо невозможными. Но, Боже мой! Где теперь все эти люди, которые когда-то гремели своими нелепыми, но громкими похождениями и скандалами на всю Западную и Восточную Сибирь? Из сонма самостоятельных лиц, каких я знал, едва осталось в следующем поколении две-три семьи, у которых не расстроены дела и которые проходят жизнь нормальным образом. Остальные все погибли жертвами карточной игры и пьянства, расстроив дела, потеряв нравственность и здоровье.

В Тюмени был именитый купец, оптовый чайный торговец. Дом его был поставлен богато; успех и почести сопутствовали ему очень долго. Но нелепая жизнь среди кутежей и карт довела его до полного разорения и на старости лет заставила умирать в задней комнате для прислуги, ибо всё — дом, имущество и мебель — было секвестровано в то время кредиторами его. Где теперь баловень, сынок-наследник знаменитого кожевенного заводчика, в былые времена распевавший по трактирам: «Крамбамбули, отцов наследство»? Всё им прожито и растрачено, а сам он живёт в кучерах в каком-то маленьком степном городишке. Герой Тюмени былых времен Унжаков в одну из ярмарок в Ирбите нарвался на другого карточного игрока, более его искусного в шулерской профессии, и был обыгран «до нитки». После этого Унжаков получил апоплексический удар и умер, а семья его доживала век в нищете и горе. Все остальные, менее крупные фигуры этой полосы тюменской жизни также давно сошли со сцены, и самым жалким образом. Даже те купцы, которых когда-то мой дядя Семён ставил мне примером — Решетников и Котовщиков — окончили свою видную карьеру довольно грустным манером. Один чрез те же карты лишился всех достатков в доживал свой век в Тюмени мелким агентом страхового общества, не создав для родного города, во времена своего богатства, никакого полезного учреждения; а другой в лице детей своих был объявлен несостоятельным должником, и сын его посажен был под арест в ту самую тюменскую тюрьму, где когда-то отец состоял директором. Современное поколение зажиточных и богатых



*Шулера. С картины художника Колганова.*

людей в Тюмени большей частью уже не побегии от старых пней, не потомки местных родовитых семей, а совсем новые растения новейшей культуры.

\*\*\*

Благосостояние моё из года в год увеличивалось, и я уже купил в Тюмени собственный дом, куда и переехал на житьё с своей семьей. Домашняя обстановка была приобретена скромная, но она должна была быть такою же полною, как в любом порядочном доме провинциального города. Пришлось завести лошадей и экипажи. Всё было в малом виде — экономное, дешевое, но всё было. Так, лошади не превышали цены 100 р., экипажи 150, дюжина стульев 15 р. Сам дом, построенный из дерева лет 50 тому назад, не превышал цены 5000 р., стоял, немного наклонившись набок, имея меня уже седьмым владельцем, но был ещё крепкий и тёплый. Жить в нём, несмотря на 6 комнат-клеток одинаковой величины, было удобно. Я имел уже тогда двух приказчиков, несколько подростков мальчиков, кучера, дворника и «караульного» (сторожа), помещавшихся в одной половине нижнего этажа. Отец и мать мои помещались во второй половине того же этажа. Я и сестра моя занимали верхний, второй этаж. Жизнь моя текла здесь, среди упорной и неустанной деятельности, живого торгового дела и чтения книг литературного содержания. Я был уже избран членом городского суда, а впоследствии также гласным городской Думы по новому городскому положению. В моём архиве сохранилась запись, как из года в год возрастал мой капитал. Запись эту я привожу здесь на 1 января каждого года, вплоть до переезда моего на жительство в г.Москву.

К 1 янв.	1861 года	Р. С.	2,925 <sub>80</sub>
”	1862 ”	”	6,984 <sub>19</sub>
”	1863 ”	”	11,034 <sub>42</sub>
”	1865 ”	”	11,960 <sub>34</sub>
”	1866 ”	”	16,655 <sub>60</sub>
”	1867 ”	”	18,185 <sub>18</sub>
”	1868 ”	”	24,760 —
”	1869 ”	”	35,789 <sub>35</sub>
”	1870 ”	”	45,473 —
”	1871 ”	”	57,772 <sub>75</sub>
”	1872 ”	”	69,445 —

К концу этого периода торговые дела мои настолько расширились, что из купца 3-й гильдии я должен был перейти во 2-ю гильдию и ездить в Нижегородскую ярмарку и Москву главным образом для продажи сырых сибирских товаров и преимущественно шерсти во всех её видах. Лавку с мануфактурными товарами я продал своему приказчику Белугину, с выплатою денег в течение нескольких лет, чайную торговлю прекратил. Таким образом развязался я с мануфактурною торговлей, которая всегда меня тяготила своею мелочностью, неопределённостью и остатками товаров, которых нельзя продать «вчистую». От каждого куска ситца и материи всегда имеется остаток, по своей величине для многих неудобный, а посему и приходится ждать случая продать его, хотя бы даже убыточною ценою. Этого мало. Меняется спрос — на цвет материи, на рисунок, — является «заваль», никому не нужная, и продавай её за полцены; появились мелкие долги за знакомыми покупателями; считать их нужно только в трёх четвертях суммы. Это неустранимые причины в розничной торговле мануфактурою и делают её крайне неопределённою, в особенности при сколько-нибудь значительной конкуренции. Торговля эта возможна ещё тогда, когда сам её владелец занимается продажей самолично, отдавая ей всё внимание, и то тогда только, когда он не имеет практики и знания, чтобы торговать другими, более определёнными товарами. Вот почему, как только я приобрёл себе материальные средства, сколько-нибудь значительные, я и перешёл решительно к торговле более устойчивыми товарами, избрав своею специальностью чай, шерсть, кожи, пеньку, хлеб и даже дрова и рогожи, но совсем и навсегда отказался иметь дело с мануфактурой.



## ХII. Моя торговля, прибыль и расценки

Рассказывать о товарах, какими я более всего торговал и продолжаю торговать по сие время, рассказывать о том, как они покупаются и продаются, — мне кажется нелёгкая задача ввиду того, что об этом предмете как-то не принято говорить в печати, а потому читателю может показаться скучною материей. Но ведь всякая торговля, какова бы она ни была, основана именно на товароведении и способах покупки и продажи товара, а поэтому составляет самое существенное в любой отрасли промышленности. Если, тем не менее, читателю покажется эта тема мало интересною, то от него зависит перекинуть несколько страниц, не читая.

Начну с так называемого сырого материала, хотя он сам по себе далеко не сырой материал, а всегда более или менее обработанный и имеет множество видов и качеств, в зависимости от мест происхождения, сортировки и обработки. Знает ли читатель, что рогатый скот, убиваемый на бойнях в городах и в каждой захолустной деревушке, дает до 10 главных товаров нового сырья (не считая мелких и побочных), которыми заняты сотни тысяч промышленников и торговцев, прилагая к их эксплуатации — сбору, обработке, купле и продаже, большую часть своего времени и денежных средств? Едва ли. Я думаю, что расскажу ему из этой области народного труда и промысла кое-что такое, что далеко не каждому известно.

Рогатый скот, после убоя, даёт товары: мясо, сало, кожу, шерсть, хвосты, кишки, кровь, рога, копыта, мездру, которые в свою очередь сортируются и перерабатываются большей частью в новый вид товаров, как материал для более высокой промышленности. Простое сало есть «сырец», идущий на салотопенные заводы, а оттуда выходит товаром

под именем «топлёного сала в бочках» и служит материалом для мыловаренных и стеариновых заводов, где его переработают опять в новый фабрикат — стеарин, стеариновые свечи, мыло, олеин, глицерин и проч.

Кожа сырая ранней осенью солится; зимою — замораживается; летом — сушится. В таком виде, как сырой материал, она поступает на кожевенный завод, который превращает её в юфть, подошвенную, сапожную и др. виды, а эти последние служат вновь сырым материалом для сапожного, сдельного, экипажного и других производств — ремесленных и фабричных. Побочным образом кожевенному заводчику та же кожа даёт новые материалы — шерсть, мездру, рога, сухую стружку.

Шерсть, отдельно взятая, требует сортировки и обработки, при которой она превращается опять на новый сырой материал, разделяемый по своему природному цвету: белый, чёрный, серый, красный. Цена этим сортам на центральных рынках весьма различна, хотя шерсть снята иногда с одной и той же кожи и по всем статьям своей природы (кроме цвета) тождественна. Суть же разницы в цене заключается в том, что шерсти одного цвета получается при сборе меньше, а другого цвета больше, один природный. Цвет принимает при окраске яркие колера, а другой не принимает. По закону спроса и предложения рынка: «чего мало — то дорого; чего много — то дёшево» шерсть белого цвета всегда дороже вдвое против шерсти красного цвета. Среднее количество шерсти по цветам и средняя цена ей на центральных рынках бывает такая:

Шерсти белой собирается 15%, цена за пуд около 8 р.

”	чёрной	”	}	35%	”	”	”	”	6”
”	серой	”			”	”	”	”	”
”	красной	”		50%	”	”	”	”	4”

Средний вывод 100% = 5 р. 40 к.

Всё это относится к шерсти, снимаемой с кожи северных местностей — Вятки и Сибири, где климат помогает рогатому скоту иметь длинный, тонкий волос, а кожевенные заводы и «шерстомои» умеют сортировать его по цветам и промывать весной в первой снеговой воде: что придаёт товару — шерсти — глянец и усиливает

природное свойство «валки» в войлоке и валенках: а также в ткани, требующей «валки» при дальнейшей фабричной обработке.

Та же шерсть, вымытая в другое время года, теряет эти качества значительно и ценится на рынке на 20% дешевле.

Затем, чем ближе к теплу и югу, тем волос рогатого скота становится короче, грубее, толще; цвет менее правильным и приглядным; обработка менее тщательна — а почему и цены, смотря по качеству товара, постепенно понижаясь, опускаются до 50 и даже 40% против цен северного (вятского) товара. Нужно ли рассказывать, какими процессами снимается волос с кож, как он сортируется и промывается, чтобы поступить потом на рынок партиями по несколько тысяч пудов под именем «коровьей шерсти»? Я думаю, что для многих это будет ново, а по особым обстоятельствам, касающимся ветеринарного надзора, и интересно.

Сырьевые кожи поступают на кожевенные заводы\* как материал для выработки дублёного фабриката; первым делом кожи размачиваются в воде, если были сухими или солёными, и оттаиваются в тёплых помещениях, если они были мороженые. Потом после ряда известных манипуляций и процессов, которых я здесь не касаюсь, опускаются в чаны с известковым раствором на 2—3 недели времени и по выходе оттуда подвергаются механическому процессу «снятия шерсти». Кожи расстилаются на станки — «кобылы». Съёмщик шерсти тупым ножом счищает её с кожи, наглядно сортируя на четыре основных цвета. Снятая шерсть выглядит грязной массой смешанного волоса с известью. Эта масса вывозится потом на реку, ручей или озеро, где в плетёных корзинах промывается и замораживается «колобамми», хранимыми до весенней снеговой воды, для окончательной промывки, просушки на лугах и укупорки в холщовые мешки.

Вот на эту «коровью шерсть» на местах её продажи в центральных рынках и требуется каждый раз ветеринарное свидетельство с мест её происхождения или такое же свидетельство врача-ветеринара, в районе которого,

\* Всех кожевенных заводов в России в 1896 г. было, по статистическим данным, 1700. Производство на них оценено в 51 млн.р.

в данную минуту, шерсть находится. Все эти свидетельства удостоверяют, что ветеринарный врач шерсть осматривал и нашел её безвредной. Но скажите, ради Бога, возможно ли найти что-нибудь вредное в товаре, который три недели пробыл в известковом растворе? Я убеждён, что это немыслимо, что дезинфекция сделана полная. Затем, каждый тюк шерсти, в 8 пудов веса, вмещает в себя волос по меньшей мере с 300 кож; каким путём ветеринарный врач может определить, что один какой-нибудь фунт из трехсот фунтов волоса рос на заражённой коже, а вся остальная масса не заражённая, когда весь волос смешан? Дело ясное, что ветеринарные свидетельства пишутся в канцеляриях врачей без осмотра товара и составляют собою только лишнее время и расходы, ничуть не нужные для русской торговли и скотоводства и, кроме вреда и волокиты, ничего собой не представляют.

Ещё живя в деревне, где вырабатывались так называемые «тюменские ковры» и «паласы», — я часто видел, как прялась в нити шерсть — «кислая», «яловая» и «конина», превращаясь потом в «предено», «скань» и «уток»; как затем эта «скань» каждой мастерицей-ковёрщицей окрашивалась в разные цвета и оттенки, потребные для составления коврового рисунка. Всякая изба, где женщины работали ковры, была своего рода химической фабрикой, в которой фигурировали красильные материалы — индиго, сандал, квасцы, купорос, каркамея, серная кислота и некоторые травы и растения, самими «мастерицами» заготавливаемые: луковое перо, «серпуха», ольховая кора и железистый настой из ключей Таптагая. Женщина-химик собственным опытом достигала искусства, как лучше и дешевле окрасить «скань» в яркий колер нужного цвета и оттенка, но прежде всего знала, какая шерсть наиболее была способна принять ту или иную окраску, какими приёмами и какими пропорциями материалов достигать лучших результатов.

Не мудрено поэтому, что шерсть всегда меня интересовала, как с точки зрения её обработки, так и употребления, как материал для дальнейшего применения к делу. Я охотно вступал со всеми в разговоры и совещания. Както раз у меня завязался разговор с «посельщиком» Ники-

той, уроженцем Кинешемского уезда, по поводу всё той же шерсти.

— Что у вас из шерсти делают? — говорил Никита укоризненно. — Только портят материал. На что похожи ваши войлоки, из которых каждый волос лезет вон, как кострица из кудели? Или взять ваши валенки, т.е. пимы по-вашему: и неуклюжи-то они, и скоро-то расползаются. Если бы ваш материал да отдать в нашу Кинешму или в Арзамас, вот бы вы увидели, какие валенки смастерил бы мастер в Кинешме и какую «полость» сработали бы в Арзамасе. Вот уж был бы товарец — чудо, не тюменскому товару чета! А у вас валяют из шерсти «подхомутники», которые и продают потом по три рубля за пуд.

— Да ведь и у нас есть «кочьмы» очень крепкие, — заметил я Никите.

— Кочьмы! — засмеялся Никита. — Да ведь кочьмы-то не вашей, тюменской работы. Они киргизские. В них положена и шерсть-то другая — «живьё», какой у вас нет и не бывает. А я говорю о здешнем материале — «стуловой» и коровьей шерсти, которая в руках мастера дала бы товар куда лучше вашего, тюменского.

— А наши ковры и паласы разве не хороши? — возразил я Никите.

— Ковры совсем другое дело, — отвечал Никита, переходя из саркастического тона в деловой. — За ковры вашим деревенским бабам медали надо бы давать, вот что! У них учиться надо, как они, покупая у шерстобитов иной раз всякий сброд шерсти, умеют из неё и нитки прясть, и потом красить их в красивые цвета.

Подобные разговоры не проходили для меня бесследно. В первую же Нижегородскую ярмарку, куда я поехал самостоятельным хозяином, взяты были мною образцы местной шерсти, по которым я узнал, что в ярмарке найдутся для неё и покупатели. На следующий год я закупил в Тюмени небольшую партию разной шерсти и продал в Нижегородской ярмарке с пользой. А затем на второй год я уже купил большую партию вперёд, с выдачей деньгами значительных задатков. Но на этот раз наступила для меня та горькая доля, когда обнаруживается, как жестоко бывает человек обманут и когда покупатель безжалостно эксплуатирует его незнание каче-



ства товара и вычитает за его пороки вдвое больше, чем они стоят.

Тюменский продавец, теперь уже покойный, продал мне «яловую» шерсть, укорив меня, что она именно такая, а сдал мне шерсть почти чистую «конину», стоящую только немного больше половины цены яловой. Узнать и отличить шерсть одну от другой мне, как малоопытному, не было ещё возможности, потому что цвет и все другие внешние признаки почти были одинаковы, а знание постигается только после долгих опытов и упражнений. Я принял шерсть и уплатил деньги как за яловую, а на ярмарке, после многих разочарований, мне пришлось продать её, в конце концов, едва за две трети стоимости. Товар — шерсть — на Тюменском и Нижегородском ярмарочном рынке ценилась тогда так:

В Нижегород. ярмарке, яловая красная	3 р. — пуд.
” ” конская ”	1 р. 50 ”
В Тюмени ” яловая красная	1 ” 50 ”
” ” конская ”	1 ” 00 ”

Провоз от Тюмени до Нижегородской ярмарки составлял с пуда 1 ” —

Прибавляя провозную плату к цене того и другого сорта шерсти, она мне обходилась:

Яловая.....	2 р. 50 к.
Конская.....	2 ” — ”

При продаже шерсти я имел:

От яловой пользы с пуда.....	0 р. 50 к.
” конской убытка.....	” 0 ” 50 ”

Кто не дорожит своей репутацией и не думает о будущем, для того обман другого в целях барыша всегда выгоден и заманчив. Он ясно сознает, подделывая тот или иной товар, устраивая тот или иной фокус надувательства, что всё это узнается впоследствии, но узнается тогда, когда он получил уже деньги, и взыскать с него за это нет возможности. Им, видимо, руководит правило: только бы захватить деньги, а там «хоть трава не расти».

Этот эпизод, тогда со мной случившийся, принёс мне несколько горьких часов, не столько из-за денежного убытка, сколько из-за того, что заставил меня стореть от

стыда пред покупателем, подумавшим, что я, продав ему шерсть яловую, намеренно сдаю ему смесь яловой с кониной. Ведь покупателю совсем нет дела до того, что я сам обманутый человек, и он резонно говорит, что я продал ему шерсть яловую и обязан сдать такую, а не конину, смешанную с яловой. Что вы можете в подобных случаях сказать в своё оправдание, как не подчиниться его праву, какие бы сами ни испытывали при этом нравственные страдания, проклиная продавца, вас обманувшего, и упрекая себя в наивности и недостаточном знании товара?

## ХІІІ. Пожары.

### Тюменская неблагодарность

Пожары в городе, где все постройки были деревянные, составляли собою присущее несчастье и нашей Тюмени. В моё время каменных домов во всем городе едва было 12 на 2400 остальных деревянных строений. Судите же по этому, что это был за сплошной костёр. Мне памятно особенно два лета, когда пожары свирепствовали, точно какая-нибудь эпидемия. Началось с того, что случился пожар в доме крестной матери Кривошеиной, где мы в то время жили на квартире. Все постройки у неё были деревянные, приспособленные для постоянного двора и квартир для проезжающих. Горючего материала было довольно, навесы и амбары построены были сплошным смыкающимся с домом и флигелем кольцом, так что остановить пожар нечего было и думать, хотя он начался среди белого дня и в заднем углу холостых строений. Все быстро охватило огнём — запасы сена, рогожи, товары, имущество, и всё сгорело с постройками дотла меньше чем в два часа времени. Я успел прибежать из лавки и пройти в свою квартиру со двора ещё крыльцом, но выбраться назад тем же входом было уже нельзя; пламя охватило выходы, и мне пришлось спасаться чрез разбитые рамы окна, прямо на улицу. Ничего из строений и имущества застраховано не было, и крестная мать спасла только наличные деньги; остальное всё погибло в пламени.

На следующую весну на старом пепелище я должен был заняться постройкой одноэтажного маленького домика, куда моя крестная мать и моя семья к следующей зиме и переселились. Но как только наступило лето, опять начались пожары в этой части города. Сначала сгорело домов 15, а потом, на другой день, новый пожар уничтожил сразу 400 домов, в том числе и новый домик моей крестной матери. Этот пожар представлял собою такое море огня, что не

дай Бог видеть что-нибудь подобное другой раз в жизни. В воздухе нестерпимая жара; кругом пламя и дым; высоко к небу летят искры и головни; по улицам со зловещим свистом поднимаются вихри; со всех сторон мнутесь люди с воплями и криками о помощи. Одни тащат из домов ненужный хлам, а ценные вещи забывают, оставляют на жертву огню; другие складывают движимость на свободной улице, думая, что тут будет всё цело и сохранно. В такие моменты испуг и горе как-то парализуют рассудочную сторону человека. Так, иной раз видишь, что кто-нибудь бережно выносит со двора метлы, лопаты и другую подобную рухлядь, цена которым несколько копеек, и забывают выносить ценные предметы. Но вот летит по ветру головня с огнем и, падая через кварталы домов, поджигает новые строения; тут же загорается и вытащенное на улицу имущество. Везде крики и шум, всюду отчаянные вопли и рыдания; кругом зловещий свист и рёв пламени, и треск падающих, разрушающихся зданий.

В несколько часов этого пожара тысячи семей остались без крова и пристанища. На выгоне города образовался табор погорельцев, где в беспорядке были свалены в кучи выхваченные и вывезенные из домов зеркала, войлоки, серебро, сапожные щётки. Дети плакали, взрослые, вторя им таким же плачем, торопливо устраивали из вещей какую-нибудь защиту для ночлега и приют для жизни на несколько дней, пока будут найдены квартиры в городе. Жители других частей, не пострадавших от пожара, везли и несли в табор хлеб и провизию, раздавая их каждому бескровному человеку и семейству. Картина представлялась вообще крайне грустная, но в то же время и истинно христианская, ибо выражала собою чувства братского сострадания к горю и несчастью ближнего.

Но перейдём от этих картин беды и горя к обычной повседневной жизни Тюмени.

В мои времена хранилась ещё в сознании некоторых тюменцев признательная память к бывшему городскому голове И.В. Иконникову, сумевшему небольшими средствами создать обширный парк для родного города. Помощником и правую руку его был любитель-садовод, смотритель местного уездного училища г. Попов. Они вдвоём и привели эту прекрасную идею в исполнение. Тысячи

лип, елей, берёз и сосен были посажены правильными купами и аллеями на пространстве около 100 десятин земли, и всё это названо «загородным садом». Сад-парк развился до того, что представляет в настоящее время самое лучшее украшение города, которого тюменцы никогда бы не имели, не будь у них городского головы Иконникова и смотрителя училища Попова.

В этом парке ежегодно справляется теперь праздник 31 мая в воспоминание приезда туда в 1836 году покойного государя Александра II, когда ещё он был наследником престола. Во время лета загородный сад стал теперь любимым местом отдыха обывателей Тюмени; там есть тенистые аллеи, рощи, живописные виды пригорков и лужаек, не говоря уж о чистом воздухе, насыщенном смолистыми испарениями хвойных насаждений. Казалось бы, память о виновнике такого прекрасного учреждения должна быть постоянною. А между тем я мало замечал, чтобы Иконникову воздавалась должная признательность, ну хоть бы в виде того, чтобы в зале Думы поместить его портрет, как дань и уважение своему замечательному гражданину.

Так плоха память у наследников хорошего наследства в наших провинциальных городах!

В ряд с этим можно поставить другое печальное проявление, но уже из современной жизни, нашего общественного равнодушия, чтобы не сказать сильнее, по отношению к другому тюменскому гражданину — г. Подаруеву, построившему на собственные средства здание для тюменского Александровского реального училища. Здание выстроено роскошное, каменное, двухэтажное, со всеми приспособлениями для подобных учебных заведений; оно потребовало денежной затраты около 200 т. рублей и было пожертвовано городу. Казалось бы, за такую жертву можно было отнестись к строителю с большей благодарностью, чем какую проявило городское общество. Я лично не имею больших симпатий к г. Подаруеву и не могу быть им доволен, как увидят ниже из рассказа мои читатели, но не могу не помнить, что только он, а не кто другой, принёс Тюмени такое большое пожертвование. За это честь и слава ему неотъемлемые.

В те времена, которых касаются мои воспоминания,



г.Подаруев был очень богатым человеком в Тюмени и пожертвовал городу значительную часть своего состояния, выстроив здание для училища. Теперь времена изменились. Г-н Подаруев обеднел и дошел до того, что не мог даже уплатить к сроку городских налогов; за это Тюменская городская Дума на основании городского положения лишила его избирательного права. Формально, Дума, конечно, имела право так поступить, но ведь та же Дума не могла не помнить о сделанном г.Подаруевым крупном пожертвовании, какого ни один из богатых людей города никогда не сделал, и, мне кажется, нравственно обязана была ходатайствовать в губернском присутствии по городским делам о возврате избирательного права г.Подаруеву. Это был бы шаг единственно достойный городского управления.

Невольно приходится сказать и здесь, что мало развито у тюменских обывателей чувство памяти и благодарности.

## XIV. Тюменский музей

Заговорив о нашем реальном училище, я должен кстати сказать о его достопримечательности — музее, собранном усилиями директора этого училища И.Я.Словцова. Насколько музей обширен и интересен как сам по себе, так и для г.Тюмени, доказывает составленная по моей просьбе г.Словцовым нижеследующая записка.

«Местные собрания коллекций любой отдалённой окраины имеют ясно определённую цель — сосредоточить такие предметы, которые характеризуют природу данной страны или её исторический и доисторический быт, или современное экономическое и промышленное состояние, или, наконец, все эти стороны одновременно. Тюменские коллекции характеризуют край преимущественно в естественноисторическом и археологическом отношении. Предназначались они для развития умственного кругозора обучавшегося и обучающегося теперь юношества — учеников реального училища, — и вот уже восемнадцать выпусков воспользовались неоцененными услугами этих коллекций. Они представляют частью имущество казённое, частью пожертвования частных\* лиц. Все эти предметы соединены для удобства в преподавании естественных, исторических и этнографических наук. Занимают они три больших зала, разделённых аркой на отделения, и четвёртое добавочное зало, переделанное из лаборатории. В 1-м зале помещаются зоологические и ботанические коллекции, а именно: справа перед аркой в первом отделении в больших стеклянных шкафах расставлены плавающие и голенастые птицы (136 экземпляров). Между ними более или менее редкими и отлично препарированными нужно считать группу полярных казарок, утку, варнавку, морянку, гагу, полярную гагару, пеликана розового, поморников и пр. На этих же шкапах расположены открытыми крупными видами голенастых птиц, между которыми обращают на себя вни-

\* Главным образом самого Н.М.Чукмалдина. *Прим. изд.*

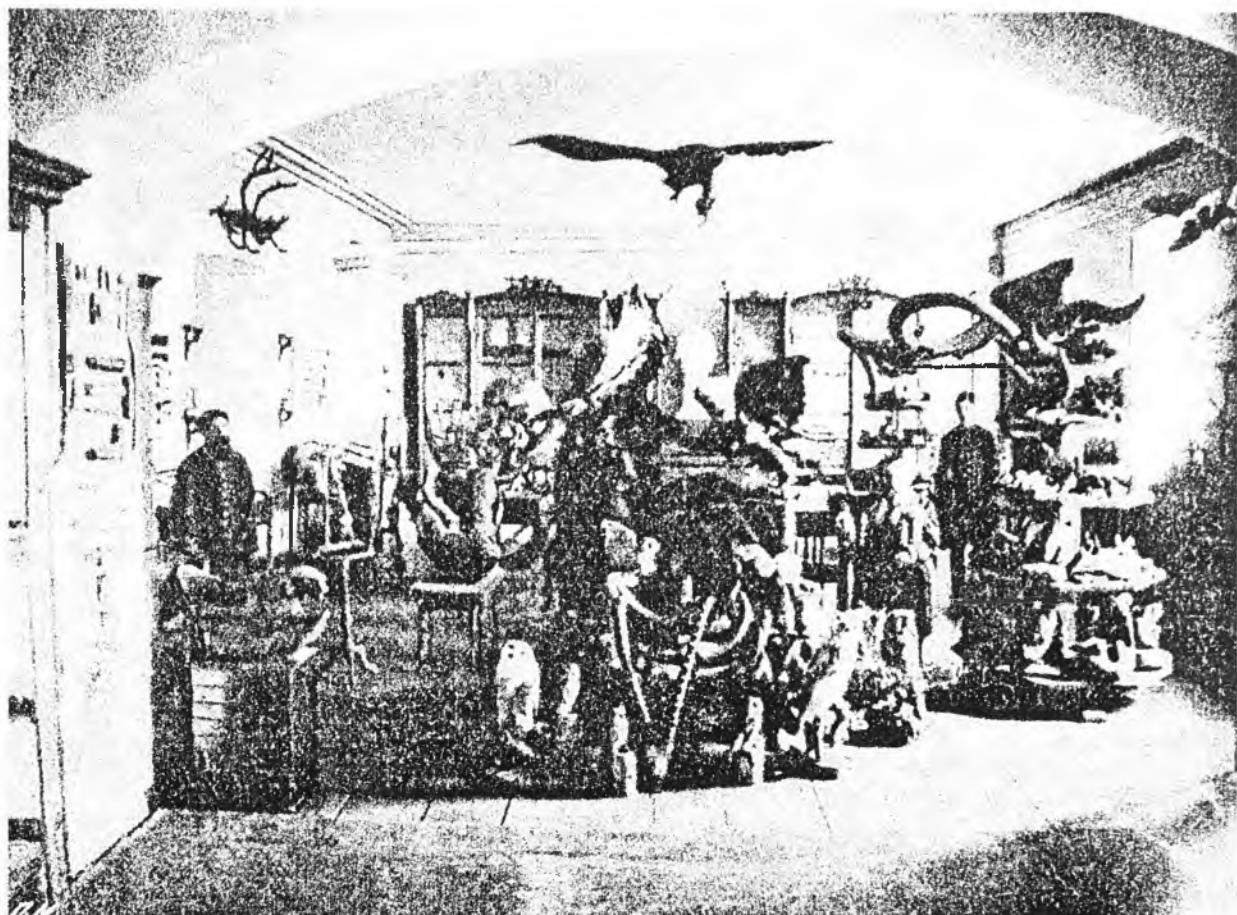
мание огромный стерх, или белый журавль, колпица монгольская, дрофа и разные породы выпи, начиная от самой маленькой — волчка, или бугайчика.

Слева перед ракой большие стеклянные шкафы наполнены птицами хищными, певчими, лазящими и куриными (398 экзем.). Между прочим собраны редкие виды ураль-



ского сокола (*Hirfolko Uralensis*), лапландских сов, сибирских филинов с очень белыми оттенками перьев и тут же почти совсем белый орлан-белохвост. Здесь же можно встретить альбиносов: тетерева, рябчика и др. Певчие птицы собраны в песчаных пустынях, степях и лесной полосе Западной Сибири. Кроме того, есть небольшая коллекция тропических птиц Америки. Впереди шкафов левой стороны витрина наполнена гнёздами и яйцами птиц. Таких же витрин в других отделениях четыре. В арке, отделяющей первое отделение от второго, с боков поставлены кости передней и задней ног мамонта огромных размеров. Над аркой по стене расположены черепа оленя и первобытных быков. За аркой во 2-м отделении первого зала размещены преиму-

щественно млекопитающие животные, аномалии их и уродливости (41 экзем.). Здесь интересными экземплярами можно считать: тека, или горного козла, благородного оленя, северного оленя, кабаргу, лося, рысь; а из уродливостей более или менее редкие: крестообразно сросшиеся жвачные



и хищные животные. Из альбиносов — белка, крыса и лисица. В шкафах расположены в банках спиртовые препараты пресмыкающихся, из которых обращают на себя внимание фриноцефалюсы и тринглоцефалюсы, саламандрелли сибирские и рыбы: осман Дыбовского, губач Штрауха, полья, флоксинус Телецкого озера и пр.

При входе во второй зал на самой середине, на скале из горных пород восточного Урала, размещена группа вступивших в битву беркута и карагуза. Над ними парит с распущенными крыльями орлан-белохвост очень крупных размеров, а внизу при подошве скалы в пещерках её размещены ночные хищники. Вся эта комната занята преимущественно палеонтологическими и археологическими коллекциями (498 экзем.). Справа на горке из шести полок расположены: черепа мамонта, быка и кости 15 иско-

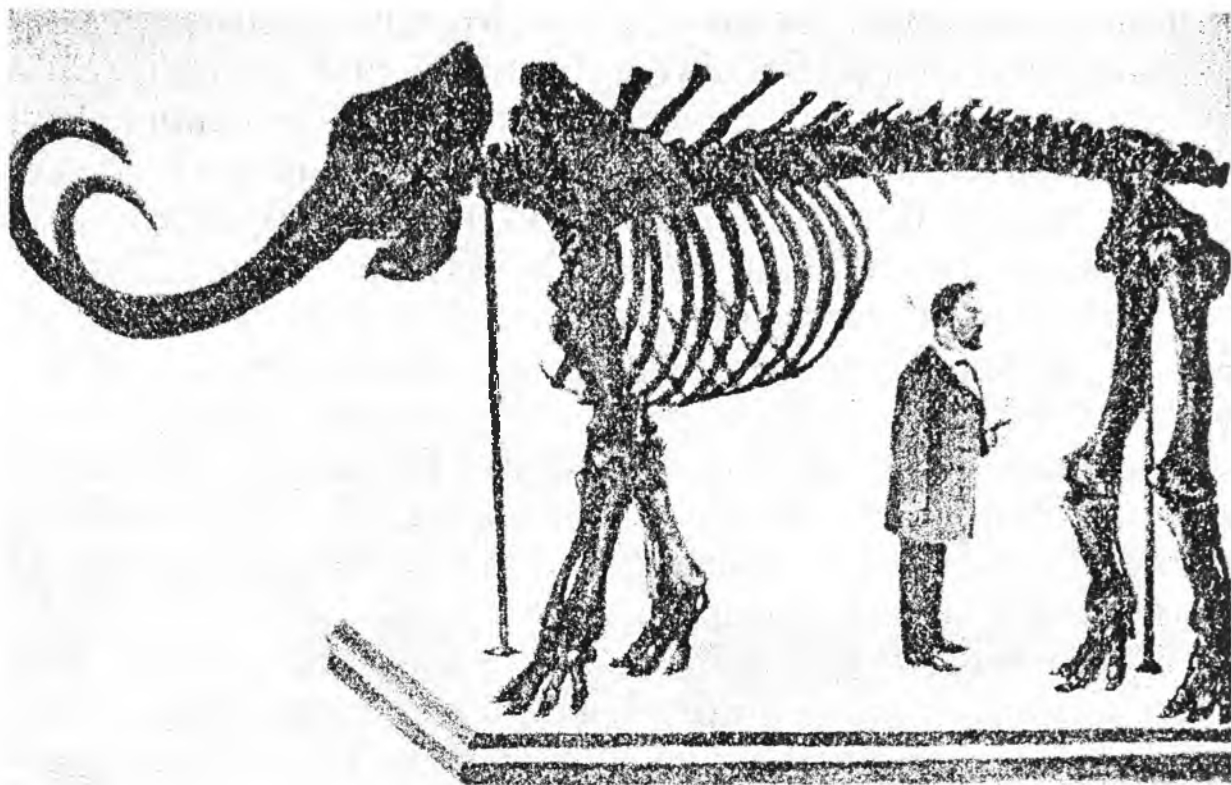
паемых млекопитающих; далее в глубь на такой же горке сложены кости ископаемого носорога. С левой стороны, спереди витрин, на табуретах размещены черепа носорогов, а в витринах и на стенах археологические предметы каменного и бронзового веков, найденные близ Тюмени. В глубине комнаты в шкафах расположены предметы из Египта, Иерусалима и др. стран Востока, пожертвованные училищу Н.М.Чукмалдиным. Между ними представляют особый интерес: щит сирийской работы с превосходным орнаментом, монеты грузинские, римские, греческие, арабские и персидские, древние реликвии из гробниц, перстни бирюзовые и сердоликовые, бронзовые и серебряные персидские чашечки, разные орудия Востока, восточный перламутр, образцы розового масла из Каира, модель Гелиополя. Тут же образцы материалов египетских построек, алебастр от стены царской комнаты под пирамидою Мемфиса; кусок гранита Гезехского сфинкса; куски гранита от колонн Серапиума; гранит пирамид Мемфиса; обломки развалин по Кедронскому потоку и по склону Елеонской горы и т.д.

В третьем зале расположены огромные собранные скелеты мамонта, допотопного быка; а в шкафах размещены исторические и доисторические археологические предметы. Коллекции по исторической археологии пожертвованы училищу Н.М.Чукмалдиным. Между ними большого интереса заслуживают: царские врата и часть иконостаса первой четверти XVIII ст.; резной деревянный шкаф конца XVIII ст.; два огромных деревянных ковша (15 верш. в диаметре) и при них мелкие разливательные ковши; три ножа и три вилки времён Ганзы (имитация); кованая серебряная чаша XVII века; медный фряжский кувшин 1656 года; старинный медный безмен и, кроме того, коллекция старинных кубышек, прялок, прялочных досок, солонок, печатей, табакерок и пр. предметов. Здесь помещаются серебряные табакерки с вензелем Екатерины. Табакерки из красной яшмы с монгольскими надписями; табакерка серебряная, на которой изображена карта древней Пресногорьковской станицы казачьей линии. Серебряный кубок с барельефами императора Николая Павловича, Александры Феодоровны и Александра Николаевича. Медаль восьмигранная, выбитая при открытии в первый раз в Сиби-



ри серебряной руды. Штоф стеклянный с золотыми инициалами Екатерины II, кольчуга, бердыши и пушка времен завоеваний Сибири Ермаком. Старинный, конца XVIII века, самовар. Татарские кувшины, медные и глиняные, серьги, подвески и др. предметы.

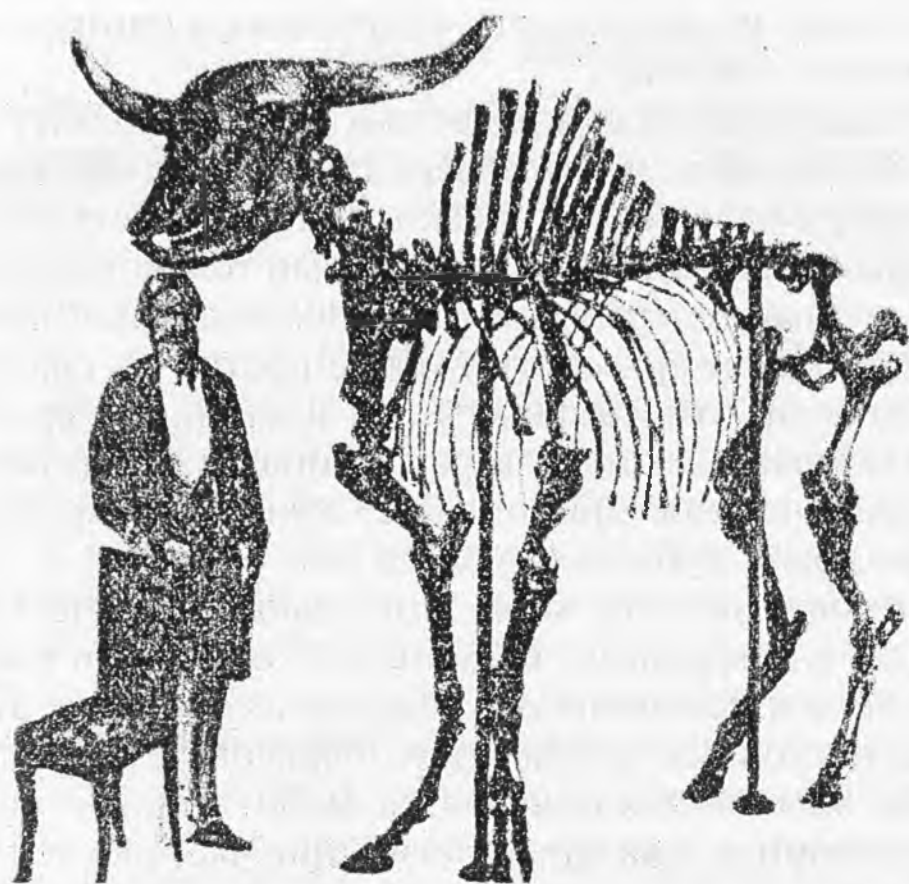
По археологии доисторической в шкапах той же ком-



наты между многими предметами обращают на себя внимание: 1) археологическая карта курганов и городищ Тобольской губ., составленная директором, но ещё не опубликованная; 2) серебряные сосуды с арабскими надписями XII века, найденные в кладах по реке северной Сосьве; 3) серебряная кованая из одного куска чаша весом 3 ф. 68 зол., 28 сантим. в диаметре с надписями на дне, которые имеют вид «резей» на скалах южной Сибири; серебряное блюдо и бляха с изображением идолов, у которых груди и половые органы вызолочены. Пятнадцать щитов с глиняными, каменными, бронзовыми и железными доисторическими орудиями. Огромная коллекция древней керамики. Древние жернова и жерновые камни.

Наконец четвёртый, добавочный зал, занят обширной минералогической коллекцией, более 3000 образцов, гербариями и пр. В этом зале семь отделений: 1-е отделение

костюмов, атласов и приборов по этнографии, географии и космографии. 2-е отделение по минералогии и геогнозии. 3-е отделение по ботанике, где находятся обширные гербарии Тобольской губ., киргизской степи, Северного Урала, берегов Скандинавии и островов Северного океана. Коллекция древесных пород, пожертвованная Н.М.Чук-



малдиным, а именно: кавказских пород 92, крымских — 12, из Палестины и Египта — 28. При древесных породах приложены листья и образцы цветов. В этом отделении хранится обширная коллекция разборных моделей растений из папье-маше, составленная Бренделем, модели разных бактерий из желатина, увеличенных до гигантских размеров, и более 600 микроскопических препаратов. 4-е отделение зоологическое, включает в себя анатомические модели, работы Озу в Париже, частей человеческого тела: мозга, сердца, лёгких, печени, почек, глаза, уха, языка, суставных сочленений скелета; модели нервной системы различных животных и полную модель человека из папье-маше. В этом отделении хранятся скелеты различных животных, большая коллекция в несколько тысяч

насекомых и коллекция моллюсков. 5-е отделение составляют приборы и инструменты для наблюдений — микроскопы, фотографические дорожные аппараты, волшебные фонари, воздушные насосы для микроскопа, микроскопическая фотография, инструменты для экскурсий, препараты для гербариев и пр. 6-е отделение занимают атласы и книги для определения животных и растений; 7-й отдел состоит из коллекций, собранных учениками и пожертвованных училищу.

Все казённые и частные коллекции можно оценить не менее как в 36 тыс. руб.; и они совершенно дополняют друг друга. Так, напр., палеонтологические останки костей первобытных животных становятся понятными только по сравнению со скелетами теперь существующих животных; предметы доисторической археологии объясняются из сравнения с коллекциями этнографическими настоящего времени. Наконец коллекция птиц и зверей, принадлежащих казне и составляющих частное приношение, только взаимно дополняют друг друга; дубликатов здесь нет.

В совокупности все эти коллекции дают связную картину природы и населения Тюменского округа, а также доисторического и исторического его быта. Значение этих коллекций в настоящее время чисто образовательное для учащихся. По ним юноша приучается любить дары природы, ценить исторические древности, приучается уяснять себе их значение в целом и в связи с изучаемой им историей культуры всего человечества. Наконец, увлекаясь сам составлением коллекций, юноша умножает музей своим вкладом и учится в то же время умению обращаться с ценными для науки вещами. Значение музея наше общество поймет, к сожалению, много позднее. До этого времени все усилия частных лиц должны быть направлены к тому, чтобы не погибло\* по крайней мере то, что собрано ценою трудов, здоровья и денежных жертвований».

---

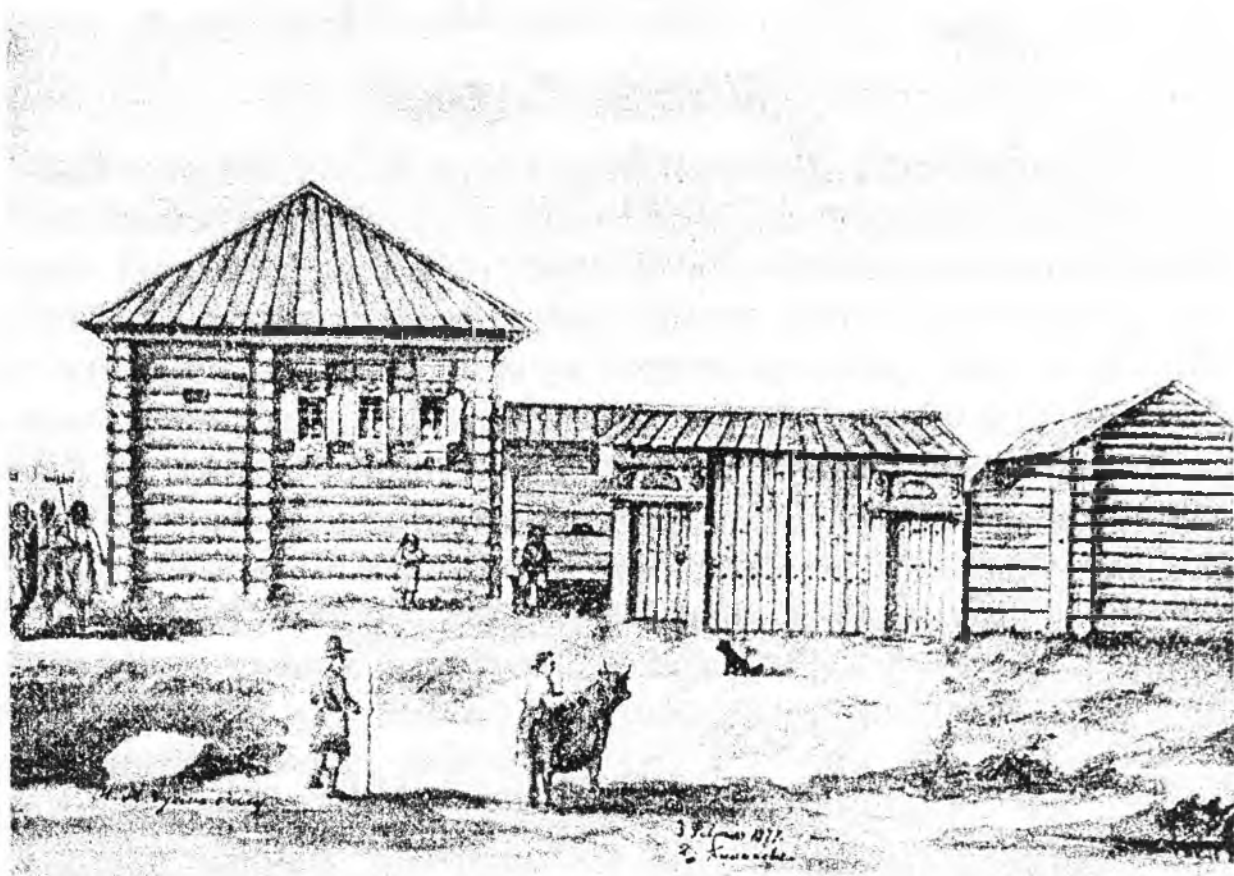
\* Последние строки нуждаются в пояснении, которое, к сожалению, обстоятельно я сделать не могу. Как припоминаю из рассказа покойного Николая Мартемьяновича, были препятствия к *принятию* уже совсем сформированного музея. Начальство соглашалось открыть этот музей при реальном училище только тогда, когда будет сделана необходимая постройка для помещения музея. Это очень обижало покойного, и я не знаю точно, он ли наконец эту постройку сделал сам или помещение дало училище, но музей был открыт. *Прим. изд.*

## XV. Из тюменской жизни.

### Кабак победил

Заречная часть Тюмени резко выделяется от остального города топографией местности и строем жизни обывателей. Она лежит по левую сторону реки Туры, на низменном и часто затопляемом весенними разливами месте. Нагорная же, главная часть города, Царёво, Большое и Малое городища, Центральная часть и Потоскуй, раскинуты на возвышенном крутом берегу той же р.Туры, разделяемые обрывистыми берегами маленьких речек, сливающихся в узел перед самым впадением их в р.Туру. Через эту речку на острых мысах правого берега реки и устроен деревянный мост, соединяющий город с затюменской частью, от которого идёт боковой спуск к плашкоутному мосту через р. Туру, по спаде вод, ежегодно наводимому для сообщений заречной части с городом. В этой части города расположены кожевенные заводы, дающие особый колорит постройкам и даже несколько иной вид домашней жизни местных обывателей. На кожевенных заводах кожи выделывают, а в маленьких домиках заречных жителей зачастую их отделявают или шьют из них обувь и рукавицы, или, наконец, живут рабочие и мастера, работающие посуточно и помесечно на тех же кожевенных заводах. Поэтому-то, как только вы войдёте на улицу заречной части, так вас и обдаст специфическим запахом дубильной кислоты, березового дёгтя и известкового раствора. Многие утверждают, будто кожевенные заводы являются рассадниками сибирской язвы, но забывают, что известь, дёготь и дубильная кислота уничтожают всякую заразу, если бы где-нибудь на кожевенном сырье она и существовала. Штабеля сырых кож, как зимой мороженые, так и летом сухие, складываются на дворах кожевенных заводчиков, где лошади и рогатый скот заводчиков постоянно соприкасаются с ними, а между тем

ещё не бывало случая возникновения эпидемии у самих заводчиков. Наконец, сырьё по всей Сибири на тысячи вёрст расстояния везётся обозами на лошадях. Почему же не было замечено ни разу факта, чтобы лошади обозов заболели сибирской язвой? Таким образом, сама жизнь



отмечает ходячее заблуждение, и его не видят только те, кто не хочет его видеть. Я сам много лет жил в доме кожевенного заводчика и видел постоянно, что сибирская язва никогда не возникала в заречной части города, а всегда появлялась и сильнее свирепствовала в нагорной. Отчего же подобного факта не исследуют, не узнают, а продолжают утверждать старые сказки, что кожевенные заводы — рассадники заразы?

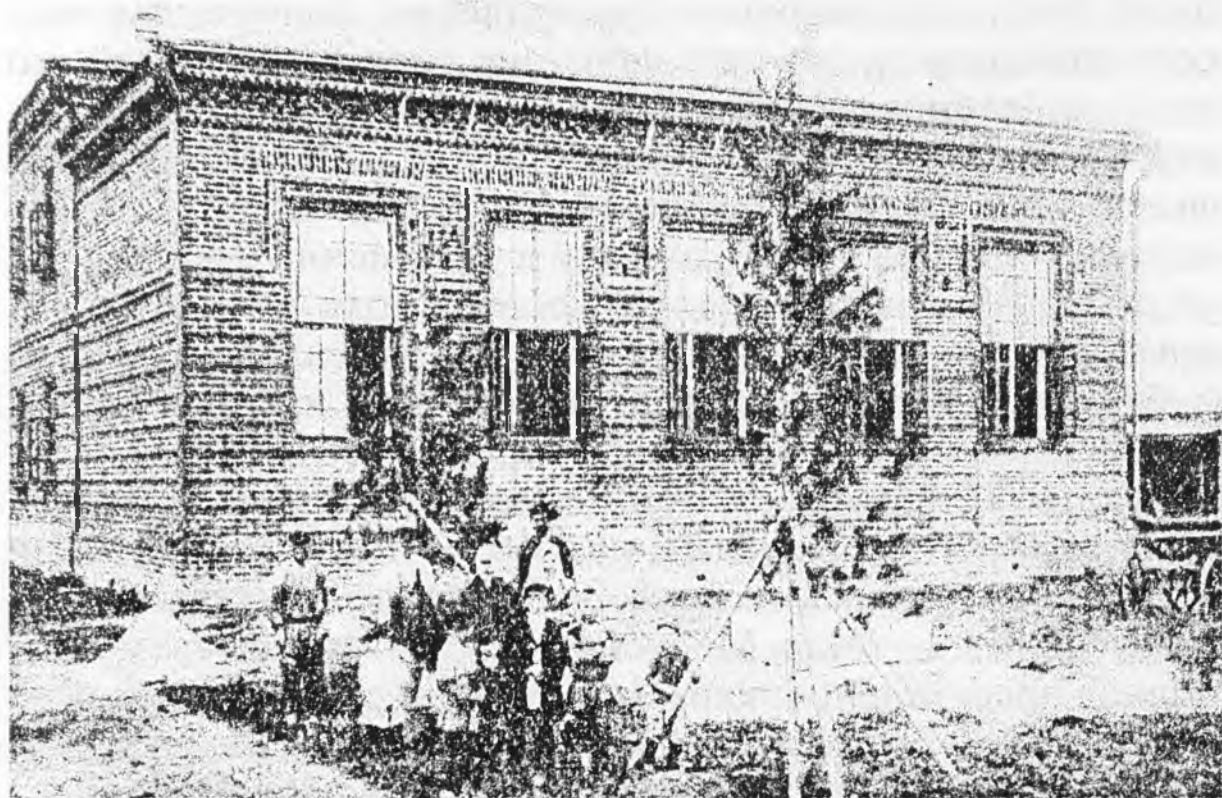
Поистине всякий предрассудок очень жив и цепок!

Весною до полного спада вод р. Туры на ней устраивался «самолёт», едва ли известный где-нибудь, кроме Сибири. На длинном канате, укрепленном посреди реки на якоре, привязывается за мачту и носовую часть плоскодонное судно, имеющее килевой руль. Такое судно течением воды и управлением килевого пера, описывая дугу, движется от одного берега к другому, люди управляют



только рулём и причаливают и отчаливают его к пристаням обоих берегов. На самолет помещается и перевозится за один раз до десяти телег и экипажей и до сотни человек пешеходов.]

Когда я был уже купцом второй гильдии и имел право



давать приказчикам доверенности и другие торговые документы, со мной случилось происшествие, разыгравшееся неприятным для меня сюрпризом в то время, когда я жил уже в Москве. Много лет по соседству со мной, в гостином дворе г. Тюмени, торговал игольными товарами в качестве приказчика некто М.Мелкобродов, уроженец дер. Гусельниковой, находящейся рядом с дер. Кулаковой. Уволившись от службы с запасом денег в несколько сотен рублей, он задумал торговать такими же игольными товарами в маленькой собственной лавочке, какими торговал у бывших хозяев. Но так как род товаров требовал купеческих прав, то он и упросил меня дать ему доверенность и другие документы, якобы приказчику, торгующему от меня. Первые годы дело его шло порядочно, и торговля развивалась. Московские продавцы в Ирбитской ярмарке, зная его лично, давали ему кредит, никак меня не касав-

шийся, так как в доверенности такого права предоставлено Мелкобродову не было. Каким образом могло случиться, что в 1872 г. он выдал московскому торговцу Зеленову векселя по доверенности от меня на 1800 р., я уверенно сказать не могу, но векселя были выданы, а дела его пошатнулись. Ни Зеленов, ни Мелкобродов об этом меня не известили, а последний потом клятвенно уверял, будто он не знал, что совершает преступление, подписывая векселя по доверенности от меня, не имея на то права, но что сам Зеленов знал это хорошо и увлек его на этот поступок. На другой год, когда я жил уже в Москве, векселя за неплатёж были протестованы и представлены для взыскания в Московский окружной суд с меня, как с должника, неизвестно где проживающего, хотя Зеленов хорошо знал, что я живу в Москве. Суд постановил сделать публикации в «Сенатских ведомостях», а по прошествии 6 месяцев состоялось и заочное решение: деньги с меня взыскать. В скором времени является ко мне судебный пристав с исполнительным листом по взысканию 1800 р. Что мне оставалось делать? Заявить, что векселя недействительны, — тогда Мелкобродова будут судить за уголовное преступление, караемое лишением некоторых прав и ссылкой в Восточную Сибирь на поселение. В первое время я возмутился этим до глубины души и обратился даже к одному из адвокатов с просьбой составить в суд прошение с изложением указанных обстоятельств. Но когда пришёл момент подписывать прошение и когда я вспомнил, что виновного сошлют в Сибири, а семья его станет семьёй поселенца, — рука моя дрогнула, и я решил лучше потерять деньги, чем сделать людей несчастными.

Судебный пристав получил от меня что-то около 2000 р., Зеленов, вероятно, потирал руки от удовольствия, так хорошо ему удалась его ловкая комбинация, — а я понёс убыток, награждаемый лишь сознанием, что не сделал зла своему соседу.

Деревня Кулакова во всё время моей сознательной жизни была моим любимым детищем, которому прощаются все его пороки и грехи. Как порой бывает горько видеть и сознавать то или иное отступление от нормальной жизни, ту или иную нехорошую черту, — всему подобному ищешь объяснение в посторонних обстоятельствах, а сама моя

деревня вновь представляется мне милой и симпатичной. Как сильно хотелось мне уничтожить там кабаки и пьянство — эту язву, подтачивающую в корень крестьянское благосостояние! Я прилагал всю мою энергию и материальные средства на протяжении 20 лет времени для борьбы с этим вертепом и должен сознаться, что все усилия потрачены были напрасно. Я начал с того, что вместо построенного кабака уговорил кулаковцев открыть кабак на моё имя, но всю прибыль от него обращать на сельские расходы. Так шло дело два-три года. Потом сделан был донос, что я лишаю казну дохода от двух патентов, что, сокращая продажу вина, наношу казне ущерб в виде недобираемого акциза и что сам кабак мой есть скрытно-общественный. В то время подобные действия считались если не прямо преступными, то всё же не совсем легальными. А посему я будто бы человек неблагонамеренный. Пришлось от этой системы отказаться и перейти на прямую плату обществу от 100 до 200 р. в год, чтобы не давало оно права никому на открытие в деревне питьевых заведений. И вот в Кулаковой кабака не стало, но зато его тотчас же открыли в смежной деревне Гусельниковой. Явилась надобность платить и этой деревне 100 р. в год за то же самое. Но когда не стало кабаков в обеих деревнях, появилась тайная продажа водки в нескольких домах, уследить за которой не было уже никакой возможности.

На моей стороне было полное сочувствие всего женского населения обеих деревень, мне помогали делом и советом трезвые и хорошие крестьяне, мне явно не противодействовали даже пьяницы и мироеды, — но чуть только появлялся кабатчик с несколькими вёдрами водки для схода и несколькими отдельными подачками мироедам, как всё доброе настроение разрушалось, и появлялись кабаки, разорители крестьян. Туда влекло неудержимо: пьяниц — пьянство, а слабых людей — отсутствие силы воли, а потом мало-помалу наступала пагубная привычка к водке, приводившая их в конце концов к полному разорению.

Напротив здания волостного правления в дер. Кулаковой стоял дом старого кабака, приобрёвшего себе своей биографией название «проклятого местечка». Я купил его,

ремонтировал, засадил свободные места кустарником и открыл в нём сельское училище, чтобы не было на этом месте поганого заведения. Кабак перекочевал в другое место и нашел охотников крестьян сдавать ему в аренду свои дома по всей Трактовой улице. И чего только не делал я для кулаковцев, даже кроме этих описанных опытов моих, но всё было бесплодно, ничто не достигало цели. Не хватало у них денег не взнос податей — я давал их, случался недород хлеба — я посылал им хлеба, выстроил школу, дал деньги на учреждение банка, сооружаю новую каменную церковь. Казалось бы, простой расчёт закрыть кабак, с которым я веду войну, но вот, подите же, кабак господствует и насмехается над всякими усилиями одиночного человека!

Таким образом, вся моя более чем двадцатилетняя борьба с кабаком окончилась моим поражением, и я должен наконец сказать себе: «Да, кабак меня победил».

## XVI. Директорство в остроге.

### Нечаянная речь

В Тюмени меня избрали директором местного острога и пересыльной тюрьмы. В те времена тюменская тюрьма была центральной, где перед открытием навигации в пересыльном отделении скопилось арестантов до 2000 человек. Вся тюрьма построена была только на 800 человек арестантов, и можно по этому судить, как она бывала переполнена, когда скопьялась там такая масса пересыльных арестантов! Я и товарищ мой, другой директор В.Гагарин успели исходатайствовать разрешение расширить некоторые здания и увеличить двор на целое отделение. Мы оба с ним целое лето занимались надзором за успешностью работ и имели радость видеть, что к следующему сезону скопления пересыльных арестантов в тюремных помещениях стало несколько свободнее. Но как-то странно судьба русской тюрьмы, про которую сложена даже народная поговорка, гласящая, что «тюрьма да богадельня — дело артельно».

Тюменская тюрьма едва меня сама не приютила в своих стенах, как узника, а товарища моего Гагарина содержала шесть месяцев в тех самых камерах, которые мы с ним, будучи директорами, устраивали. О себе я расскажу ниже, а теперь пока перейду к повествованию о Гагарине.

В.Гагарин был местный тюменский купец, бывший ящик, а потом обозный приказчик, и как таковой отличался порой весёлым нравом и необузданным характером. В один из таких приступов заехал к нему в дом тогдашний местный квартальный надзиратель и что-то сказал Гагарину оскорбительное, а тот не стерпел и ответил «действием». Дело было при свидетелях, получило огласку и кончилось судом, приговорившим его к шести месяцам тюремного заключения. В это время я жил уже в Москве. Приехав временно в Тюмень и узнав, что Гагарин заклю-



чён в тюрьму, я поехал туда навестить его. Едва только вошёл я в камеру, где помещался заключённый, как он встретил меня народной поговоркой: «От тюрьмы да от сумы не отказывайся», и при этом горькими слезами заплакал. Разговаривая, мы оба припомнили, как когда-то хлопотали, чтобы стены камеры сложены были на хорошем известковом растворе, во избежание сырости, чтобы двор тюрьмы был шире и удобнее, и вот теперь и тем, и другим ему, как узнику, пришлось пользоваться наравне с другими заключёнными.

\* \* \*

Было принято в Тюмени, чтобы в каждый приезд туда губернатора, а тем более генерал-губернатора, представляться депутациям от сословий — купеческого и мещанского, при прежнем управлении, и группой гласных под предводительством городского головы по введению нового городского положения. В старые времена на должность городского головы избирались только самые богатые купцы города, хотя бы грамота их не шла далее подписи имени и фамилии. Тогда большинству городского населения казалось, что на эту должность немислим человек небогатый, хотя бы грамотный и развитой. «Помилуйте, — думал обыватель, — да как же это городской голова вдруг будет подъезжать к зданию Думы не на тысячной лошади и не в дорогом экипаже? Никак этого невозможно».

И выбирались в городские головы одни лишь богатые люди. Как это отражалось на городском хозяйстве и к чему в конце концов такая система приводила — это доказывает то же городское хозяйство в Тюмени, расстроенное до того, что казна вынуждена была наложить запрещение на городское имущество за накопившуюся недоимку обязательных сметных расходов по содержанию реального училища. Изменилась система выборов в городские головы, и то же городское хозяйство вошло в нормальные рамки. Но во времена, о которых я рассказываю, господствовали ещё в должности городского головы одни самые богатые люди города. Случилось как-то раз, проезжал через Тюмень генерал-губернатор Западной Сибири. По обыкновению надо было представляться городскому обществу, а городскому голове при этом случае говорить приветственную речь. Что

тут предпринять? Накануне представления мне предложили написать проект этой речи. Я написал, губернатор её просмотрел и одобрил. Теперь предстояло городскому голове выучить эту речь наизусть. Уж он её долбил, долбил! На другой день утром мы сделали с ним репетицию. Дело шло недурно: городской голова речь выучил назубок и проговорил её мне сносно.

В 12 часов дня состоялось представление. Гласные Думы выстроились полукругом в приёмной зале. Городской голова встал во главе. Выходит генерал-губернатор, голова начинает говорить речь:

«Ваше Высокопревосходительство! Позвольте мне...» и потом, как он ни искал у себя слова для продолжения речи, она ему не давалась. Он закончил жестом и сказал, указывая на меня: «Вот он доскажет». Начальник края повернулся ко мне, приглашая окончить речь, начатую городским головой. Мне невольно пришлось её сказать и тем закончить эпизод, от которого личные мускулы генерал-губернатора выражали явное намерение произвести смех. Всё однако ж сошло благополучно. Общество получило от генерал-губернатора благодарность, я — пожатие руки, и мы разъехались по домам только с новой темой для юмористического рассказа.

## XVII. Высоцкий и Колганов

Много лет подряд я жил в интимной дружбе с Константином Николаевичем Высоцким, которому обязан многим в моём душевном складе и развитии. Сколько длинных вечеров проводили мы с ним за чтением книг и потом за разговорами как по поводу прочтённого, так и по поводу общественных вопросов! Он держал в то время фотографию и, бывало, ретушируя негатив, продолжал в то же время рассуждать со мною по поводу какого-нибудь древнего классика, которых мы с ним в то время немало и усердно прочитывали. К.Н.Высоцкий по природе своей был, скорее, прекрасный педагог, умеющий будить в юной душе воспитанника хорошие, человеческие инстинкты, чем человеком практического дела. Но судьба как раз закрыла ему педагогическое поприще. Тогда невольно он вступил в мир промышленных профессий, где, однако ж, ничто ему не удавалось в смысле денежного успеха, потому что покойный всюду прилагал новые гуманные приёмы, с окружающей обстановкой трудно примиримые. Таким образом, человек всю жизнь не по своей вине шёл не той дорогой, какая свойственна была его натуре.

Бывало, у кого-нибудь из нашего кружка — у меня, Канонникова, Лагина или Иконникова — соберёмся мы на вечерний чай, и начинается у нас беседа, всегда искренняя, всегда интересная, с захватывающим, увлекательным внутренним содержанием, то по поводу прочитанной статьи в журнале, то по поводу какого-нибудь местного события, то, наконец, по поводу того, как надобно держать у себя слуг и работников, чтобы не были они слуги-рабы, а были бы «меньшие братья» и помощники, которых хозяева обязаны воспитывать, а не выжимать из них сок, как из губки воду. Это была любимая тема Высоцкого, и он каждый раз начинал развивать её с новыми доводами и пояснениями. Я помню, мы одной весной прочли с ним все сочинения Вундта «Душа человека

и животных». Для этого я вставал в 5 часов утра и приходил к нему в фотографию, чтобы в эти ранние часы никто не мешал нам держать наши лекции и обсуждать содержание книги.

Благодаря рассказам и настоянию Константина Николаевича я однажды поехал в маленький захолустный городок Туринск, чтобы привезти оттуда в Тюмень талантливого сатирика-живописца Ивана Александровича Колганова.

— Это второй Гогарт, — бывало, горячится Высоцкий. — Это великий талант, гложущий в захолустье. Пора нам вытащить его оттуда.

Кто видел рисунки Колганова и его картины, кто любовался у зрителя училищ шкатулкой, разрисованной Колгановым, тот должен был согласиться, что человек этот обладает действительно недюжинным талантом.

— Бросьте ваши меркантильные дела, — говорил Высоцкий, — бросьте вашу денежную мамону и везите скорее сюда Колганова. В Туринске он совсем заглохнет и погибнет.

Когда мы приехали с Колгановым в Тюмень, Высоцкий радовался этому, как личному большому счастью. Он рекомендовал художника всем своим знакомым, как живописца и портретиста, приискивая ему работу и занятия. Колганов оставался в Тюмени года два-три, рисуя портреты желающим и в свободное время едкие карикатуры на местные злобы дня. Мы постоянно удивлялись его способности схватывать на память любое лицо и подмечать в нём смешную сторону, которая под карандашом Колганова превращалась в жгучую, точную, наглядную характеристику лица, им нарисованного. Нам часто приходилось спрашивать художника, как у него слагается в представлении образ сатирического типа и как он может несколькими штрихами передавать индивидуальную физиономию каждого человека? Раз как-то мы гуляли с ним летом в Спасском саду, где на дорожках насыпаны были кучки песка. Разговор опять коснулся этой же его способности.

«Как я помню физиономии, спрашиваете вы? — ответил нам Колганов. — А вот как. Все вы знаете адвоката Бордашевича? Вот я вам нарисую палкой на этой куче

песка его типичные черты лица. Вот контур головы, лба, подбородка, вот его глаза, рот и нос. Ну что, похож?» — заключил он, сделав несколько штрихов и углублений.

Мы ахнули. В этом грубом абрисе, сделанном палкой на куче песка, на нас глядел Бордашевич, как живой.

«Всякое лицо, — продолжал Колганов, — для меня всегда представляется его главными характерными чертами, и они как-то сами собою запоминаются мною прежде всего. У этого своеобразный взгляд и особая улыбка на лице; у другого поза и жесты особенным манером господствуют над всем остальным; у третьего усвоена манера держать иначе голову, отчего личные мускулы и нос придают ему характерную физиономию. Я когда ещё мальчишкой учился у иконописца, то рисовал окружающих людей не полными портретами, а только чем-нибудь выдающимся у них: носом, ртом, глазами, жестом. Выходило, конечно, немного карикатурно, но другие узнавали всегда, чей это нос, глаза и жесты».

Из Тюмени Колганов был привезён мною в Москву и даже поступил было учеником в училище живописи и ваяния, но слабость к водке, приобретённая в Туринске, испортила его карьеру и преждевременно свела художника в могилу. Через год он вернулся в Тюмень и умер, не имея ещё 30 лет от роду.

Всё, что было замечательного, вышедшего из-под его кисти и карандаша, собрано мною в коллекцию и передано в Тюменское реальное училище. Со временем потомки наши, вероятно, будут любоваться на его создания и оценят их более достойным образом, чем современники.

Картина карточной игры его кисти помещена выше, несколько снимков с его карикатур и скульптурных опытов, здесь помещаемые, я думаю, лучше моих слов пояснят талант Колганова не только как самоучки-живописца, но и как самоучки-скульптора. Особенно хорошо удался ему Плюшкин.

\* \* \*

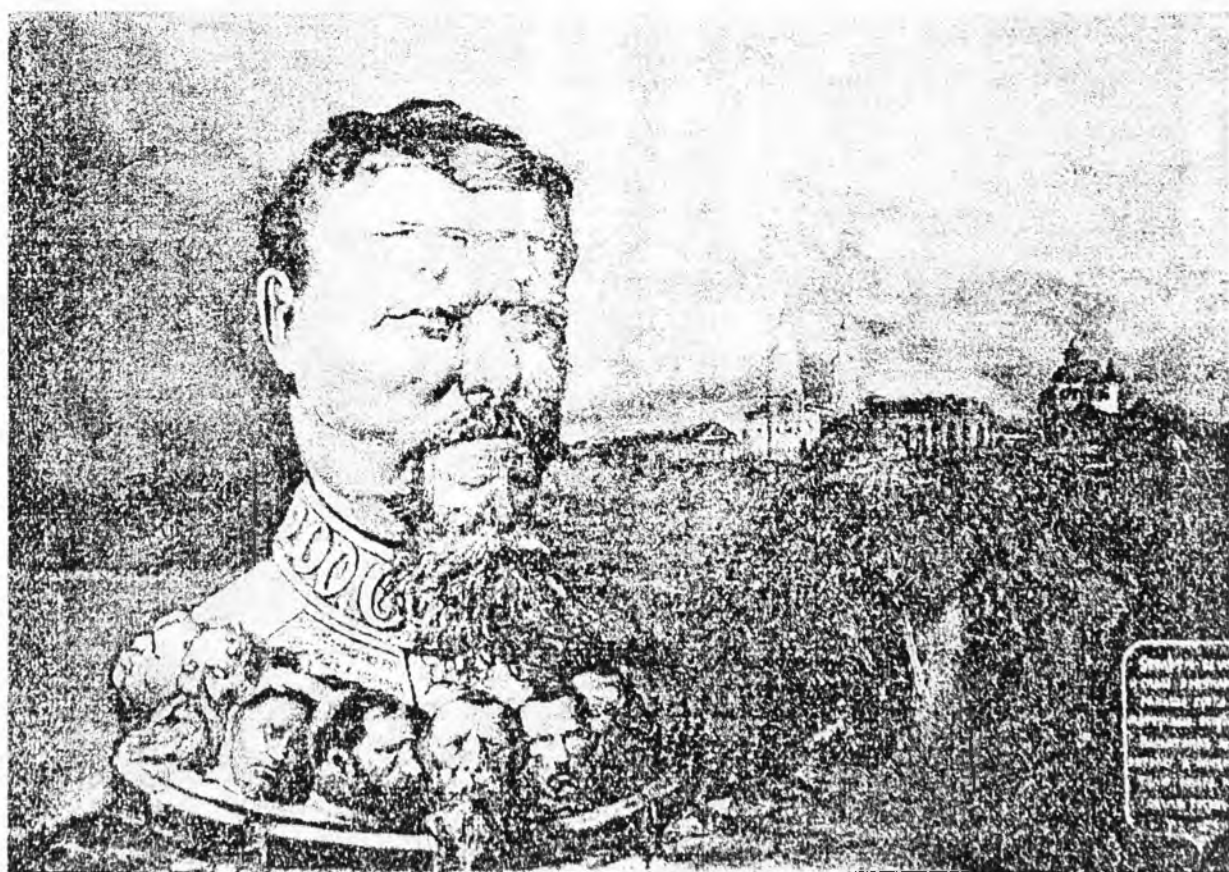
12 лет назад умер Высоцкий, но память о нём жива в моей душе до сего времени. В кратких словах вот его биография.

К.Н.Высоцкий родился в г. Таре, если не ошибаюсь, в





*Статуэтка «Плюшкин» работы Колганова.*

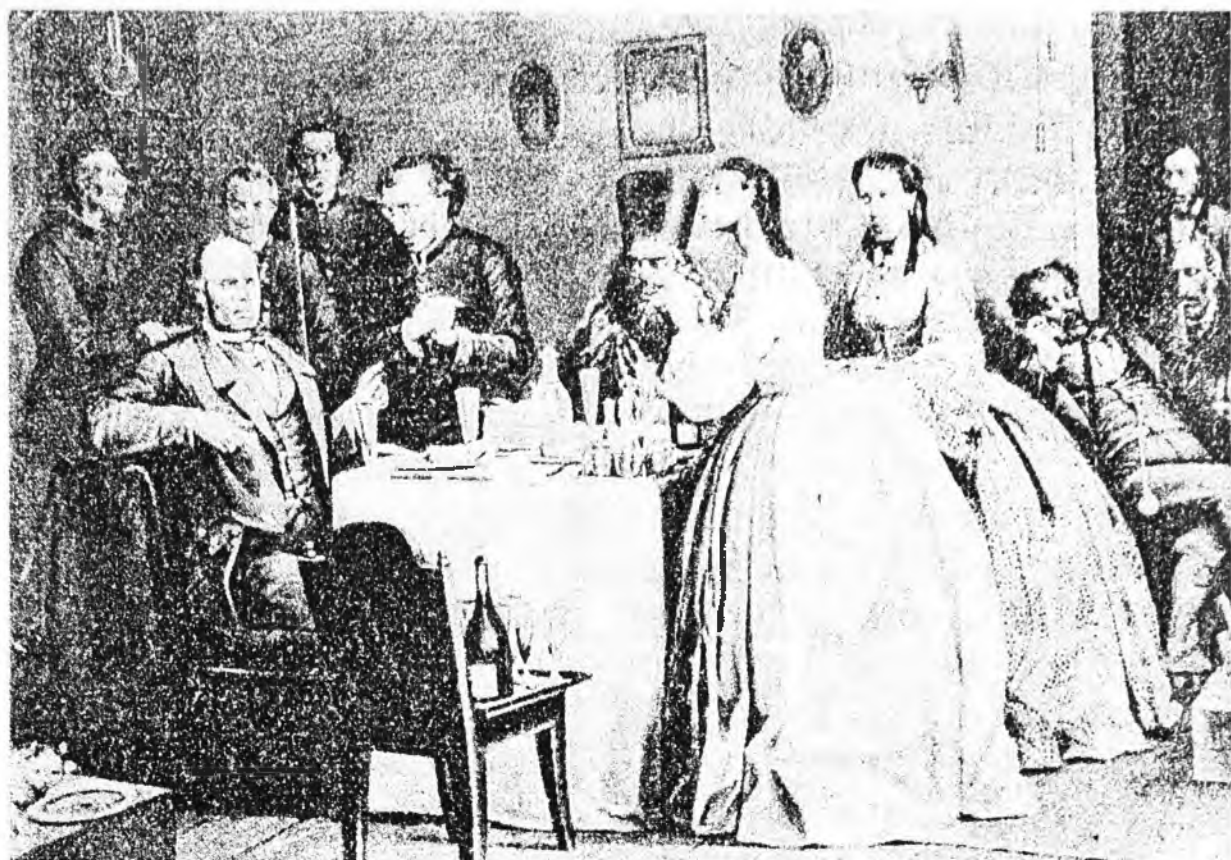


*Карикатуры Колганова.*



1835 г. Отец его был политическим ссыльным с польского восстания 1831 г. Ребёнком Высоцкий рос и воспитывался под руководством образованного отца и под влиянием русской матери, на которой отец его в г. Таре и женился. Как сын лишённого некоторых прав отца, он не мог окончить курса гимназии и вышел лишь с правом учителя народ-





ных училищ и был определён на должность учителя тюменского уездного училища, куда и прибыл, если память мне не изменяет, в 1857 году. С тех пор до самой смерти (1887) К.Н.Высоцкий оставался в Тюмени сначала учителем, а потом, по выходе в невольную отставку, занимался воспитанием детей в частных домах, как, например, Канонникова, Иконникова и других. Некоторые из его учеников занимают теперь видное положение и с благодарностью вспоминают редкое умение покойного привязать к себе детей и повлиять на их развитие благотворно. Потом он заводил фотографию, типографию, переплётную и делал попытку издавать местную газету. При скудных средствах в новых делах, которые в первое время требовали громадного труда, энергии и терпения, Высокий почувствовал наконец, что силы его надломлены, вера в успех истощается и ум его, «свечом» светивший для всех тюменцев, начинает слабеть и погасать. «Ходячая гуманность», как называли в шутку Высоцкого, начала изнемогать, и он окончил земную жизнь, брошенный и забытый многими из тех, которые прежде не находили слов, какими могли бы достаточно характеризовать высокую и светлую личность покойного.

Печальна судьба наших самородков! Личность Высоцкого только лишней раз подтверждает этот приговор. Покойный носил польскую фамилию, но был на самом деле глубоко русским человеком, со всеми свойствами богато одарённой личности, и ни один человек, сколько-нибудь выходящий из обыденного уровня в Тюмени, не миновал обаяния его бесед, не обошёл его скромной квартиры. Покойный Колганов души не чаял в Высоцком, и всякая новая идея его характерных карикатур воплощалась в образы и принимала своё реальное выражение чаще всего в мастерской или кабинете покойного и уже потом ходила по рукам всего города. Только Высоцкий в те времена в Тюмени умел и мог заставить понять, что можно уважать даже врагов наших, что при всяком споре терпеливо должно выслушивать доводы и возражения противника, и только он мог с восторгом показывать всем ядовитые карикатуры на самого себя, нарисованные Колгановым, где он фигурировал то в образе Дон-Кихота, то в виде одного из семерых в стихотворении Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»\*.

Под конец жизни под гнётом разных обстоятельств, о которых ещё рано говорить, Высоцкий ослабел духом и умер, немногими оплаканный, а большинством забытый и даже осмеянный. Но семена добра и гуманности, в лучшую пору его жизни им посеянные, не пропадут бесследно в Тюмени и рано или поздно дадут свой плод. Помянем же его за это добрым словом.

Мир праху твоему, человек-учитель!

Когда в 1890 г. я посетил на кладбище в Тюмени могилу Высоцкого, на которой не было ни памятника, ни креста, у меня как-то невольно вырвались такие сетования сердца:

*Здесь твоя могила, бедный мой Высоцкий!  
Ровно всё и гладко, нет креста, кургана,  
Что у всех умерших памятником служит.  
Вот следы поляны, вот следы обвала  
Той земли холодной, где ты похоронен.*

---

\* Выше помещены 4 карикатуры Колганова, одна из которых, очевидно, изображает Высоцкого. К сожалению, покойный Николай Мартемьянович не успел объяснить мне сюжетов остальных; на кучке фотографий, снятых с этих рисунков, стоит только: «Карикатуры Колганова». *Изд.*





*Бюст К.Н.Высоцкого работы Колганова.*

*Рядом две могилы двух внучат твоих же,  
Ласкою согретых, в надписи отцовской,  
Что блестит стихами на кресте могильном.  
Где же след любви горячей на твоей могиле,  
Бедный мой Высоцкий! Нет, следа не видно!  
Крест не осеняет впадину могилы!  
Насыпи-кургана с зеленью дерновой,  
Памятника-камня с надписью любовной,  
Нет тебя по смерти! Точно ты и не жил;  
Точно людям бедным мира не поведал,  
Правды не посеял. Где же, Боже правый,  
Плод любви высокой, сеянной покойным  
Словом, делом, лаской, жизненным примером,  
Чтобы люди жили с миром и любовью?  
Пало ли то семя в каменную почву,  
Ветер ли рассеял, солнцем ли спалило?  
Глухо только всюду, мрачно и угрюмо.  
Бедный мой Высоцкий!*

Помещаю здесь снимок с прекрасного бюста Высоцкого, вылепленного Колгановым.

## XVIII. Полуразорение. Процесс с Подаруевым

От печальных воспоминаний об умерших вернёмся опять к рассказу о моей жизни и деятельности.

В Тюмени проживал фельдшер Загорский, иноверец, принявший православие и женившийся на русской, он торговал в лавке гостиного двора мануфактурными товарами. Человек он был довольно странного, порой даже наивного характера, но искренний и убеждённый, доказывавший всюду, что торговля — «это полудело», а фабричное и ремесленное производства — «вот настоящее дело». Он постоянно возился с лабораторными опытами и доказывал, как из пустых и малоценных отбросов можно получать химическим путём ценные фабрикаты. Так у него постепенно возникали свечной, мыловаренный и клееваренный заводы, но шли они вяло, как-то медленно развиваясь, происходило это, по его словам, потому, что денежных средств не хватало на своевременную заготовку материалов. Я несколько лет кряду покупал у Загорского мездриный клей для перепродажи в Москве и мало-помалу превратился в его компаньона по эксплуатации крахмального завода и выработке химического продукта — синь-кали. В это время я имел уже своего капитала около 70000 рублей и позволял себе роскошь посмотреть Россию пошире, отлучаясь из Тюмени на более или менее продолжительное время. Я даже сделал заграничное путешествие. Однажды, вернувшись в Тюмень, я с ужасом узнал, что Загорский забрал у моего доверенного денег на развитие заводов — половину моего состояния, а фабрикаты его, ко мне поступавшие, были дурно выработаны, неоднородного характера, а посему расценивались с убытком. А тут ещё партия крахмала в 6 тысяч пудов, отправленная в Нижегородскую ярмарку, потерпела на Каме аварию и погибла совсем. Страхования товаров в пути в то

время ещё не существовало, и я потерял на этом крахма-  
ле половину его стоимости, и то благодаря тому только,  
что другую половину убытка принял на себя пароходов-  
ладелец, покойный Колчин. После этого и остальные дела  
мои стали приходить в трудное, почти критическое поло-  
жение. Те лица и учреждения, которые до сих пор давали  
мне свободно доверие и кредит, быстро изменили отно-  
шение, лишив меня и того и другого. Я сделался мнитель-  
ным, раздражительным и считал себя чуть ли не вконец  
разорённым. Аппетита и сна не было, я ходил целые ночи  
напролёт из комнаты в комнату, не находя себе покоя и  
выхода из гнетущей тоски. Не боязнь разориться и стать  
снова бедняком сокрушала меня, а страдало больше всего  
моё самолюбие.

«Как, — думал я, — сделать такую непростительную  
ошибку, доверить больше половины своего состояния в  
чужие руки? Где же были мой разум и опытность, такими  
тяжёлыми уроками приобретённые?».

В эти печальнейшие дни в моей жизни приезжает раз  
ко мне покойный Ф.С.Колмогоров и прямо начинает с  
половицы:

— «Кто капитал потерял — половину потерял; веру в  
себя потерял — всё потерял». Что вы киснете и сидите  
дома без сна и пищи? — продолжал он. — Посмотрите на  
себя, на что вы стали похожи. Ну, потерял деньги, что  
же делать — работай снова и наживай их опять. Нужны  
деньги? Вот я тебе даю 10000 рублей без расписки: бери  
и работай. Возвратишь их мне, когда сможешь. Сбрось  
только с себя горе и апатию, а остальное всё дело по-  
правимое.

Такое сочувствие в трудную минуту жизни подейство-  
вало на меня освежающе. Я встрепенулся и, собрав все  
силы и всю энергию, принялся распутывать узел моих дел,  
ликвидируя затеянное предприятие, увлекшее меня даль-  
ше пределов благоразумия. Ликвидация химического за-  
вода повела к тому, что я решил покончить и остальные  
дела мои в Тюмени: продать дом, имущество, наличные  
товары и переехать на постоянное жительство в Москву.  
Вся первая половина 1872 года ушла на эту ликвидацию,  
и я остался с остатком капитала в 40000 р. вместо 70000 р.,  
которые я имел раньше.

Мне теперь 62 года. Со дня описанной здесь сцены протекло уже 27 лет, но я и сейчас ещё с горячей благодарностью вспоминаю великодушную помощь покойного Колмогорова.

В начале последнего года моей жизни в Тюмени (1872) в одной столичной газете была напечатана моя корреспонденция, касавшаяся местного городского водопровода, устроенного г. Подаруевым. Данные для этой корреспонденции были взяты верные, но, как часто бывает в подобных случаях, в ней не было похвал лицу, строившему водопровод. Г-н Подаруев подал просьбу в суд, обвиняя меня по 1039 ст. Цензурного Устава. Я оканчивал уже в это время ликвидацию моих дел и должен был через неделю выехать из Тюмени. Но для такого влиятельного человека, каким тогда был г-н Подаруев, старый окружной суд сделал всё, что мог: на второй же день суд предписал следователю произвести немедленное следствие, а этот последний в тот же день прислал мне повестку с приглашением явиться к нему для дачи показания. Когда я по первой повестке не явился, то на другой день мне была вручена вторая повестка, с угрозой штрафа и ареста в случае моей неявки. Пришлось задуматься над своим положением, потому что выставленная статья закона, меня карающая, грозила восемью месяцами тюремного заключения. Местный адвокат, к которому я обратился за советом, ответил, что надобно покориться обстоятельствам и явиться к судебному следователю для дачи показания. Выручил меня К.Н.Высоцкий, захвативший ко мне с книгою Мсерианца «Законы о печати». Читая и пересматривая эту книгу, мы наткнулись на статью закона, гласившую, что в старых судебных учреждениях Сибири по делам печати первою инстанцией суда считается не окружной суд (уездный), а губернский. Прочитав это, мы ободрились и решили ждать третьей повестки, и тогда уже я должен был явиться к следователю с заготовленным заранее отзывом о неподсудности моего дела первой степени суда. Этим выигрывалась целая неделя времени, пока Подаруев прекратит начатое дело в Тюменском окружном суде и подаст новое прошение в Тобольский губернский суд, находящийся от Тюмени в 250 верстах расстояния. Я же через 3—4 дня уеду из Тюмени на жительство в Москву, и ответственность моя будет, может быть, по



месту моего пребывания, где уже введены новые судебные уставы.

Получив последнюю, третью повестку, я с отзывом в кармане явился к судебному следователю в его квартиру.

— Вот и хорошо, — сказал следователь, бывший учитель уездного училища и близкий человек Подаруева. — А то я по закону должен был сообщить полиции о приводе вас для дачи показания. Теперь дела только на один час времени. Вот вам лист вопросных пунктов, на которые вы напишете ваши ответы.

Я взял лист, перечитал эти пункты и возвратил его следователю.

— Ну что же вы? — заметил он строго. — Берите перо и пишите!

— Прежде нежели писать ответы, — отозвался я официально, — не будет ли угодно вашему благородию прочесть вот эту бумагу?

— Ну что там, какая ещё бумага? Дело ясное. Вы не выйдете отсюда, пока не напишете ответов на вопросные пункты, или будете арестованы как ослушник.

— Всё-таки я прошу вас прочесть её прежде, нежели грозить мне арестом.

Следователь неохотно взял мой отзыв, и по мере того, как читал, на лице его изображалось крайнее удивление. Он не мог спокойно усидеть на стуле, взволнованно вскочил и схватил том законов. Статья, освобождающая меня от подсудности Тюменскому окружному суду, тотчас же нашлась, — я видел, как он перечитывал её не один раз, а потом сказал:

— Это новое обстоятельство. Я должен доложить о нём суду и губернатору. А теперь пока ответов ваших я не требую.

Я раскланялся и ушёл.

Через три дня после этого я ехал уже на почтовых в Пермь, а оттуда на пароходе и по железной дороге в Москву.

Подаруев, однако, не бросил дела и подал на меня прошение в Тобольский губернский суд, который и затребовал от меня ответов уже из Москвы, через полицию и судебного следователя Тверской части. Дело было в губернском суде рассмотрено и решено с присуждением меня к денежному штрафу.

## ХІХ. Первые шаги в Москве

Так закончилась моя сибирская жизнь, и началась в Москве жизнь новая, при других условиях и обстоятельствах. Здесь я доживаю уже третий десяток лет и думаю, что до смерти моей успею ещё рассказать и про эту остальную жизнь и деятельность так же правдиво, как я рассказывал про мою предыдущую жизнь.

Я переехал в Москву на постоянное жительство в 1872 году. Москву я знал по прежним посещениям, но только, так сказать, с высоты птичьего полёта, знал её чисто внешним образом, без внутреннего быта и отношений. Приезжая в столицу на неделю, на две, я останавливался в каком-нибудь подворье, ходил по старым закоулкам знаменитых московских рядов для закупки товаров, заглядывал порой в трактиры, бывал в театре, — но как Москва внутренне жила, какие цели преследовала и какие употребляла приёмы, я знал лишь поверхностно, по догадкам и отрывочным впечатлениям.

Устраиваясь здесь на оседлую жизнь, приходилось начинать торговую науку чуть не с азов, потому что сибирские приёмы и отношения были в Москве непрактичны, а иной раз прямо и невозможны. В Тюмени, бывало, нужны деньги на неделю, на две, близкий человек одолжит их, если только они у него есть, на слово, без всякого документа и расписки. Наоборот, если есть свободные деньги у меня, я также дам их на время близкому человеку. И деньги всегда возвращались в назначенный срок сполна, по крайней мере в нашем кружке. Мне не помнится случая, где бы взаимное одолжение породило какой-либо спор и неудовольствие. Здесь же господствовали совсем иные обычаи и нравы. Я мог давать деньги, одолжая другого, но я всегда рисковал их потерять. Если же понадобился бы мне заём, хотя бы на два-три дня, никто мне денег не давал, уверяя, что их или у него нет, или требовал документы и проценты. В первое время такие отношения мне

казались жёсткими и малочеловечными, и пока я с ними не освоился на практике, потеряв за несколькими торговцами мою ссуду, до тех пор я даже не считал их возможными. Суровые уроки в среде московского промышленного класса, однако ж, скоро научили меня уму-разуму. Я привёз с собой из Сибири капитала, как уже было сказано, около 40 тыс. р. и, практикуя в Москве вторую половину 1872 г., т.е. покупая, продавая, как свои, так и комиссионные товары, я увидел к началу нового года, что прожил и потерял за должниками не только всю заработанную в это время прибыль от полугодичной деятельности, но и потерял до 5 т. р. из основного капитала. Получив этот разительный урок, я стал, конечно, осторожнее, сдержаннее, так сказать, тоже себе на уме, но также и потерял значительную долю доверия к людям, которая была воспитана во мне сибирской жизнью и существовавшими там между людьми отношениями.

Бывало, в Тюмени понадобились деньги экстренно, по какому-нибудь случаю, ну хоть на покупку новой партии товара, случайно подвернувшейся. Покупаешь её смело, зная, что друзья-приятели дадут тебе деньги во всякое время. В подобных случаях идёшь, бывало, к Канонникову, Лагину, Глазунову и начинаешь разговор не просьбою об одолжении денег, а прямо вопросом:

— Есть у тебя деньги?

— Есть, — отвечает Лагин.

— Ну так дай мне на неделю столько-то. Я купил выгодно то-то.

— Хорошо.

Деньги выдаются, и потом, когда возвращаются, просишь только Лагина или Глазунова зачеркнуть запись в книге, чтобы как-нибудь потом не возникло недоразумения.

В Москве же я встретил совсем другие отношения: здесь на первом плане, заглушая доброжелательство к другому, стояла сухая личная выгода, требовавшая всегда вексель и процент. Быть может, в больших промышленных центрах такие отношения и неизбежны, но в первое время они казались мне неприятными и уж очень эгоистичными. Небольшой кружок сибиряков, с которыми я мало-помалу знакомился в Москве, усваивал уже в значительной сте-

пени московские приёмы, да, по правде сказать, и не мог поступать иначе, потому что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Скоро я понял, что сибирская система доверия здесь, в Москве, решительно неприменима, и если я не хочу постепенно разориться, то надо чутко сторожить всякое поползновение на мой карман московского промышленного человека. Ввиду этого мне пришлось в первые три-четыре года усиленно работать над приобретением клиентов-«доверителей», присылавших свои товары для продажи, помимо своей собственной торговли, сырьевыми сибирскими товарами. Во избежание лишних расходов я не имел сначала ни приказчика, ни артельщика, а должен был принимать и сдавать товары сам, в тех местах, где я их покупал и продавал. В провинции лавка, дом, склад всегда близко и под руками: сходить или съездить в склад времени требуется мало. Здесь я жил в Благовещенском переулке, а склады находились на Кокоревском подворье и в Северном обществе, по крайней мере в 3—5 верстах расстояния. Показать ли кому-нибудь товар, надо тратить времени два, а то и три часа; потолковать ли с продавцом или покупателем, надобно идти в трактир и, хочешь не хочешь, пить с ним чай, что также отнимало значительное время. Затем, в те годы, о которых ведётся мой рассказ, биржа собиралась между 5 и 6 часами вечера; выходило так, что уйдя с квартиры в 8—9 часов утра, я возвращался домой к 7 часам вечера. После обеда остальное время поглощалось письменными и счётными занятиями. Таким образом, все 6 дней недели с раннего утра до позднего вечера я работал без отдыха и покоя.

Но зато к исходу второго года, когда я свёл баланс моих счетов, я увидел, что заработал чистой пользы за всеми издержками на прожитие что-то около 5 т. р. Это поставило меня на ноги твёрдо, и я решил на будущее время придерживаться правила: проживать не больше двух третей того, что в течение года наживаю.

Постепенно усиливая покупку товаров в Сибири и продажу их в Москве и Нижегородской ярмарке за свой счёт, я в то же время заботился и успевал приобретать клиентов, называемых на торговом языке доверителями, посылавшими мне свои товары для продажи их в Москве и на

ярмарке. Так называемая комиссионная продажа чужих товаров оплачивалась вознаграждением от 1 до 2 процентов, смотря по их характеру и сумме вырученных денег. За шерсть, сукно, жировые продукты платилось 2 процента; за кожевенные товары — 1—2 процента; за чай — 1 процент.



## XX. Ирбит. Зимняя дорога

Каждую Ирбитскую ярмарку, происходящую в течение февраля месяца, я должен был приезжать туда, так как в этой ярмарке собирались все мои клиенты, с которыми личное объяснение устанавливало более прочное доверие и давало лучшие результаты, чем обыкновенная переписка почтой. Устраивая «комиссионные» операции для Москвы, я в то же время покупал на ярмарке товары и для себя, выбирая, конечно, такие, от которых с большей вероятностью предвиделась в ближайшее время прибыль. В те времена езда в Ирбит сопряжена была с немалыми затруднениями и требовала больше месяца времени. Нужно было ехать по железной дороге до Нижнего Новгорода, а оттуда, через Казань и Пермь, на лошадях, безостановочно дни и ночи, одетым в полушубок, доху и валенки; выходить из повозки только на станциях, во время перемены лошадей, чтобы обогреться или выпить чаю и закусить... Морозы бывали иногда большие, особенно при северных ветрах и вьюгах, и тогда приходилось выносить особенно тяжёлые неудобства и лишения. Иной раз ветер свищет и шумит неистовой метелью; полозья характерно скрипят по снегу; повозка ныряет по ухабам, то поднимаясь на вершины между ними, то тупым толчком падая на дно, а ты, лёжа в ней, вторишь этим движениям, принаравливаясь только, как бы удобнее ослаблять удары саней руками и ногами. Застегнуть от вьюги фартуком повозку считалось во многих случаях опасным, потому что где-нибудь на косогоре при быстрой езде сани могли опрокинуться, и тогда пассажир рисковал очутиться под тяжестью багажа и чемоданов, могущих задушить до смерти. Я знал подобный случай, бывший с покойным Решетниковым. Это произошло в поездку его из Тюмени в Ирбит. Казанская хорошая кибитка была Решетниковым застёгнута наглухо; он и спутник его спали. И вот раз, спускаясь с горы, лошади понесли, ямщик на раскате оплошал, и повозка моментально

перевернулась вверх полозьями. Багаж и подушки давили и душили путников, не давая возможности освободиться, несмотря ни на какие усилия. Ямщик, выкинутый с козел, не был придавлен, но он не мог своими силами ни отвалить повозки, ни отстегнуть кожаного фартука, застёгнутого со всех сторон на крепкие медные кнопки. И только благодаря случайно подъехавшим другим пассажирам, которые помогли перевернуть опрокинувшуюся повозку, Решетников и спутник его остались живы. Они были уже без чувств; их вытащили полумёртвыми из экипажа и положили на снег, пока они опомнились и пришли в себя.

В дурную погоду больше всех приходилось выносить холод и неудобство бедному ямщику, примостившемуся на козлах, боком к лошадям. Ему нужно было в одно и то же время управлять тройкою лошадей, держаться на скользком сиденьи передка повозки, получать резкие толчки в ухабах и не иметь защиты от бурана. Поистине профессия этих ямщиков была порою прямо каторжной работой.

\* \* \*

Но временами выдавались периоды езды на тройке лошадей среди зимнего пейзажа такой несравненной красоты и поэзии, каких жителю большого города нельзя ни вообразить, ни почувствовать. Для людей, живущих в городе, не видавших зимнего пейзажа в широком поле, это прямо нечто неведомое и недостижимое.

Ночь. Ветер стих. Ухабы миновали. Луна светит ярко. Необозримое поле снежной равнины блестит и искрится мириадами светящихся точек. Дорога стелется матовой полосой, теряясь вдаль, среди панорамы волшебных декораций: стена леса медленно плывёт вам навстречу. Лошади крупной рысью дружно несутся вперед, мотая головами и похрапывая. Колокольчик под дугой гудит переливами тонов и замирает, теряясь в морозном, тихом воздухе. Ямщик лихо встрепенётся; ловким жестом головы сдвинет шапку набекрень и крикнет ласково на тройку:

— Эй вы, родимые!

И затянет одну из тех песен русского народа, как бы вторя окружающему, которая сладко и в то же время до болезненности жутко отдаётся в душе вашей.

— Эй вы, родимые!

Прерывая песню, крикнет он на лошадей опять и снова продолжает выводить свои заунывные, хватающие за сердце рулады.

Вы жадно смотрите на божий мир, как будто что-то действительно волшебное проходит перед вашими глазами; вы чутко вслушиваетесь в звуки песни и тоны колокольчика, и ваша мысль, переходя воспоминаниями от одной картины к другой, погружается в сладкие мечты о детстве, юности, молодости...

— Эй вы, молодчики! — неожиданно крикнет совсем другим тоном ямщик и подберёт вожжи. Лошади рванутся — коренная иноходью, пристяжные галопом — и понесутся вперёд. Колокольчик громче зазвенит и на момент даже замолкнет и перестанет переливаться. Кибитка дробью быстро застучит по выбитым обозами ступеням. Вы очнётесь. На вас силуэтами надвигается лес всё ближе и ближе, пока дорога совсем не спрячется между двух стен берёз и елей. На вас глянет новая картина зимнего пейзажа. Все деревья нарядились снегом в странные фантастические уборы и стали похожими то на пирамиды, то на причудливые киоски. Снег шапками лежит на ветках; иней распушил в сказочный наряд стволы и сучья, а месяц осветил их своею несравненною игрой с бесчисленным количеством теней и полутонов. Экипаж и лошади то прячутся под эту тень, то выдвигаются на прогалины света, разнося по лесу смешанное эхо шума, на котором, как на фоне, выделяются то окрик ямщика, то разный тон валдайских колокольчиков...

Какой поэзией, какой волшебной сказкой веет от одного воспоминания о подобных впечатлениях!

\* \* \*

Окончив дела в Ирбите, я как-то раз возвращался в Москву около 10 марта. Между Нижним и Казанью дорога пролегала по льду Волги. Почтовые станции так называемой «вольной почты» устроены были прямо на правом берегу реки. Стояла тёплая погода, и во многих местах появились «забережники», но лёд был ещё крепкий, и езда по нему в зимнем экипаже представляла сущее наслаждение. Но вот, подъезжая к одной из станций, за какую-нибудь версту расстояния, мы заметили, что на льду появилась вода, снача-

ла немного, а потом чем дальше, тем всё больше и больше. Ямщик пустил лошадей крупной рысью, полагая, что через 20—30 сажень расстояния воды этой не будет. Но чем дальше мы подвигались вперед, тем вода становилась глубже, и вдруг мы увидели, что слева — из какой-то речки — вода вливается на лёд громадным волнующимся потоком. Ямщик направил лошадей к берегу, прямо к станции, но глубина воды стала доходить до целого аршина и вливалась в нашу повозку. Мы выскочили из экипажа и примостились на облучках его. Лошади едва брели водою по самые животы, а мы только и ждали, что вот-вот они провалятся под лёд. Минуты были страшные, и мы едва выбрались на отлогость берега, где устроена была зимняя почтовая станция. Весь наш багаж оказался подмоченным, и мы должны были разбирать его и просушивать на станции.

Припоминается мне также ещё моя поездка зимою из Тюмени в Омск. Я как-то ехал туда экстренно «на перекладных». Багажа со мной было мало, и на паре лошадей через так называемых «дружков» ямщины я проехал расстояние 640 вёрст в 52 часа времени. Прогоны платились 4 копейки с версты за пару лошадей, а выдавалось ямщикам на водку не больше 20 коп. каждому. Такая быстрота езды здесь, в Центральной России, нигде немыслима, но в Сибири она считалась заурядной; там нередко ездили из Тюмени в Томск — 1500 вёрст пути — в 6 и даже 5½ суток. Дорогой они два раза в сутки пили на станциях чай и два раза столовали.

Длинная безостановочная езда на лошадях днём и ночью в Сибири заставила изобретать приспособления как для удобства пассажира в экипаже, его одежды, так и дорожных запасов для питания. Зимняя сибирская повозка несколько иная, чем русская почтовая кибитка, в которой имеется слишком примитивная защита от ветра и непогоды. Повозка в Сибири более длинна, с иным изгибом бортов и лучше защищается фартуком и козырьком от ветра, а «отводами» — от опрокидываний набок, чем русская повозка. Сибирские доха, валенки, с наушниками шапка и киргизская кочьма — надежные защитники от холода и буранов. «Мороженые щи», «мороженые пельмени» — такие в дороге удобные консервы, что едва ли можно подыскать им равные — по удобству, питательно-

сти и легкости перевозки зимою. Проехав дальнюю дорогу, вы утомились и проголодались; вам хочется поесть чего-нибудь горячего и питательного. Но вы дорожите временем; вам некогда ожидать на станции, пока хозяйка дома приготовит что-нибудь съестное и чаще всего то, чего вы не любите — мало вкусное и привлекательное. В этих случаях сибирскими дорожными запасами зимою вам нужны только горячая печь или самовар с кипящей водою. Отрубленный кусок «мороженных шей», горсть «мороженных пельменей», положенные в кипяток, через 10 минут дают вкусное горячее кушанье, а через вторые 10 минут вы уже закусили и сидите в экипаже, готовые ехать дальше.

Одной зимой я ехал как-то с покойным Глазуновым из Москвы в Ирбит новым направлением: Нижний, Вятка, Верхотурье, Ирбит. В Н.-Новгороде мы купили казанскую повозку с двойными широкими отводами, ввиду того, что придётся проезжать северную местностью, полупросёлочными дорогами, среди глубоких снегов Вятской губернии. Дорогою, вне большого тракта, нам пришлось скоро убедиться, в особенности в бедных чувашских селениях, что порою нет у ямщика ни крынки молока, ни самовара. Поселки чувашей были большей частью плохо обустроенные, с грязными и неудобными избами. Зато татарские деревни отличались зажиточностью и поразительной чистотой, казавшеюся даже нам, сибирякам, удивительною. Татарские хозяйки в своих домах не мыли горячей водою с песком лестниц, полов и простенков между окнами, как делается часто в Западной Сибири, но на дворе, в избе, у очага соблюдались ими образцовая чистота и опрятность.

В этих захолустьях мы в первый раз увидели, как впрягают в повозки трёх лошадей цугом, или гусем: коренную — в оглобли, другую — в постромки, привязанные «к запрегу» первой, а третью — в новые постромки, впереди второй. Для каждой лошади, проходя через дугу, проводятся особые вожжи. У ямщика на короткой рукоятке висит через плечо длинный, волочащийся по дороге бич, достающий переднюю лошадь, которым он владеет мастерски и при этом, щелкая, производит особый звук хлопущки. Передовая лошадь всегда приучена хорошо справляться со своей ролью — задерживаться при спуске и подъёме в ухабах и



делать большие радиусы в поворотах. Самая крупная неприятность, какая может быть при такой езде, — это встреча с такими же пассажирами или встреча с каким-нибудь обозом. Лошади тогда неохотно сворачивают в рыхлый снег возле дороги, где зачастую должны проваливаться по уши. Повозка накрывается набок, а иногда и застревает в снегу, откуда приходится вытаскивать её на дорогу с большой вознёй и хлопотами. Результатом в подобных случаях всегда является необходимость вылезать из повозки, помогать ямщику вытаскивать её на дорогу и слушать его перебранку с встречными ямщиками и пассажирами.

Население Вятской губернии мне показалось гораздо зажиточнее и домовитее населения смежных губерний — Казанской и Пермской, несмотря на то, что местность сама по себе у первой севернее и природа угрюмее. Видимо, каждый поселянин здесь был прежде всего пахарь, а потом ремесленник, и это сказывалось на внешности его построек, внутренности дома и всего домашнего обихода, до крепкого дублёного тулупа, сооружённого из домашних овчин включительно.

Города Вятка, Слободской и некоторые сёла служат центрами кожевенной и спичечной промышленности. Первый промысел существует в Вятке с незапамятных времён, а спичечное производство занесено в Слободской впервые покойным Ворожцовым довольно оригинальным способом. И.А.Ворожцов был сыном местного купца, задумавшим в своей лесной губернии ввести новый вид промышленности, но никак не мог найти способа успешно разрешить задуманную задачу. Преследуя свою идею, он отправляется в Варшаву и нанимается простым рабочим на спичечную фабрику для практического изучения всего процесса выработки нового фабриката. Там он проработал целых полгода и вернулся домой хорошим работником, мастером и хозяином. Фабрика его в Слободском, первая по времени, пошла с самого же начала удачно и скоро заняла видное место не только в Вятской губернии, но на всём Урале и в Сибири, служа рассадником таких же фабрик как у себя в краю, так и в других местах по направлению на восток, вплоть до самого Иркутска.

Дорогою из Вятки в Ирбит на перевале Северного Уральского хребта мы увидели поистине чудные виды

природы. Я тогда в первый раз в жизни любовался на горные вершины, известные у местных жителей под именем «сопок»; на горные перевалы, откуда открывались далёкие виды и перспективы. В особенности поразили меня своим диким величием берега р. Чусовой, по льду которой мы ехали на протяжении целых 20-ти вёрст. Тут смотрели мы, что называется, во все глаза и не могли вдоволь налюбоваться на виды скалистых берегов и так называемых «камней», утёсов, один другого выше, один другого причудливее по форме и цвету. Рассказы о реке Чусовой, когда она весной бушует и стремительно несётся по каменному ложу, в образных словах нашего ямщика, придавали ей страшное и почти мистическое значение.

— Вон там, подалее, за этим камнем, — говорил словоохотливый ямщик, — есть «камень Шило», а там, ещё подалее, — «два брата Разбойники», ну, уж я вам скажу, такие-то каждую весну душегубцы, что не приведи Господь и подплывать к ним. Наша Чусовая теперь, зимой, какая она кажется тихая да добрая, а вот как только откроется весна, так и понесётся она, как бешеная лошадь, — по 20 вёрст в час.

— Неужели весной 20 вёрст в час течёт ваша Чусовая? — спрашиваем мы с удивлением.

— Что 20 вёрст! Есть места, где она бьёт от «шифера» на камень, там, пожалуй, и все 30 вёрст махает. Ведь что бывало-то тут вёснами, когда спускаются барки с чугуном и железом! Когда я был ещё маленький, в то время заводов ещё не делали, камней порохом не взрывали. И вот, помню, на самую Пасху спустили от заводов караван с барками. Стоят люди на барках, крестятся и молятся, а их несёт водою сломя голову. Оплошал ли «поносный» или так им на роду было написано, Бог ведает, только первая барка налетела прямо на «камень Шило» — и поминай, как звали, и людей и барку! Вслед за ней — другая барка, третья, четвёртая — и весь караван в 40 барок разбился вдребезги, а люди — рабочие, матросы, водоливы — чуть не все утонули и погибли! Тут спасения не ищи. Вода около проклятого камня так крутит, что — ни Боже мой — никак на берег не выплывешь! Вот и погибли в этот час ни много ни мало, а 500 христианских душ!

## XXI. Моя торговля в Германии.

### Валяльщики

Приезжая из Москвы в Нижегородскую ярмарку для торговли сырыми сибирскими продуктами, я нанимал чужую лавку, где бы можно было жить целый месяц времени и иметь склад для некоторых сортов товаров. Специальностью моей тогда была торговля, главным образом коровьей шерстью во всех её сортах и видах. Покупателями у меня постоянным контингентом состояли мастера валеных изделий Нижегородской и Костромской губерний. Бывали годы, когда торговля подобными продуктами давала большие барыши, а бывали и такие годы, когда цена им неожиданно понижалась, и приходилось мириться с неизбежными убытками. В такие годы надо было иметь постоянные склады в Нижнем Новгороде и постоянного приказчика, проживающего там. Значительные остатки шерсти вместе с расширением дел, повторяясь из года в год, навели меня на мысль устроить войлочную фабрику в Арзамасе, которая ведётся мною и по сие время. Она устроена была сначала как ручная мастерская для выделки незатейливых арзамасских «полостей», большей частью в зависимости от того, какие находились от Нижегородской ярмарки остатки шерсти. Но мало-помалу требование изделий стало разнообразнее, появился спрос на специальные сорта даже в Германии. Это вызвало мою поездку в Берлин и взятие поставки войлоков для немецкого потребительного рынка. Ручная работа войлоков представляла сама по себе многие неудобства и пороки в самом фабрикате. Поэтому я пришёл к мысли поставить на фабрике паровой двигатель с чесальными машинами и прочими приспособлениями. Дело, казалось, обставлено было в этом отношении удовлетворительно. Войлоки выходили хорошего качества, но когда к концу отчётного года наработали их много и подсчитали стоимость, то оказалось,

что цена им выходила настолько высокою, что фабрика дала убыток. Два года я терпел от убытка, пока не решил машины распродать и снова перейти на способ ручной выработки. Так продолжалось это около 7—8 лет, пока вновь изобретённые машины для войлочного производства опять меня не соблазнили. На этот раз я пошёл с большей опытностью, ставя только лучшие и новые машины. Результат оказался как раз противный первому неудачному опыту. В то время машины приносили убыток, на этот раз они приносят прибыль, и что главное всего: избавляют рабочих от трудной и вредной для здоровья работы — битья шерсти «на лучках».

Для продажи войлоков за границу мне приходилось часто ездить в Германию и нередко отдавать там фабрикаты на комиссию, а потом, когда это в конце концов вышло неудачно, устроить в Берлине свою личную постоянную торговлю; к сожалению, мой выбор доверенного также оказался неудачным, и, ликвидируя там дело, я должен был потерять за ним около 10 000 рублей.

Характерный случай произошёл со мной в Берлине при открытии торговли на моё имя. Для этого требовалось предварительное заявление у городского судьи: кто я такой и какую я даю «прокуру» моему доверенному, как лицу, меня заменяющему. Для этой цели нужно было представить перевод моего купеческого свидетельства с русского языка на немецкий, удостоверенный нашим посольством. Являюсь я с просьбою о переводе документа в канцелярию посольства; мне указывают, что для подобных дел имеется специальный переводчик, живущий в Берлине там-то. Еду к этому переводчику, и он мне заявляет, что перевод будет стоить 50 германских марок. Никакие резоны, что такая цена, не говоря уже о том, что не предусмотрена законом, а просто непомерна дорога, не привели ни к чему. Ввиду же того, что мне надобно было скоро возвращаться в Москву, я решался уплатить 10, 15, даже 20 марок; но переводчик был неумолим и стоял на том, что меньше 50-ти марок не возьмёт. Такое отношение так мне показалось горько и обидно, что я решился обратиться в канцелярию посольства уже с жалобой на переводчика. Но вышло так, что, когда я туда прибыл, канцелярия была закрыта. Что мне оставалось делать в подобном по-

ложении? Посоветовавшись с моим будущим доверенным, я решился обратиться к немецкому судье и рассказать ему про мою неудачу с русским переводчиком. Так я и сделал. Немец-судья, видимо, сердечно отнёсся к моему положению и, покачав укоризненно головою, сказал мне:

— Я не знаю русского языка, и ваш документ, удостоверяющий вашу личность, с формальной стороны без перевода для меня недостаточен, чтобы я мог записать вас в торговый реестр. Но, видя ваше затруднение и веря вашей искренности, я беру на себя ответственность, внося ваше заявление в реестр, и выдаю дозволение на открытие торгового заведения.

Каждый русский может догадаться, как мне горько было почувствовать отсутствие защиты нашего русского посольства и великодушие немецкого судьи.

\* \* \*

Типом покупателей моих на разную шерсть, какую я торгую в Нижегородской ярмарке и Москве, служит, как я уже упоминал, большей частью деревенский ремесленник-валяльщик Костромской, Нижегородской и Ярославской губерний, постоянно расширяющий свои дела и превращающийся, мало-помалу, в зажиточного человека, а потом деревенского «богача», у которого работают сдельно те же крестьяне, живущие в одной с ним деревне или в ближайших посёлках. Каждый из них начинал работать валяную обувь своими руками, как всякий обыденный кустарь, а потом нанимал себе рабочего-помощника, сначала одного, потом двух, трёх и наконец доходил до целой сотни. Некоторые из этих кустарей владеют теперь фабричными заведениями с паровыми двигателями и чесальными барабанами, но почему-то не называют их фабриками, именуя просто мастерскими, «заведениями» или даже заводами. Эти мастерки довольно быстро превращаются в богатых людей, владеющих уже капиталами в сотни тысяч рублей и вырабатывающими ежедневно по 300—500 пар валяных сапогов. В настоящее время первыми из них считаются по капиталам гг. Катюшин, Носков, Копылов и другие, менее богатые, но все-таки с пятками и десятками тысяч рублей основного капитала. Все они, однако ж, когда-то покупали шерсть по одной и по две кипы,



а потом, кредитуясь и расширяя покупку-продажу материала и фабриката, увеличили производство до размеров настоящего времени.

Всякий выдвинувшийся мастерок, большой и малый, закупает шерсть главным образом в Нижегородской ярмарке на годовое производство, а потом, привозя домой и делая смесь разных сортов, раздает её мастерам под именем «мешки» по весу, на определённое количество пар сапог. Мастера эти бьют шерсть «на лучках» для придания ей вида ваты, или сами фабриканты чешут её на машинах, у кого они имеются. Потом у себя «на заводе» закладывают битую или чесаную шерсть «в колпаки», которые, сделав валяным суховалом, отдают уже сторонним «стиракам» для валки этих колпаков с горячей водою в настоящий вид и меру обуви.

Как всегда наиболее удачных результатов добиваются, конечно, только те, кто трудолюбивее, умнее, настойчивее остальных, и прежде всего те, которые не пьют в праздничное время водки и не сидят с похмелья по трактирам и кабакам в рабочие дни. Нет труднее времени для начинающего мастера, как, работая на другого, сэкономить в запас первые десять рублей денег, чтобы купить на них материал «на наличные». Это всегда дешевле и выгоднее где бы то ни было, против покупаемого в долг. Если раз это сделано, и мастерок-ремесленник не любитель кабака и деревенского трактира, по сущности своей такого же второго кабака, — ему уж легче копить и наживать вторые 10 р., если, конечно, не случится в его обыденной жизни каких-нибудь внешних неблагоприятных обстоятельств. Работая усиленно головою и руками, подобный ячейка-мастерок не замедлит стать владельцем серии (50 р.), на которую уже может покупать целую кипу шерсти и иметь кредит на такие же 2—3 кипы от торговцев шерстью. С этого момента дальнейшие успехи ему обеспечены; он уже почти всегда будущий Катюшин, Носков и проч.

Повторяю, подобного материального состояния достигают только те, которые прежде всего не ходят в кабаки-трактиры и, кроме того, трудолюбивее и толковее своих товарищей, т.е. у кого природная смекалка — во всё время «купли-продажи», в распорядке дня, в технике работы — постоянно им сопутствует. Все другие, в подавляющей мас-

се деревенских жителей упомянутых губерний, с отсутствием какого-нибудь, даже одного из приведённых признаков, остаются навсегда работниками «на других» и не имеют шансов подняться выше подённого заработка или поштучной платы.

В последние годы контингент моих покупателей на шерсть изменяется в пределах 120—140 человек, за которыми находится в кредите постоянно 300—400 т.р. Насколько обеспечен этот кредит верностью уплаты в срок — мне подсказывает статистика, ведённая за много лет моей торговли. В среднем выводе 2% обыкновенно покрывают все убытки, какие могут причинять неплательщики долга, большей частью вынужденные так делать в силу каких-нибудь непредвиденных и неотвратимых обстоятельств: смерти, пожара и проч. Но и в этих случаях зачастую платит долг наследник должника или хотя с трудом, но платит сам разорившийся от пожара. У меня есть давнишний покупатель шерсти крестьянин Никитинской волости Феопемпт Савельев Чистяков. Десять лет назад он имел свой хороший дом и свободный капитал в 10 т.рублей. По обыкновению, как у всех крестьян, у него ничего страховано не было, а всё возлагалось на милость Божию. Случился пожар: дом и товары у него сгорели. Платить долгов стало ему нечем. Кредиторы Чистякова сами скидывали ему половину долга, а другую соглашались ждать более или менее значительное время. Но Чистяков отринул скидку с негодованием. «Я заплачу вам всё, — твердил он со слезами, — только дайте мне немного шерсти в долг и дайте срока год-другой». Так и вышло. Чистяков, не покладая рук, принялся снова за работу, уплатил старые долги всем кредиторам и теперь снова стал самостоятельным, зажиточным хозяином в деревне.

Но, как говорится, в семье не без урода; так и между ремесленниками в деревне. То какая-то слабость обуяет человека к трактиру и разгулу, то подросший сын выйдет не в отца и начнёт проматывать отцовское добро, то, наконец, найдёт какое-то ослепление разума и разлом нравственных устоев, а там, глядишь, и затеял человек скверное дело — не платить своих долгов, т.е. вознамерился воспользоваться чужим достоянием. В числе последних припоминаю одного старика крестьянина, некоего Они-

сима Муратова. Лет 10 кряду я продавал этому человеку шерсть, и всегда чинно и любовно он платил мне деньги. По всему заметно было, что у него имеется 2-3 тысячи своих денег и кредит рублей в 500 нужен только как подмога к оборотному капиталу. Бывало, Муратов войдет в контору, робко озираясь и переступая за дверь, и первым делом помолится на икону.

— Здравствуй, батюшка, — скажет он ласково.

— Здравствуй, Онисим Васильевич, — ответишь ему. — Ну, как поживаешь? Что поделываешь?

— Да что, батюшка, вот сапог привёз продать, да что-то цены не дают ладной. На дворе-то у нас продают их дешёво, ну, вот я и не торгую; всё хочется барышка побольше.

— Подожди ещё, ведь ярмарка только что начинается.

— Эх, батюшка, да ведь и ждать-то нельзя! Вот перво-наперво я тебе должен, и надо деньги выручать да тебе заплатить.

— Успеешь ещё. Зачем из-за этого спешить с продажей, понижая цену?

— Как же, милостивец, иначе-то? Ведь всё надо делать вовремя да по-божески. Деньги я тебе через три дня принесу. Ну, а как же, шерсти-то опять отпустишь мне?

— Такому аккуратному человеку, как ты, конечно, отпущу. Плати деньги и покупай шерсть опять.

Дня через три Муратов действительно приносит деньги.

Деньги у него всегда бывали спрятаны во внутреннем кармане шаровар, так далеко, что он каждый раз, доставая их оттуда, приговаривал:

— Уж ты, Бога ради, прости меня, старика, за это. Я всё боюсь, как бы лихой человек меня не избидел.

Покупая у меня снова шерсть, Муратов подписывал новые векселя, старательно выводя славянскими буквами свою подпись.

И вот вдруг этот Муратов, без всякой уважительной причины, не заплатил мне денег. Пишу ему письма — ничего не отвечает. Стороною слышу, что Муратов поправил дом, купил мельницу и живёт себе в деревне припеваючи. Проходит два года. В начале ярмарки является ко мне его сын, мальчик лет 18, смиренно, извиняясь за

отца, просит подождать долг ещё одну «вот недельку»; как только он продаст «сапог», то «батюшка наказал деньги вам отдать в первую голову».

Проходит неделя, и является ко мне опять сын Муратова. «Ну, — думаю, — напрасно старика обвинял в дурном намерении. Видно, была какая-нибудь серьёзная причина неплатежа».

Мальчик стоит перед столом у меня и тревожно перебирает в руках свою фуражку.

— Сколько вам денег-то? — спрашивает он.

— Ведь ты знаешь: вексель в 500 р., — отвечаю я.

— Батюшка мне сказал уплатить вам четвертную (25 р.), вексель получить.

Я сначала не понял смысла предложения и переспросил его.

— Что так мало делает старик уплаты? Ведь за ним 500 р., а вы хотите дать только 25 р.

— Нет, батюшка мне наказал за весь долг уплатить четвертной билет, а чтобы, значит, вексель получить назад.

Я изумился такому предложению и невольно повысил голос.

— Да ведь у тебя, как я слышал, было 30 корзин сапогов на 1500 р.? Ты их продал? Где же деньги?

— А я их отцу послал.

Я не мог более сдержаться себя и крикнул на юнца Муратова, чтобы он убирался вон.

Эти случаи — с одной стороны, высокого благородства Чистякова, а с другой — низменных побуждений Муратова — исключительные явления и, как таковые, не дают точного понятия о добросовестности целой массы остальных ремесленников. Нравственная физиономия последних, взятая в общем, не достигает, положим, высоты характера Чистякова, но и не опускается до низменных поползновений Муратова. Правда, как она есть, мне кажется, будет немного выше среднего уровня между этими двумя крайностями.

## XXII. Мои продавцы

В торговле и промышленности существует правило: «купить дешевле, продать дороже». Но для каждого правила, а в том числе и для этого, имеется, однако ж, контроль благоразумия. Можно желать купить товар так дёшево, что никто его не продаст, — и тогда останешься без товара. Можно желать продать так дорого, что никто его не купит, и тогда останешься с товаром без покупателя. И то и другое — результат неразумия и бестактности, ведущих всегда к убыткам и разорению. Всякая торговля, претендующая на успех и пользу, должна быть свободна от подобных недостатков. т.е. гибка и смела. Иначе она заранее обречена на естественный упадок и неизбежную ликвидацию.

Я лично продаю разной шерсти в год от 80 до 100 т. пудов и смею думать, что знаю эту торговлю сколько-нибудь основательно. Прежде нежели покупать и продавать товар, я должен тщательно узнавать, в какой степени выразится требование на него в Нижегородской ярмарке. А это зависит от многих причин, скрывающихся большей частью во всех местностях России, где только носят валяные сапоги. Если были холодная осень и зима, валенки требовались потребителями хорошо, значит, будут торговцы усиленно покупать у мастеров валяные сапоги, а те, в свою очередь, будут усиленно покупать и материал — шерсть. В двух-трёх крупных районах появилась мода на белые сапоги — значит, и шерсть требовать-ся будет больше белая. Бывают годы, что иностранный рынок требует усиленно высокие сорта коровьей шерсти, — тогда она становится также сильно требующимся товаром, а стало быть, с повышенными ценами.

Если не умеешь предугадывать этого в большинстве случаев, тогда бросай торговлю и занимайся чем-нибудь другим, где бы ты был, выражаясь биржевым языком, «в курсе дела».

Как идёт покупка шерсти партиями и как она идёт в



продажу мастеркам, по мелочам, я думаю, лучше всего рассказать, приведя ряд маленьких картинок с натуры.

В ярмарку приехал продавец коровьей шерсти с партией в 1.000 пудов. И вот, завязав в платок отборные лучшие клочки шерсти всех цветов, он идёт с ними в лавки покупателей.

— Вы покупаете шерсть? — держа в одной руке фуражку, а в другой — платок с шерстью, задаёт вопрос владельцу лавки продавец.

— Покупаю.

— Вот у меня есть шерсть на Сибирской пристани у Каменских. Партия 1.000 пудов.

— Хорошо. Покажите образцы.

Развязывается платок и выкладываются на стол образцы шерсти: белой, чёрной, серой и красной.

— Сколько же какого цвета? — спрашивает покупатель, рассматривая шерсть по цвету, длине волоса и качеству.

— Одной белой чуть не пятый волос. А там остальные цвета, всё как есть в порядке.

— Что же, вся партия согласна с образцами?

— Ну вот ещё! Я сам смотрел за мойкой. Волос в волос будет.

— А сколько летней мойки в партии?

— Какой летней? У меня её нет. Вся шерсть вымыта весною.

— Какая же цена?

— Да что много запрашивать? Шесть рубликов положите.

— Вот что я вам скажу. Если цена 6 р., то я не хочу и смотреть вашу партию.

— Разве это дорого? Вон, говорят, вятские продали по шести с полтиной.

— То вятские, у них и шерсть вятская, и мойка вятская.

— Что ж, дорого разве? Ну, пожалуй, я уступлю, чтобы, значит, без запроса было. Цена будет пять с полтиной.

— Не подойдет и эта цена.

— А что же вы дадите?

— Не смотревши партии, я не объявлю цены. Судя же по образцам, вероятно, взятым ещё из лучших кип, цена мне не подходит.

Продавец сердито начинает завязывать образцы в пла-ток, переходит на иронический тон.

— Вы, верно, совсем не покупаете шерсти? Так бы и сказали.

— Напротив, покупаю. Но цена ваша не подходяща.

— Прощайте, — недовольным голосом произносит продавец, демонстративно удаляется из лавки.

Видя, что его не вернули, он через несколько минут является опять к тому же покупателю.

— Вот что, — говорит он, — так и быть, возьму уж 5 р.

— Это другое дело. Оставьте ваши образцы и приходите завтра утром. Тогда поедем на пристань посмотреть вашу партию шерсти.

— Хорошо, — уже ласково произносит продавец. — Я утречком зайду. А теперь покудова прощайте.

— Прощайте!

Назавтра партия шерсти осмотрена. В ней оказалось белой не пятый волос (20%), а седьмой (15%); летней мойки, которой по уверению продавца, не было совсем, оказалось до 15%; между белой яловой нашлось конины 3—4 кипы. Одним словом, средняя расценка шерсти по сортам товара выходила против образцов процентов на 10—15 дешевле.

При осмотре товара продавец молчал или отделялся поговорками вроде того, что «гляженое лучше хвалёного», или «что видишь, то и покупаешь».

После уступок и прибавок к ценам, назначаемым продавцом и покупателем, партия сторгована, скажем, по 4 р. за пуд, с оговорками покупателя, что в ней летней мойки должно быть столько-то, конины белой столько-то и пр. Всё это завершается выдачей задатка в 5—10%, установлением срока приёма и вручением покупателю товарных документов — квитанции транспортной конторы, фактуры и ветеринарного свидетельства. Через несколько дней совершается приёмка шерсти, с разборкой по сортам, по цвету и проверкою веса в кипах. Очень часто является, против условия, низких малоценных сортов больше, высоких меньше, а веса 10—15 фунтов на кипу не хватает.

— Ишь ведь как усохло, — замечает продавец. — А ведь дома-то вернёшенько писали вес.

— Ну, едва ли не ошибались, — возражает вежливо покупатель. — Коровья шерсть, правильно сушёная, даёт в сырую погоду привес, а в сухую провеса не больше фунта на пуд. А тут у вас сплошь и рядом провеса 2—3 фунта на пуд шерсти.

Продавец, видя, что фокусы его с искусственной фактурой замечены, волнуется и горячится, но сделать против проверенной действительности ничего не может. Ему остается только разыгрывать роль удивляющегося человека будто бы на непонятное явление — большой усушки шерсти.

Но как бы ни было, товар принят, расчёт окончен, деньги уплачены, и продавец начинает ласково прощаться.

— Благодарим за расчёт, — говорит он, — уж на будущую ярмарку никому другому, как первому вам, предложу мою партию шерсти.

— Вот только фактуру составляйте без ошибок, — отвечает покупатель, намекая на прибавленный намеренно вес в кипах.

— Уж будьте уверены, всё сделаю лучшим манером.

В этой бытовой картине я старался показать средний тип продавца шерсти, от которого отклоняются, как и во всякой другой торговле, продавцы в ту и другую сторону, пока не завершатся крайними степенями — благородства и мошенничества.

## XXIII. Мои покупатели

В такой же картинке я приведу здесь тип среднего покупателя-ремесленника.

Открытая лавка торговца шерстью. Двери нижнего этажа выглядывают стёклами под навесы, сверх асфальтового прохода. Маленькая вывеска над входом в лавку гласит фамилию купца. Около дверей лежит на видном месте кипа шерсти — признак, что в этой лавке имеется она в продаже. Во втором этаже устроена так называемая контора, где за перилами находятся: конторки с книгами, свертки с образцами шерсти и сидят приказчики, занимаясь текущими делами. Хозяин лавки в соседней комнате за письменным столом занят проверкою счетов и комбинациями купли и продажи товаров по своей профессии.

Является в контору мастеров. Помолившись на икону и поздоровавшись за руку с приказчиками и артельщиками, спрашивает вполголоса:

— А что, сам-то дома?

— Дома, — отвечает доверенный, указывая рукою на комнату хозяина. — Пожалуйста.

— Здравствуйте, Иван Иванович, — приветствует мастеров хозяина, — с приездом вас, с ярмаркой поздравляю. Здоровы ли вы, родимый?

— А! Фёдор Иванович, моё вам почтение! — отвечает хозяин. — Садитесь, пожалуйста. Ну, как живёте-можете?

— Слава те, Господи! Живём, пока Бог грехами терпит. Как-никак, а через год опять и свидимся. Я шёл мимо вашей лавки и думаю: надо зайти с вами повидаться.

— Спасибо, друг, спасибо. Ну, как торгуешь нынче сапогом?

— Торгуем не шибко. Мелкота всю цену сбивает. Не поверите, продают сапог девять гривен, а ты сам знаешь, что он себе стоит.

— Ты, я думаю, не продаёшь такой ценой?

— Сохрани Бог! Да разве это можно?

— Ну, вот видишь. Там, на дворе, плохой товар, такая и цена ему.

— Так-то так, да ведь все же слышат: на дворе, мол, цена девять гривен, а ты просишь 1 р. 20 к. Покупатель-то и упирается.

— А сколько ты уже продал здесь на ярмарке сапог?

— Да корзинок полсотни продал. Не будь этого двора, вот, как пить дать, была бы цена 1 р. 25 к., а теперь не отпускаешь покупателя и за 1 р. 15 к. и за 1 р. 12 к. Всё давай сюда.

— И с каждой пары сапог двугривенный да двугривенный барыша, тоже «всё давай сюда».

Фёдор Иванович смеётся.

— Ну, где там двугривенный, хоть бы гривенник остался, и то ладно. Ведь сам знаешь, шерсть-то как нынче дорога стала. Возьми хоть «кислую»: ломают по 8 рублей, да хоть бы гривну уступили! А к «поярку» и «летнине» даже приступу нет.

— То-то вы поярку много в сапоги кладёте!

— Много ли мало, а всё полфунта надо положить. Глядь, и стоит двугривенный, а то чего доброго и четвертак. А на одной «яловке» да «стульной» далеко не уедешь. Да ведь и она что пуд, то пять да шесть рублей вынь да выложи.

Фёдор Иванович тяжело вздыхает и умолкает. Заметно, что ему хочется вызвать продавца на предложение шерсти, но тот пока его не делает. Помолчав немного, мастеров собирается уходить и как бы невзначай и мимоходом делает вопрос:

— А что, поди, нынче дорого продаёшь коровину-то? Как-никак, а все-таки у старого приятеля надо бы записать.

— Смотря по сорту, такая и цена. Если нужно шерсти, заходи посмотреть товар, а там и цену скажу.

— Если недорого, то сотню-другую пудов, пожалуй, куплю. Есть ли фофановская партия?

— Есть.

— Ну вот 100 чёрной и по полсотне серой и красной. Как будет цена кругом за обе сотни?

— Посмотри сначала товар, а там цена будет одинаковая, как и всем покупателям, если, конечно, запишешь пропорционально каждого сорта.

— Нет, вы мне дайте чёрной сотню да тех двух сортов, серой и красной, тоже сотню.



— Но ты сам знаешь, что чёрный цвет дороже против серой и красной, а ты хочешь её больше, а красной меньше, то как и не повысить цены?

— Эх, друг милый, ты с других-то бери, сколько хошь, а мне возьми да и уступи. Без чёрной никак нельзя мне обойтись. Все спрашивают чёрного сапога.

— Заходи завтра утром. Я пошлю с тобой парня на пристань, там ты и посмотришь весь товар в наличности.

— Ладно. Ну, пока, до приятного свидания.

Назавтра рано утром Федор Иванович осматривает шерсть, покатав из неё у себя на руке мелкие шарики, судя по которым определяется качество валки, и вечером снова заявляется к продавцу.

— Ну, шерсть я видел, — говорит он, здороваясь, — она как будто ладная. Но я боюсь, пойдёт ли она в дело-то хорошо. Нынче ведь заводчики-то стали ой-ой, что за люди! Год-другой приготавливают шерсть как следует, а там, глядь, этот же товар, а в сапоге-то у тебя кажется другим. «Стирак» старается, старается, да и скажет: «Ну, уж нынче и коровина же у тебя, никуда-то она не годится».

— Смотри, Фёдор Иванович, уж ты сам. Ты ведь сапожный мастер и должен знать качество шерсти лучше нашего.

— Э, как ни смотри, а всё нет-нет, да и купишь себе беду.

— Ручаться за это я уж не могу. Товар ты видел, знаешь и хочешь или не хочешь купить — на это твоя добрая воля.

— Воля-то воля, я это знаю. Сумление вот и берёт, как сапога не напортить. Ну, а как верёвки-то на кипах? Чай, думаю, скидка на них будет?

— Нет, друг, скидки не будет. Как куплена партия, так и продаю: верёвки идут в вес шерсти.

— Господи! Да ведь это что же такое? Не говоря худого слова, похоже на грабительство со стороны заводчиков. Да хоть бы верёвка-то была, как настоящая верёвка, а то канат какой-то. Весу в нём на кипу 10 ф. и идёт за шерсть по 15 к. фунт, стало быть, стоит целых полтора целковых. А продать его, так и гривенника не дадут. Что же вы таким заводчикам в зубы-то смотрите?

— А что с ними можно сделать? Они ставят условием

принимать канат-веревку за вес шерсти, да и баста. Хочешь — покупай, хочешь — нет. Поневоле и покупаешь, потому что сама шерсть лучшая во всей России.

— Бога они не боятся — вот что, — заключает своё негодование Фёдор Иванович.

— Ну так как же, — продолжает он после некоторого молчания. — Мне надо сотню чёрной и по полсотне серой и красной — какая цена?

— 6 р. 50 к. за пуд, срок платежа в ярмарке.

— Знаю я платёж-то. Только цена высока, не подходит. Бери гладко, по шести целых рублей.

— Не могу. Расчёта нет.

— Чего расчёта нет? Бери, записывай в книгу, да и вся недолга. Вот те и расчёт.

— Как старому покупателю гривенник разве скинуть? Стало быть, цена будет шесть сорок (6 р. 40 к.).

— Ну, вот что: шесть с углом, и Господи благослови, записывай.

— Нельзя, Фёдор Иванович.

— Эко нельзя, да нельзя. Возьми да запиши, вот тебе и будет лья. Вона сколько годов я у тебя покупаю, посчитай-ка!

— Право, не могу взять цену 6 р. 25 к.

— Ах, какой же ты упрямый, и ничего-то с тобой не поделаешь! Делать нечего, записывай уж и по шести сорок (6 р. 40 к.).

Сделка кончается традиционным жестом «ударить по рукам» и записывается в книгу, с упоминанием главных оснований: какая шерсть, количество пудов, цена и срок уплаты. Этим всё характерное и заканчивается. Остальная же процедура — одно формальное выполнение выговоренных заранее условий.

## XXIV. Процент и прибыль.

### Моё счетоводство

Прибыль и процент, как понятия, по-видимому, ясны для всех и каждого: будь то обыкновенный человек или записной экономист. А между тем оба термина так растяжимы и эластичны, что даже выраженные цифрами не означают точного понятия. Один считает прибыль, не при- считывая процентов за время затраченного капитала, и не относит на стоимость товаров неизбежной части тор- говых расходов. Другой считает прибыль от продажи това- ров хотя бы в длинный срок кредита, куда входят явно или тайно проценты за время срока и за риск кредита. Третий, сам купив товары в срок и переплатив в цене скрытые проценты, учитывает пользу по продаже товаров за наличные деньги: когда вырученный капитал служит ему для других дел до срока платежа неоплачиваемым орудием.

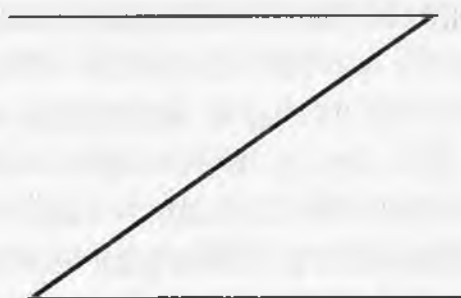
В былые времена, когда я сам только что входил в свою профессию торговца, мне казалось также ясно, что, ку- пив товар по 3 р. за пуд и заплатив потом транспортной конторе провоз за 1 р. 50 к., товар мне стоит ровно 4 р. 50 к., а если продавал его по 5 р., то было пользы 50 к. с пуда, или 11% с капитала. Я не считал того, что деньги, мною затраченные на покупку товара в течение 6 меся- цев, стоили в то время 6%, т.е. целых 18 к. на пуд, а стало быть, и польза должна быть на эту цифру меньше. С дру- гой стороны, я не считал прибылью того, что транспорт- ная контора ждёт за мной провозную плату без процента от Нижегородской до Ирбитской ярмарки, что, выражая теми же процентами за время, выходило суммой, равной 9 к. на пуд. Сама прибыль должна была считаться не на стоимость товара и провозов, вместе взятых, т.е. не на 4 р. 50 к., только на 3 р. стоимости шерсти при покупке.

Таким образом, сводя примеры к современному бух-

галтерскому выражению, польза чистая на каждый пуд товара выразилась бы так:

Пуд товара куплен за 3 р. — к.  
 % за 6 мес. за деньги. . . — » 18 »  
 Провозы. . . . . 1 » 50 »  
 Торгов. расх., смотря по  
 колич. обор., 1-3%  
 а в среднем 2% . . . . — » 10 »  
 Скидка на тару 2%. . . . — » 10 »  
 Ответств. усушка 1% . . — » 5 »  
 Чистая польза  
 на капитал  $5\frac{1}{3}\%$  . . } = 0 16  
 На оборот  $3\frac{1}{5}\%$  . . . . }

Продан товар за  
 пуд. . . . . 5 р. — к.  
 % за отсроч. провоз . — » 9 »



Баланс. . . . . 5 » 09 »

Баланс. . . . . 5 » 09 »

Величина учётного процента, выражаемая в цифрах, даже неграмотному человеку ясна; по-видимому, также ясна она и всем, а пожалуй, даже более, кажется, ясна, чем так называемая прибыль. Но возьмите любую величину учётного %, с анализом практического приложения к делу, и вы увидите, как непохожи они не то, что существует в ходячем понимании. Вы условились с богатым человеком взять у него денег 1000 р. сроком на год и даёте вексель с 10% роста. Кредитор, выдавая деньги, удерживает себе 10% и вручает вам вместо 1000 только 900 р. Думаете ли вы, что проценты, вами уплаченные, равняются 10%? Отнюдь нет. Вы за 900 р. наличных денег, выданных вам на руки, какими вы в течение года можете пользоваться, уплатили 100 р., или  $11\frac{1}{3}\%$ . Кредитор ваш, выдав вам 900 р., а взяв % за 1000, отдал деньги не за 10% роста, а за  $11\frac{1}{3}\%$ , ибо удержанные 100 р. он также может отдать кому-нибудь за такие же % или пользоваться ими сам, хотя услуга их оплачена другим лицом за целый год времени. При мелких ежедневных займах и кредитах, где % выражаются шкалою 18-24% годовых, цифры эти вырастают до 22 и  $31\frac{1}{2}\%$ .

Даже в крупных делах, как, например, в банковском учёте векселей и в ссудах под % бумаги, существует такая же система, выражаясь тою же несправедливой выгодой для банков и банкиров и тою же несправедливой переплатой для клиентов, на столько в меньших дозах и пропорциях к рублю, на сколько меньше учётные % и короче

срок кредита. Банк или банкир требует вперед %, уверяя убеждённо публику, что по всей Европе это принято за правило и чуть ли не освящено экономической наукой. Но тот же банк или банкир не заплатит вам и вклад вперед %, а заплатит их по минованию срока; он заплатит вам % даже за день вклада и за день возврата, но сам возьмет с вас % за тот день, в который вы берёте у него деньги, и за этот день, в который вы их возвращаете.

Из этого вытекает очевидно, что обыватель, публика, клиент не сознают ещё, что действительная шкала % отнюдь не та, которая читается в анонсах банков и банкиров, а также и не то, что пишется в закладных по недвижимым имуществам, с уплатою вперед %, и уже совсем не та, что практикуется в обыденном мелком обиходе. Она всегда на единицу рубль, в одних случаях меньше, в других больше, но всегда и всюду выше шкалы %, изображаемой в счётах и понимаемой в ходячем обиходе жизни. Начинаясь в пользу кредитора мелкими дробями в крупных суммах краткосрочного кредита, система эта, спрятанная в термине, замаскированная молчаливым соглашением заимодавцев, тем сильнее и заметнее ложится на мелкого заёмщика, поскольку меньше занятая сумма, длиннее срок кредита и выше самый размер учётного %.

Живя в Москве и занимаясь текущими торговыми делами моей профессии, я в то же время присматривался и прислушивался ко многому, что лежало и вне моей прямой специальности. Порой заинтересовавшись чем-нибудь новым, я пробовал изучать его и практически начинать осуществлять. Бывали среди успехов случаи грубых ошибок и увлечений, теперь уже миновавших, но в те времена они требовали сильного напряжения энергии, чтобы ликвидировать их с возможно меньшими потерями. Так, я раз увлекся торговлею готовыми заграничными машинами и потом с убытком 30 т.р. едва мог с ними развязаться. Другой раз я увлёкся также кожевенным заводом, арендовав его в Смоленской губернии на 5 лет, и в конце концов при ликвидации завода получил убытка около 35 т.р.

Рассматривая теперь хладнокровно эти былые мои неудачные дела и предприятия, я вижу ясно, что ошибка была не в том, что начинал новое дело, которое всегда бывало правильно рассчитано и в результате должно было



давать прибыль, а в том доверии, какое было оказано мною людям, руководившим этими делами. В одном случае был некто г. Л\*\*\*, а в другом С\*\*\* — оба в своих целях скрывшие от меня запутанность их материального положения, а потом воспользовавшиеся моими денежными средствами для своих интересов. Прямого захвата денег ими сделано не было, но косвенно они вели предприятие к тому, чтобы выиграть только самим, несмотря на то, что это служило прямой причиной убытков для меня.

Это были наиболее крупные неудачи в моей торговой деятельности в Москве и как таковые наиболее рельефно отметились в моей памяти. Но то, что составляло фундамент и основание всего дела, были другие, надёжные, испытанные товары, торговля которыми составляла мою постоянную специальность и давала мне неуклонно верную пользу. К числу особенно удачных дел моей торговой практики я отношу коренную, давнюю торговлю шерстью, которая ежегодно приносила большие барыши, а потом оптовую торговлю байховым и кирпичным чаем. В большинстве случаев удачей отличалось также и участие моё в некоторых акционерных предприятиях.

\*\*\*

Занимаясь делами и счетоводством лично, я приискивал средства, как бы сократить письменную работу счетовода, не вредя ясности и верности торговых записей и баланса в конторских книгах. И, мне кажется, я достиг этого, ведя торговые книги по своей системе вот уже более 20-ти лет с полной точностью и успехом.

Во всех коммерческих конторах имеются счётные книги: главная, касса, товарная, расчётная и т.д. Каждая статья в подобной книге, вновь вносимая, требует записи, сначала в Кредит положим кассы, название книги, в которую сумма на Дебет переносится. Допустим, что эта книга «Расчётная», в которой записана подобная статья с названием книги «Счёт кассы». Название каждой книги пишется в красную строку, крупным шрифтом и подчеркивается, занимая целую линейку места и требует времени почти две трети того, какое нужно для занесения всей статьи. Я ввёл у себя в счетоводстве вместо названия книг нумерацию их латинскими цифрами, назвав: Главная I,

Касса II, Расчётная III и т.д. для всех 7-ми книг моей конторы. Для меня достаточно в отдельной графе сбоку листа в книге Касса, Кредит проставить III/96 и я знаю, что статья записана в Дебет Расчётной книги на листе 96. И наоборот. Если я возьму статью в Расчётной книге Дебет л. 96, то найду такую же пометку в отдельной графе II/25, и я знаю, что статья перенесена со Счёта Кассы Кредит лист 25.

На 1-е число каждого месяца списываются в тетрадь цифры сальдо всех статей конторских книг, и они должны быть в дебете и кредите одинаковыми, взаимно балансирующимися. Если этого нет, то значит где-нибудь вкрадась ошибка в цифрах, которая при проверке легко отыскивается и с оговоркой исправляется. По истечении года из этих ежемесячных подсчётов скоро и удобно составляется отчёт и заносится как результат годового оборота капитала и счёта прибыли и убытков в Главную книгу. Главная книга у меня состоит из 4—5 десятков строчек текста, а потом наполняется цифрами ежемесячных итогов, с полным и всегда верным результатом годичного отчёта — баланса.

При этой системе счетоводства я имею одного бухгалтера, который в то же время после меня главный распорядитель по чайному товарному отделу и корреспондент по всем моим делам. На более крупные цифры за год (1898) оборотов в Главной книге были у меня следующие:

Касса	(II)	2.220,730 р. 06 к.
Расчётная	(III)	3.772,693 » 60 »
Разные счета	(IV)	880,730 » 35 »
Товарная	(V)	2.219,949 » 49 »
Кредиторы	(VI)	921,131 » 27 »
Дебиторы	(VII)	1.124,474 » 86 »

Всех оборотов:

По главной книге I в Дебете	12.528,721,65
в Кредите	12.528,721,65

Все моё счетоводство и текущая переписка, смею думать, находятся на должной высоте и порядке.

## XXV. Бедные классы и косвенные налоги

В течение последних двух десятков лет я много путешествовал, посещая некоторые окраины России, как, например, Финляндию, Крым, Северный Кавказ, Закавказье. Я не один раз бывал в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, а также бывал в Англии, Испании, Португалии, Швеции и Норвегии. Раз даже совершил путешествие в Палестину и Египет. Все эти путешествия, каждое само по себе взятое, оставили на мне целый ряд прекрасных впечатлений, так или иначе влиявших на склад моего душевного строя. Теперь мне уже 63 года от роду, и, по-видимому, пора подводить итоги моей жизни. В настоящую минуту я обеспеченный материально человек, для которого в этом отношении нет страха за ближайшее будущее. Но пока достиг я этого, какой тернистый путь был мною пройден, — читатель видел из предыдущего рассказа. Сколько было потрачено труда, сил и энергии, чтобы шаг за шагом пройти житейскую дорогу, иногда спотыкаясь и падая, а потом вставая и вновь преследуя наметенную цель — об этом я вспоминаю с гордостью в уме и горечью на душе. Сколько бывало тяжёлых дум, полных отчаяния положений, когда казалось, что старое гибнет, а дорога впереди тяжела и загадочна; но, слава Богу, все подобные периоды пройдены, пережиты, и думаю, что нет причин, чтобы судьба заставила меня переживать их вновь.

Оглядываясь назад, на тот ранний период времени, когда мой труд целого года был запродаан Решетниковым за 50 рублей, и сравнивая с настоящим положением, я вижу поразительный контраст, не говоря уже о всём другом, даже в одном моём материальном положении. Сопоставляя цифры денег, вывод вытекает, что *теперь* тысяча рублей должна бы казаться одинаковой цифрой против од-

ного *тогдашнего* рубля, потому что *тогда* один рубль имел для меня относительно даже большее значение, чем тысяча рублей *теперь*. А между тем этот рубль, как бы он в то время большим ни казался, все-таки легче отдавался за книгу или жертвовался другому, чем тысяча рублей расходуется на подобные надобности теперь. В чём же тут причина, что вместе с ростом материального состояния в одинаковой пропорции не растёт и внутреннее сознание, что для меня величина одного тогдашнего рубля равна по меньшей мере одной тысяче рублей теперешних? Кажалось бы, что с одинаковой внутренней потребностью я должен был отдавать другому, как *тогда* один рубль, так и *теперь* тысячу рублей, а между тем степень этой потребности склоняется всегда в сторону уменьшения тысячи рублей. В минуты внутреннего анализа своих стремлений спрашиваешь себя об этом и не находишь точного ответа.

Значит ли это, что человек, чем становится богаче, тем в его глазах все материальные отношения принимают более и более не те положения, чем они есть на самом деле? Значит ли это, что его взгляды, выводы и суждения о всех житейских отношениях, где играет руководящую роль величина рубля, должны принимать также неверную окраску? По-видимому, так именно всё и обстоит на самом деле на этом белом свете. Для богатого и богатеющего человека с каждым днем, если можно выразиться, «истина рубля» отодвигается всё дальше и дальше, и понимание экономических отношений, существующих на основе этого рубля, для него становится всё труднее. Не потому ли и все государственные налоги в какой бы форме они ни существовали, носят в себе неизменную печать несправедливой пропорции, — отягощение бедного и послабления богатому — потому что созданы они людьми имущими, фатально склоняющими мерку в свою сторону? В былые времена существовал сперва налог «на душу», не различая, насколько она способна к труду и добыванию денег; потом налог «на двор» без внимания к тому, сколько обитает в нём действительных работников; наконец сделан налог «на промысел» с градацией величины обложения от 1 до 30-ти, что как будто бы отвечает требованию справедливости; но это только кажется, а на самом деле далеко не так. Ведь ремесленник, добывающий в

год чистого дохода 200 р. и платящий за промышленное свидетельство 20 р., платит государственного налога из своего заработка 10%; фабрикант или торговец крупного разряда, наживающий прибыли 100 т.рублей в год и платящий промышленного и раскладочного налога 2000 р., — платит, в сущности, только 2, но отнюдь не 10%. На всех стадиях нашего промышленного развития, как прошлых, так и настоящей, красной нитью проходит тенденция раскладывать бремя налогов преимущественно на рубль, находящийся в кармане бедного, против рубля, находящегося в кармане богатого. Наши косвенные обложения на предметы даже насущной потребности, как, например, сахар, чай, спички, железо и проч., разительным образом подтверждают сказанное мною и всё больше и тяжелее ложатся на бедняка, поскольку он беднее и поскольку каждый рубль достаётся ему труднее, против всякого другого его конкурента. Человек, имеющий наличное состояние — подённый заработок в количестве нескольких гривен и копеек, — и человек, имеющий капитал тысячу рублей, не говоря уже о тех, которые имеют миллионы, одинаково платят пошлину за чай 80 к. и акциз за сахар  $4\frac{1}{2}$  копейки за фунт. Чтобы дать почувствовать богатому человеку действительную тяжесть косвенного налога наравне с бедным, надо бы заставить его заплатить косвенный налог во столько раз умноженный, во сколько раз он сам богаче бедняка. Подёнщик, имея капитал только рубль, покупает  $\frac{1}{32}$  фунта чая и платит пошлины  $2\frac{1}{2}$  копейки, т.е. одну сороковую своего наличного денежного состояния. Тот, кто имеет капитала 100 р., должен бы платить 2 р. 50 к.; имеющий 1000 р. — 25 р., а имеющий миллион — 25.000 р. Согласитесь, что это невозможно, но ведь это было бы только справедливо и ничего больше. Как бы богатый человек тогда возроптал, какой бы он протест поднял против существующей системы косвенных налогов! Теперь же он, довольный, хранит молчание, платя, положим, в 5 раз больше бедняка — за чай, за сахар, за спички, но имея капитала в 100, 1000, в 100 тыс. и более раз. Богатых — мало, бедных — много, и последние в общей массе потребят продуктов, обложенных пошлиной и акцизом, так много, что заплатят косвенных налогов десятки миллионов и тем покроют дефицит, ко-



торый бы иначе должны покрыть богатые классы сами. Всё это имущими людьми ясно или смутно, но понимается достаточно и, быть может, потому только со стороны их и не замечается протеста против косвенных налогов, в основе своей всегда отяготительных и глубоко несправедливых для всего беднейшего потребительского класса.

Если порою жестокие люди и выражают мнение, что косвенный налог не есть обязательный налог, ибо можно не платить его, не потребляя только обложенных таким налогом продуктов и товаров. Не потреблять продукты во избежание платы косвенных налогов. Да разве можно, предлагая это, сохранять христианскую религию и хоть немного «добрых отношений» человека к человеку? Сказать голодному «не ешь», жаждущему «не пей», полуодетому «не одевайся», пожалуй, и можно, но у кого же при этом не дрогнет совесть от таких жестоких пожеланий?

Не говоря о том, что система косвенных налогов на предметы первой потребности, падающих всею своєю тяжестью, главным образом, на бедные классы, есть тяжёлая несправедливость и как таковая должна быть уничтожена, она, кроме вреда в настоящем, несёт с собою ещё больший вред для будущего, усиленно обедняя бедного и обогащая богатого, т.е. углубляя ров, разделяющий эти классы, и усиленно устраняя с арены людей среднего достатка, составляющих звено между бедными и богатыми. Мы, люди имущие, обязанные, кроме заповеди, преподанной нам Спасителем мира, помогать бедным, поступаем как раз наоборот и не возвышаем голоса против существующей системы, помогающей богатому и забывающей бедного. Пора нам прислушаться к голосу нашей совести и сказать во всеуслышание корпоративно, что все налоги должны быть несены людьми имущими и что налогом прямым и косвенным должен быть обложен не бедняк и его насущные потребности, а капитал, крупный промысел и роскошь. Ведь, беря налог с продуктов и товаров, потребляемых беднейшими классами, этим самым устанавливается налог на заработок, а не на капитал, которого у них нет и который даже в инертном состоянии приносит доход его владельцу, зарабатываемый той же массой трудящихся классов. У бедняка нет такого времени, когда бы он мог сказать себе: я отдохну, ибо насущ-

ные потребности мои обеспечены запасом денег. У богатого человека подобное условие всегда в его распоряжении, и он выработал даже особые классовые болезни — скуку, прожигание жизни, которых бедный класс не имеет и даже знает о них только понаслышке.

Облагать налогом прямым или так называемым косвенным надобно не бедняка, достоящего средства к жизни продажей своего труда другому, а человека, имеющего в запасе капитал и орудуящего им по его личному усмотрению. Налог на капитал или, скорее, налог на доход от капитала — совсем иная статья, чем косвенный налог на предметы ежедневного потребления. Возьмите схему среднего дохода с капитала в 5% и, обложив доход 10% налога, вы будете иметь ежегодного дохода с имущих классов в России 300 миллионов р., если оцените все капиталы в 60 миллиардов. Оценив их даже вдвое меньше, чем такая сумма, и тогда вы будете иметь налог с имущих классов в 150 миллионов, вполне достаточный для того, чтобы заменить косвенный налог на главные предметы ежедневного потребления — на чай, сахар, спички, чугуны, железо, грубые ткани и проч. Тогда эти сотни миллионов р. уплатят имущие классы, а бедняки сэкономят их у себя, как средство для улучшения пищи, одежды и жилища, а отсюда — улучшение здоровья и вообще поднятия благосостояния.

Делая налог на доход с капитала в 10% или на капитал в  $\frac{1}{2}\%$ , что в конечном результате выходит одно и то же, вы не трогаете самого капитала, а только облагаете рост его. Наоборот, учреждая косвенный налог на предметы первой потребности, вы устанавливаете непомерный налог на заработок трудящихся классов, лишая их возможности лучше есть, теплее одеваться и удобнее устраивать своё жилище, ибо косвенный налог есть не полпроцента с подённого заработка, а превышает иногда в 5—6 раз всю стоимость самого продукта (чай) и в 2 раза стоимость такого товара, как, например, железо.

\* \* \*

*На этом заканчиваются заметки Николая Мартемьяновича. Между последней сделанной им пометкой и его смертью прошло не более шести месяцев. Болезнь, которую он*

*чувствовал уже давно и на которую мало обращал внимания — рак кишок, начала усиливаться и серьёзно его беспокоить. По совету врачей он отправился в Берлин и там, выдержав благополучно операцию, скончался от неожиданно последовавшего ухудшения.*

*Напутствованный нашим берлинским протоиереем А. Мальцовым, Н.М-ч умер в полном сознании, сделав все необходимые распоряжения. Тело его было перевезено родными в дер. Кулакову и предано земле в сооружённом им роскошном храме, который был освящён в самый день похорон его строителя.*

# **Палестина и Египет**

**Путевые очерки**

## Чёрное море

Четвёртого марта ровно в полдень выехали мы по Курской железной дороге из Москвы. В Москве была ещё зима в полном смысле этого слова. На улицах лежал снег, солнце светило по-зимнему, не часто стихал ветер, и ещё реже веяло теплом и напоминало, что идёт весна, потекут ручьи, появится зелень, и оживёт природа. Теперь на всем ещё лежала печать угрюмой зимы и севера. Но вот через одни сутки мы в Киеве, а через другие — в Одессе, и какая же резкая перемена! В Москве зима, а в Одессе — ранняя весна. Зелени ещё нет, но она уже пробивается; в воздухе тепло и то неуловимое нечто, которое чувствует каждый, но для которого не открыто и не подыскано до сих пор ни красок, ни выражений.

Каждый, кто приезжает в Одессу, поскорей стремится увидеть море и полюбоваться им. Лучшее место для этого — бульвар, устроенный на высоком берегу моря, широкими уступами спускающийся книзу, по длине которых вьются утрамбованные дорожки и зеленеют деревья. Посреди бульвара, где оканчивается полуovalом улица Ришелье, стоит памятник этому замечательному человеку и спускается широкая мраморная, с 9 широкими же площадками лестница. В самом низу, у подножия берега, кругом всего рейда непрерывно двигаются поезда, подвозящие на пароходы товары и увозящие оттуда их обратно. Кругом всего рейда, по всем дамбам, на высоких деревянных столбах тянется воздушная железная дорога, по которой также движутся поезда с насыпными хлебами, продуктами нашей родной южной России. Весь рейд наполнен пароходами, парусными судами и мелкими лодками; всюду усиленная деятельность, а там, вдали, за острым конусом выдвинутой далеко в море дамбы, синет Чёрное море, уходя в безграничную даль воздушного горизонта.

9 марта в 4 часа вечера на пароходе «Корнилов» мы



отчалили от одесской пристани. Вечер стоял туманный, морской дали не было видно. Ветер слегка рябил поверхность моря, и наш великан «Корнилов» лениво и едва заметно начинал покачиваться с одной стороны на другую. На берегу стояла толпа провожавшего нас народа, и играл оркестр военной музыки. Родные и знакомые пассажиров, оставшиеся на берегу, махали платками, шляпами, посылая последнее приветствие отплывающим, а пароход медленно поворачивался и выходил из порта. Но вот пройден и конец крайнего мола; вот пароход делает крутой поворот направо, и механизм его винта глухо, но сильнее и сильнее бурлит за кормой воду, делая из неё бирюзовую полосу; вот Одесса стала с правой стороны парохода, и мы в море... Как описать и рассказать ясными словами то ощущение, какое испытывает человек в эти минуты, когда он прощается с землёй и когда впереди его — одно только безбрежное море, со всеми прелестями и опасностями, всегда почти неожиданными.

Но — чу! Звонит колокол — знак, что время обеда. Идём в каюту, моемся, причёсываемся, стараюсь придать себе тот принятый вид приличия, который господствует за всеми табль-дотами в мире, будет ли это на море или на суше. Кое-кто, убаюканный качкой, не выходит к столу и мучается у себя в каюте морской болезнью.

Обед, как все обеды на пароходах, хороший, сытный, с прекрасным вином и фруктами, занимает ровно час времени, после которого пассажиры расходятся по разным уголкам парохода, выбирая местечко по своему вкусу и настроению для послеобеденного кейфа. Не страдающие морской болезнью идут на палубу смотреть на волны, слушать музыку моря и уноситься в чудный мир фантастических грез, если только есть к этому какая-нибудь внутренняя потребность. Другие, более практичные и реальные, ищут других объектов для изучения, напр., как устроен пароход, какой он длины и ширины, какая в нём паровая машина и сколько пудов весит каждое рогатое животное из числа тех, что составляют часть груза нашего парохода. Третьи примиряют эти два крайние полюса, эти два типа практики и мечтательности, варьируя своими потребностями духа между теми и другими. И пароход, качаясь на волнах, живёт своей коллективной жизнью,

как всякое общежитие в мире, на известной высоте настроения, подверженного бесчисленным переходам, но, конечно, как всё на свете, ограниченного известной сферой и пространством...

Но вот мало-помалу туман начал опускаться на море, закрывал луну и звезды, окутывал пароход и, наконец, превратился в непроницаемую тёмную пелену, среди которой ничего не видно даже на близком расстоянии. Туман на море — самый страшный враг, которого боятся даже старые моряки, а уж они ли на своём веку не видали страхов и опасностей! Туман — это как бы чары злой волшебницы, закрывает всё, значительно заглушает звук и подавляющим образом действует на воображение. В это время капитан чутко прислушивается к каждому звуку, зорко смотрит вперед, непрерывно даёт свистки, боясь столкнуться с встречным пароходом, который так же мало видит, мало слышит и так же тревожно всматривается и прислушивается. В такое время, сидя на пароходе, чувствуешь, что из глубины души возникают, крепнут, выясняются какие-то знакомые чувства, озаряемые в сознании, в ясных словах, слышанных ещё в детстве:

*«Как на сине море  
Да упал туман».*

Вот как пришлось мне вспомнить и узнать, да, именно узнать, какой глубокий смысл скрывается в простой песне русского народа!

На другой день утром было свежо. Туман рассеялся. Кругом было видно одно безбрежное море. Я спросил капитана, далеко ли берег, и получил ответ, что вёрст 300 в одну и вёрст 200 в другую сторону. «Дистанция немалого размера», — подумал я.

— Не выплывешь, не доплывёшь, — добавил характерно мой спутник Поляков.

Нет большого ветра, но день становится пасмурным. Море рябит, и кажется, что будто кто-то потревожил его, и оно хотя не гневается, не бурлит, но точно насупилось и начинает нервно поводить бровями. Кое-где показывается белая верхушка гребня волн, но скоро исчезает. По временам дельфины гонятся за пароходом, выскакивают из воды, описывая в воздухе крутую дугу, и снова всё покойно. Даже мы, пассажиры, стали как-то менее тре-

вожны, проспав всю ночь на койке, которую покачивало из стороны в сторону. Говорится: «Привычка — вторая натура». То же самое повторяется и здесь. Сначала казалось жутко, страшно, а потом как-то это опасение сглаживается, исчезает, и сидишь себе спокойно, любуясь морем, как ни в чём не бывало.

## Константинополь

Мы проснулись в 5 часов утра, в силу того же физиологического факта, как мельник просыпается, когда перестаёт шуметь вода и колесо мельничное останавливается. Пароход наш стоял. Ни шума, ни звука. Мы оделись и вышли на палубу. По ту и другую сторону виднелись берега, кое-где светились огоньки, силуэтами виднелись кипарисовые рощи, выделялся острый минарет — ясно, что это вход в Босфор.

Светало. Карантинная лодка пошла к берегу в турецкую таможню. Где-то запел петух; ему подражая, запел второй. Через минуту с белеющего минарета поверх тумана и воды понесся заунывный голос муэдзина, призывающий правоверных на молитву. Отовсюду веяло чем-то иным, новым, невиданным и неизведанным. В такие минуты все чувства как-то настороже: ухо ваше ловит каждый новый звук, глаз усиленно всматривается в каждый новый предмет, внимание стремится всюду.

Только в 6 часов лодка вернулась к пароходу, и мы двинулись проливом к Константинополю. Туман снова густыми полосами налегал на нас и не давал возможности видеть и любоваться прекрасными берегами Босфора, почти сплошь застроенными живописными виллами, оригинальными мечетями и, вероятно, грязными лачугами, но издали выглядывающими красивой декорацией. Через полтора часа хода как-то незаметно начал проходить перед нашими глазами Царьград — Константинополь и завершился, где мы стали на якорь, той волшебной панорамой, назвать которую я не подберу подходящего выражения.

На лодке-барке с осторожностью, чтобы разные, чуть не разбойники, лодочники не растащили багажа, съехали мы на берег пристани Стамбула, пройдя там пародию та-

можни, где под видом осмотра паспортов и багажа турецкие чиновники вымогают только свой «бакшиш».

С узлами в руках и зонтиками под мышкой, по узкой и грязной улице длинной гурьбой потянулись мы в гору, чтобы тоннелем подняться в центральную часть города — Перу. Провожатым был у нас опытный путешественник г. Молчанов, корреспондент газеты «Новое время». С некоторым трудом нашли Hotel, в котором дали нам номер в третьем этаже размером не более четырех аршин длины и ширины, сырой, продуваемый ветром и крайне ограниченный мебелью. Позавтракав в ресторане, мы взяли «каваса» (проводника), коляску и карету и поехали осматривать достопримечательности города. Мост через Золотой Рог мы должны были пройти пешком, потому что за проезд в два конца взимают по 3 франка (1 р. 20 к.) с каждого человека. Перейдя мост, зашли мы в мечеть Селима (снявши предварительно штиблеты), в одно из прекрасных и громадных зданий этого рода архитектуры. Посреди мечети, поджав ноги, сидели человек сорок мусульман, среди которых, также сидя, громко говорил какую-то духовную лекцию один из мулл или монахов, служащих при этой мечети.

Под влиянием путеводителя-книги и командою каваса постепенно переезжали и осматривали мы наиболее замечательные сооружения и местности Константинополя. Перечислю из них некоторые:

1) Мечеть новую, где похоронены султаны: Абдул-Меджид, его мать и несчастный Абдул-Азиз.

2) Музей древностей.

3) Новую мечеть, только что достроенную и замечательную по размерам и орнаментации, быть может, только потому, что план для неё взят, как копия, с великого храма великого Константина — св. Софии.

4) Этнографический музей старинных турецких одежд и преимущественно употреблявшихся янычарами. Надобно заметить, что этот музей во всех отношениях и плохо устроен, и плохо содержится.

5) Древнюю цистерну на том же возвышении, где храм св. Софии, со множеством колонн, означенных цифрой 1001.

И, наконец, самое главное и величественное из всех

зданий всего мира — это храм св.Софии, построенный 1480 лет тому назад. Великолепие этого храма, его план и купол так громадны и совершенны, что я не знаю, где можно найти равное в этом роде сооружение, несмотря на то, что храм находится в запущенном состоянии и лишен теперь всяких внешних украшений. Невежественные руки мусульман сокрушают дорогую античную мозаику, раздавая её за бакшиш праздным путешественникам. На хорах со всех трёх сторон храма, между мраморными и порфирными колоннами Ионического ордена устроены мраморные глухие массивные перила, на которых высечены были барельефом большие четырёхконечные кресты, значительно стёсанные турками, но явственно видные ещё и теперь. Форма их такая:



В нишах сводов, сквозь новую турецкую позолоту, проглядывают греческие лики святых, а в своде над бывшим алтарём сквозит лик и венец Спасителя мира. В конце левой стороны хор, вблизи алтаря, на парапете мраморных перил сохранилась высеченная греческая надпись, что тут был трон или место императрицы Феодоры, где она находилась во время торжественных богослужений. Пол внизу и пол на хорах выстлан такими громадными мраморными плитами, на которые, по-видимому, не действуют ни перевороты, ни столетия.

Когда, стоя внизу, окидываете вы общим взглядом всю внутренность храма, вы видите целую вереницу колонн, кругом античную мраморную отделку, массу прекрасно распределённого света, желтоватый свет верхнего яруса, и над всем этим господствующий синий купол, точно плавающий в воздухе — так он прекрасен и пропорционален, вас невольно охватывает глубокое чувство удивления, переходящее в прямое благоговение и к художнику, архитектору, создавшему план храма, и к императору, сумевшему оценить его и дать средства к осуществлению. Глядя на эту подавляющую колоссальность храма (80 метров кубических = 114 аршинам), на чудный купол, вот



уже 15 столетий возносящийся к небу, невольно приходишь к заключению, что, имея подобный образец зодчества, позднее легче было создать грандиозные храмы, украшать их многими произведениями искусства, но громаднее по замыслу, артистичнее по выполнению, неизблему по математическим вычислениям, устойчивости нет в Европе ни одного храма, ему равного. Его не сокрушили даже землетрясения, от которых рассыпались в прах все другие каменные постройки.

И теперь этот храм-чудо, созданный христианской идеей, в него воплощённой, христианской нацией сооружённый, находится во власти турок, более невежественных, чем даже первые завоеватели Византии, пощадившие его от разрушения!

Выходя из храма св.Софии, тотчас же попадёшь на вторую знаменитость Константинополя — площадь, где в древности производились военные игры и которая носила громкое название ипподрома. На площади и теперь ещё стоят некоторые древние памятники — три разные колонны. Из них первая, та, что ближе к морю, разрушающаяся кирпичная колонна, была сооружена великим Константином в память прекращения гладиаторских игр и зрелищ, осуждаемых христианской религией. Вторая колонна, изображающая трёх перевитых между собой змей, подарена была одному из греческих императоров какими-то союзниками за победу, одержанную им над персами. Третья — и самая замечательная в Европе — это Египетская игла, поставленная тут императором Феодосием. Пьедестал иглы находится аршина на два в земле кругом окружающих зданий, бывших во времена погромов и порабощения Византии. Сыны своей родины эллины-греки, некогда интеллигентные, образованные люди, превратившиеся в униженных и порабощённых, потеряв свою свободу, утратив образованность и славу, выродились теперь в презренную толпу восточных людей до такой степени, что даже другие восточные народы стали браниться между собой именем грека. Так неумолимая судьба вертит своё колесо, возвышая известное племя, наполняя его славой всю Вселенную, разнося его искусства и науки по всему свету и потом роковым образом повертывает колесо вновь и свергает племя в ничтожество бытия...

Окончив осмотр наиболее замечательных зданий, мы пошли на Константинопольский рынок. Нужно представить себе длинные, кривые, узкие ряды лавок, полузакрытые сверху от дождя и света, толпу пёстрого народа в ярких восточных одеждах, продавцов, сидящих с поджатыми ногами на прилавках и кальяном во рту, говор, шум, крики — и тогда представите себе слабое подобие того, что такое Цареградский рынок. Нужно ли добавить, что на рынке темно, грязно, что мостовая неровная, что вас толкают со всех сторон. Всё это на восточном рынке разумеется само собой. Продавцы в лавках просят цены за товары втрое дороже, на обмене денег стараются обмануть, обсчитать.

На другой день, как несколько знакомые уже с топографией местности, пошли мы пешком бродить по главным улицам города, любуясь на отдельные новые здания и открывающиеся виды и ландшафты. Мало-помалу мы спустились к Золотому Рогу и наняли лодку, чтобы показаться на водах залива и посетить любимое столичное гулянье — Сладкие Воды. Вся грязь и неприглядность остались позади нас, там, в этих узких улицах города, — а тут синяя поверхность пролива, масса покачивающихся пароходов, бесчисленное количество снующих по всем направлениям лодок, баркасов, яликов и кругом всего, как волшебную картину, обрамляет береговая полоса — рама, украшенная арабесками тёмных кипарисов, светлых игловидных минаретов и, как мелкий бордюр, кирпичных домов, в нестройном, но гармонирующем беспорядке по откосу гор разбросанных. Немного далее, на самом берегу пролива красуется белый мраморный дворец — «Долма-Бахче», нечто по своей изящности из ряда вон выходящее. Особенность и суть его красоты составляет полное отсутствие того казённого, установившегося в Европе типа дворцов, которые и хороши в своем роде, и однообразны в то же время. В «Долма-Бахче» соединена в гармоническом сочетании и античная красота Запада, и легкая причудливая грациозность Востока. Дворец, пожалуй, и строг в своих основных формах архитектуры, взятых в целом, но удивительно разнообразен в деталях, что придаёт ему такую лёгкость и изящество. Он, как лебедь на воде, невольно обращает на себя внимание и как-то тянет смот-

реть и любоваться на него. И, несмотря на такую красоту, дворец необитаем: он хранит за собой дурную память насильственной смерти султана Абдул-Азиза, совершённой в прошлом десятилетии. Оттого-то он и пуст...

## Смирна

*12 марта.*

В 5 часов вечера сегодня пароход «Корнилов» снялся с якоря и, обогнув мыс главного старого Стамбула, плавно пошёл к Дарданеллам, оставляя за собой Константинополь. Долго мы не сходили с палубы, любуясь панорамой, видеть которую второй раз в жизни придется едва ли. Вот удаляется, тускнеет св. София и приближаются античные здания казарм на Азиатском берегу пролива; вот Принцессы острова и Сладкие Воды, а впереди длинный пролив, именуемый Мраморным морем и Дарданеллами.

Звонок. Время обеда. Наступает вечерняя мгла; спускается туман.

*13 марта.*

Рано утром пароход остановится при выходе из Дарданелл под пушками турецкой крепости, чтобы предъявить коменданту бумаги и получить пропуск. Часа через два мы уже идём в начале Средиземного моря, в виду берегов и холмов священной Трои, увековеченной Гомером и известной каждому школьнику Старого и Нового Света. По правую сторону парохода, круто спускаясь в море, выглядит пирамидой остров Тенедос, на котором когда-то

*«Три богини спорить стали...».*

А потом и потянулись вплоть до Смирны берега и острова греческого архипелага, окутанные прозрачной эфирной дымкой, если проглянет солнце, и одетые туманом, если небо покроется тучами. Воздух тёплый, южный, ласкающий. Но когда подует ветер и всколыхнёт пролив, тогда становится так же холодно, как и у нас в осеннее время. Случается, перепадает дождь, но грозы ни разу не было.

*14 марта.*

В полночь сегодня пароход «Корнилов» стоял на якоре на Смирнском рейде. В 8 ч. утра мы поехали в город осматривать его и покупать на память безделушки. Улицы Смирны и узки, и грязны ничуть не меньше, чем в Константино-

поле. Рынок восточный, всемирный. Нашли в лавках, по рекомендации Мордовцева, свечи Гомера и по своему усмотрению мастаки, мундштуки; Поляков купил кадильницу, а я попробовал в заключение кальян и сдобные слашавые круглые лепешки — наши сибирские пряженики, тут же, на рынке, приготовленные, и дал себе слово ни самому больше не пробовать, ни другим не рекомендовать ни кальяна, ни лепёшек. Дождь поливал изрядно, и мы, как мокрые курицы, вернулись на пароход обсушиваться и готовиться к завтраку. Окрестности города, насколько видно невооружённым глазом, живописны и прекрасны. Рейд Смирны большой, хорошо защищён с трёх сторон горами и вполне отвечает своему мировому назначению торгового пункта.

Около полудня «Корнилов» снялся с якоря и пошёл прямо к выходу, между длинного ряда островов, к открытому Средиземному морю. С левой стороны фиорда, недалеко от Смирны, чередуются высокие (3000 ф.) причудливые горы, которым приданы названия: «Три сестры», «Два брата» и т.д. С правой стороны от Смирны, далеко уходя заливом, протянулась широкая белая береговая полоса, точно пролитое молоко, — речная пресная вода, обильно притекающая в залив после каждого хорошего дождя. За этой резко отделённой белой полосой виднеются в симметрических группах, как снег, белые курганы, сложенные из осадочной соли. Погода прояснилась: стало тепло, и вода в Средиземном море — чистая, прозрачная, необыкновенного ляпис-лазуревых цвета — невольно и подолгу приковывала к себе наше внимание. Легкая боковая зыбь моря едва покачивала нашего «Корнилова». Необычайно красивые очертания гор и островов, одетых то во все оттенки зелёного цвета растительности, то покрытых синеватой, прозрачной дымкой, со всеми переходами воздушного колорита, то закутанных в сырые и тёмные облака, венчающие острые вершины гор или тихо ползущие по склонам и ущельям — вот та картина, которая долго ласкала наш взор в греческом архипелаге. Мысль и воображение работали усиленно, уносясь вдаль, на эти острова, на вершины пик, бродя по синему морю, вспоминая прошлую историю народов, их быта, верований, погружаясь в глубь отдалённых веков и вызывая от-

туда целый сонм богов и богинь, созданных народным греческим гением. И нигде, мне кажется, нельзя яснее представлять, глубже чувствовать и переживать историю древнего великого народа, как только проходя те места и виды, среди которых он жил, воспитывался и, создавая, воплощал в произведениях искусств неумирающие образы разных божеств, этих вещественных символических выражений, составляющих присущую потребность каждому человеку создать *что-то* выше себя, потому что есть *это* высшее... И каждый род, племя, народ, нация создают эти вещественные символы каждый по-своему, но все стремятся к сознательному или бессознательному, *но Единому*.

\* \* \*

Вечер. Обед окончен. Мы вышли и уютно уселись на корме парохода. Как тут хорошо было смотреть на переливающуюся зыбь моря, на бурлящую полосу бирюзового оттенка, оставляемую следом могучего винта парохода, на чайку, реющую в воздухе, и на небо, с которого светила луна и отражала свой белый свет с золотым оттенком на верхушках мелких волн Средиземного моря. Тихо и с наслаждением курилась манильская сигара, выпивался чай, мечталось, говорилось теми полусловами, восклицаниями и взглядами, которые и составляют всю цену таких моментов. Прошло времени часа два; воздух стал сырее; начал накрапывать дождик, и мы с товарищем должны были покинуть это уютное местечко.

*15 марта.*

Сегодня море и воды островов почти такие же, как и вчера, с той разницей, что цвет воды стал ещё прозрачнее и великолепнее, до острова пошли только с одной правой стороны парохода. Налево видно открытое Средиземное море, вдали которого неясным силуэтом вырисовывается остров Родос в виде громадного купола. Отсюда уже начинается открытое Средиземное море, по которому потянется наш путь прямой линией до Александрии, на протяжении 310 миль, или 500 верст, или 31 часа времени. Спустя часа два показалась на море мёртвая зыбь, вызвавшая у некоторых пассажиров морскую болезнь. За обеденным столом эта же болезнь произвела между обе-



дающими комическое бегство в свои каюты. Рядом со мной сидит пассажир, кушая первое блюдо, и, нахмуренно глядя свою лысую голову, сердито проповедует, что не нужно думать о болезни, и на полуслове бросает ложку и бежит поспешно в свою комнату. Напротив меня чинно обедает немецкая чета супругов, но за вторым блюдом у супруги бледнеет лицо, она поспешно бросает на стол салфетку и уходит. Немец, супруг, храбро заткнул за ворот сорочки салфетку и только что взял что-то на вилку, как моментально бросает её на стол и с салфеткой за галстуком перепрыгивает через барьер скамейки и опрометью бежит в свою каюту, путается в драпировках, стучит головой в дверь и скрывается в каюте, производя дорогой известные жесты и движения. К концу обеда за столом остаются только четыре человека.

Вечером взошла полная ясная луна и светит так приветливо миллионами золотых переливов на мелкой ряби морской поверхности. Редкие прозрачные облака плывут по воздуху, и лунное освещение придает им чарующую подвижную фантазмагорию. Глядя на всё окружающее, невольно думалось: вот это то небо и звёзды, которые видел народ Израиля, его пророка Моисея, Христа Спасителя; это то море, которое носило на своих волнах исторические народы. Это небо, звёзды и море так же были велики и необъятны, какими кажутся мне теперь. Звезды приветливо горели на небе, море неумолкаемо шумело на земле и в своём неизменном величии посылали людям мир и успокоение. Были ли люди такими в прошлом — на это отвечает нам история многими отрицательными явлениями, и только внутренний голос твердит человеку, что должен быть:

*«Мир и в человецех благоволение».*

## Александрия

Вчера поздно вечером при последних лучах заходящего солнца подходили мы к Александрии. Ветер был свежий; волны с белыми гребнями перекатывались по всему морю, и наш пароход делал поклоны во все стороны. Навстречу нам неслась парусная скорлупа-лодка, чтобы дать араба-лоцмана провести между береговыми рифами пароход в

Александрийский порт. Нужно видеть воочию то поразительное искусство и бесстрашие, с которыми боролась эта лодка с волнами, и ещё более ту кошачью ловкость, с какой лоцман вскарабкался на нашу палубу по брошенной ему верёвке, чтобы по достоинству оценить и эту ловкость, и эту неустрашимость. Пароход, управляемый искусной рукой лоцмана, быстро вошёл в порт и стал, как выражаются моряки, «на бочку».

Вечер был лунный, тёплый. Вода в порте игриво отражала тысячи огней от набережных фонарей, от судов и пароходов, стоящих на якоре. Арабы-лодочники в национальных странных костюмах, то белые, как привидения, с чёрным африканским лицом и чёрными босыми ногами, то смуглые и бронзовые, в длинных балахонах, с обмотанной на голове шалью-феской, шумно окружали пароход, предлагая свои услуги покататься в порте, поехать в город. Соблазн был так велик, что мы не устояли против него и, взявши проводника — араба Магомета Багома, говорящего по-русски, быстро поплыли в барке к городской пристани. В самом городе взяли извозчиков, прокатились по улицам, зашли в какой-то шумный и многолюдный «саfe» выпить по чашке восточного кофе и послушать музыку. Часов около 11 тем же путём вернулись мы на пароход.

Весь остальной вечер прошёл в сборах и приготовлениях к переезду на пароход «Одесса», идущий отсюда в Яффу. На другой день мы проснулись часов в шесть, а в восемь были уже на «Одессе». Этот пароход значительно меньше «Корнилова», но не так чувствителен к боковой качке. Ровно в 8 час. мы снова с тем же проводником в барке-коляске — и в Александрию. Утро было ясное, тёплое; я, пожалуй, прибавил бы, что даже африканское. Александрия после погрома, произведённого англичанами, быстро обстраивается и возобновляется. Улицы чистые, вымощены крупными ровными гранитными квадратами. Постройки частных лиц высокие, стройные, с гладкими стенами, особенного южного типа, с башнями, балконами, но всюду без крыш в нашем смысле и окрашены в светлые тона краски.

Длинными улицами, по ту и другую сторону которых красовались стройные пальмы, сочные мальвы, кактусы

и другие деревья, которых я не знаю и названия, но которые всей структурой ствола и зелени говорили нам, что мы совсем в другой стране и климате, даже по сравнению с нашим югом, не говоря уже о средней России. Сегодня день Вербного Воскресенья, и нам навстречу попадались африканские христиане, идущие в церковь с пальмовыми ветвями в руках. Проводник араб повёз нас сначала к традиционной колонне, поставленной Римским Помпеем, а потом вдоль богатых арабских кварталов, заселяющих один берег Нильского канала. Как тут всё просто и в то же время необычайно оригинально! По узкому ложу канала тихо плавают местные двухэтажные лодки, на которых устроены скамейки для пассажиров. По другую, левую сторону канала тянутся сплошной стеной убогие глиняные с плоской крышей жилища феллахов. Нередко идут гурьбой несколько осликов, живописно нагружённых свежей зелёной травой, из которой едва-едва выглядывает кроткая ослиная головка и его большие знаменитые уши. За ними или навстречу им идёт другая толпа феллахов всех возрастов, бедные, грязные, босые, отправляющиеся на какую-нибудь подённую работу. За жилищами феллахов виднеется жёлтая песчаная степь.

По правой стороне Нильского канала идут другие арабские постройки богатых людей, утопающие в садах, в ползучей вьющейся по заборам зелени и цветах. Над всеми господствуют пальмы, стройные, высокие, прекрасные. Вот протянута улицей высокая глухая каменная стена забора, но она вся покрыта ползучими растениями, на которых яркими гирляндами блестят цветы и благоухают розы. Вот простой домик брата нашего проводника, куда пустили нас благодаря его протекции; за домом сад совсем другого стиля и характера, чем наши сады, с гибкими, тонкими стволами деревьев и массой душистых цветов. Чего только тут нет или, скорее, что тут растёт — мы только, глядя, ахали от восторга; пальмы многих видов, бананы, розы, кактусы и проч., и проч. — одним словом, всё то, что мы частично и в бледных копиях видим у себя в оранжереях, то здесь растёт на воздухе привольно и свободно, как всё то, что растёт у себя дома, на родине. Молодой хозяин дома приветливо предложил нам букет из роз и других цветов, тут же в саду срезанных.

Отсюда поехали мы осматривать Королевский сад, по роскоши растительности и красоте расположения превосходящий все сады, когда-либо нами виденные.

## Яффа и дорога к Иерусалиму

Я только что выглянул на площадку парохода, как передо мной виднелась уже в близком расстоянии Яффа. В воздухе был какой-то мрак, ровно застилающий восточную сторону, над которой виднелось солнце — круглое, светлое, но без лучей, освещающих окрестность. Так и думалось, что, быть может, в таком же мраке виделось оно и тогда, когда совершалась в Иерусалиме величайшая драма — распятие Богочеловека...

Море шумело сильно. Волнение было порядочное, и лодки, перевозившие пассажиров с парохода в Яффу, ныряли по волнам, неприветливо поселяя в зрителях назойливое чувство страха. Ведь в Яффе нет устроенного порта, и рейд его открыт ветрам, которые зачастую так страшно разводят волны на каменные рифы берегов, что нет тогда возможности ни пароходам держаться около порта, ни лодкам поддерживать береговое сообщение.

Простившись с пароходом «Одесса», мы попали на одну такую же лодку, испытывая на ней и качку морскую, и вкус морской воды, разносимой ветром в мелкой пыли по всему заливу, когда бьются волны между рифов и гребни их летят на воздух. Ступив на землю, мы целых два часа возились с турецкой таможней, с багажом и проводниками, теряя голову в этом шуме и суматохе. Крик и толкотня были невообразимые, а беспорядок и грязь превосходили даже то, что мы видели и испытали в Константинополе и Смирне. Местность оказалась холмиста, улицы узкие, тёмные и грязные, по которым приходится идти пешком и сталкиваться со встречными, то с ослом, нагружённым корзинами, то с караваном верблюдов, мягко и широко выступающих и составляющих собой непрерывную цепь — обоз, плавно покачивающийся на ходу с боку на бок. Со страхом, бранью и раздражением собрались мы в «Hotel Novard» и, хорошо позавтракав и хорошо погуляв в частном апельсиновом саду, забыли всю эту передрагу, которая

волновала и раздражала нас во всё это несчастное утро до глубины возмущённого сердца. Кругом нас благоухают цветущие апельсиновые и персиковые деревья; зрелые плоды апельсинов и лимонов выглядывают на кустах и, слегка качаемые ветром, балансируют на воздухе на гибких ветках вскормившего их дерева. Наркотический запах лимонного цвета приятно щекочет обоняние. То там, то сям, точно сторожевые пикеты, реют в воздухе высокие пальмы, покачивая редкими, но гибкими, как сталь, листьями, и гигантские кактусы стойко стерегут каждый сад, составляя собой живую изгородь. Приятно гулять в таком саду, любоваться южной природой, смотреть на колышущуюся зелень соседних садов, на Яффу, расположенную на высоком холму и так красиво выглядывающую, на острый минарет мечети и прислушиваться к отдалённому гаму восточного базара: к рёву осла, меланхоличному звуку маленьких колокольчиков, подвешанных к верблюдам отправляющегося в Иерусалим каравана. Забыты грязь, шум, нищета и лохмотья, виденные за полчаса перед этим. Перед вами проносятся вереницей глубь веков, религиозные воспоминания. Восстают библейские картины и лица, и, ярко озаряясь, олицетворяются в душе дивные силуэты прошлого времени. Бог мой! Как дороги они теперь, эти воспоминания рассказов, слышанные в детстве, всосанные с молоком матери, врезанные неизгладимо в вашей душе на веки вечные и восстающие перед вами в минуты только хороших душевных возбуждений. Поистине: *«Аминь, аминь глаголю вам: небо и земля прейдут, словеса же мои не прейдут»*; — то же самое совершается и с человеком, когда пробуждаются в нём живые струны впечатлительного сердца, те перлы, вложенные Богом, которые именуются — верой, душою, поэзией! Кто, смелый, может взяться перевести это на ходячий разговорный язык и передать другим в той же высоте гармонии и настроения, на которой вибрируют они внутри меня, в тайниках глубины моего трепещущего сердца? Великие умы, одарённые поэтическим настроением, иногда приближаются к такому ясному созерцанию, переводят эти высокие полёты духа на наш прозаический язык, но и они только приближаются, яснее видят, точ-



нее описывают, но отнюдь не могут передать вполне реальными средствами нереальных представлений.

Станция Рамли, 5 ч. вечера 19 марта. Ровно в 3 часа дня в фуре-карете, увешанной полотняными занавесками, запряжённой карикатурной тройкой лошадей в дышло, выехали мы из Яффы в Иерусалим. Сады, огороженные по межам колючими кактусами, старые придорожные здания, покрытые полусферическими сводами, точно гигантские опрокинутые котлы, одиноко и изредка реющие в воздухе пальмы, долго провожали нас из Яффы. Потом потянулись пашни, холмы, балки и на них бродящие маленькие стада овец. Дождь много раз то усиливался поливать, то переставал совсем. Дорога-шоссе пролегла всюду каменистая и очень неровная.

На станции Рамли — родина Иосифа Аримофейского и блаженного Никодима. Но кто теперь укажет, где то место, на котором жили эти святые люди, где те могилы, в которых покоится прах этих провозвестников истины?

Дальше дорога тянулась грязная, каменистая. Нестройная тройка лошадей едва тащила экипаж. Станцию 32 версты мы едва осилили в продолжение 6 часов времени.

20 марта на рассвете с западных высоких гор увидели мы Иерусалим. Кругом, куда только хватало зренья, виднелись горы и холмы — голые, безжизненные, унылые. Ни возле дороги, ни на горах и ни в глубоких впадинах долин не видно было ни дерева, ни кустика. Всюду мертво, всюду только голый серый камень. Ветер бушевал страшный; дождь периодически поливал, как из ведра. Город показывался нам мрачным, неприятным, и только высокие храмы русских построек да Омарова мечеть выделялись своими куполами, на которых высились крест и полумесяц.

Экипаж наш остановился у Яффских ворот. В самом городе улицы узкие, подъёмы и спуски крутые: а посему экипажное движение там немыслимо. Шлепая по грязи, промокшие от дождя и иззябшие от пронизывающего ветра, пошли мы в Иерусалим отыскивать гостиницу. Задача была не из легких, потому что все они были заняты и переполнены путешественниками. Кое-как нашли мы плохие номера в Hotel'e Meditereawn, с пансионом в 10 франков в сутки с человека.

# Иерусалим

20 марта.

Иерусалим! Как много говорящее внутреннему чувству слово! Иерусалим, о котором каждый христианский ребёнок слышит от своей матери такие умирительно-трогательные рассказы, видит наглядные изображения в картинах земной жизни Иисуса Христа. И этот Иерусалим, на 49 году моей жизни, в настоящую минуту перед моими глазами. Вот я утром в Великую Пятницу сижу на плоской крыше Hotel'я и передо мной открыт при ярком солнечном освещении весь настоящего времени город, храмы, развалины; передо мной из-за верхушки мечети Омара, на бывшем месте Соломонова храма, встают близкие зелёные горы — Елеонская, Вознесения и Искупления; вот тут, близко-близко, налево храм Гроба Господня, а справа высится в своих развалинах высокая циклопической постройки башня Давида, именуемая дворцом его имени. Внизу, по улице к Яффским воротам, тянутся процессии, одна другой шумнее и пестрее. Повсюду говор, шум, крики, звуки труб, литавров и барабанов. Изредка периодически несётся колокольный звон православных церквей; пронзительно и однообразно звучит раскачиваемый колокол католических монастырей, и вдруг весь этот аккорд звуков покрывается пронзительным криком привязанного ослика. Вздрагиваешь невольно и, удивлённый, не знаешь, как и где сосредоточить своё внимание, осмыслить свои впечатления...

\* \* \*

В первый же день приезда, только что отогревшись, пошли мы бродить по городу. Улицы в нём до того узки, темны и грязны; народу, толкающего вас справа и слева, так много; камни мостовой так неровны, что диву даёшься только, как тут люди живут, как тут может существовать город, да ещё такой город, как Иерусалим! Идёшь улицей, саженьях на 50-ти, где хотя и можно загородить всю её ширину, взявшись вдвоём за руки, но тут хотя проникает сверху свет и можно вовремя посторониться на выступ стены при встрече с мирно колыхающимся верблюдом или уклониться от неповоротливого осла. Но вот

продолжение улицы то под сводами, то под какой-то крышей. Темно, как в туннеле. Свет едва брезжит, и только пламя от кузнечного горна тут же в лавке работающего кузнеца да кухонный очаг стряпающего лепёшки араба, вспыхивая по временам, играет тёмными, движущимися тенями на проходящих и придаёт им чудовищный, страшный колорит. Тут уже идёшь наугад к выходу, где всё-таки светлее, больше воздуха, видны цвета красок. О каких-нибудь тротуарах на иерусалимских улицах и помина нет; всякая улица по рельефу — прямое ложе для стока дождевой воды и грязи.

Кругом пёстрая толпа народа со всего света: то яркая, оригинальная и грязная, то одетая в тёмные цвета нашего севера; то в белых тюрбанах и полосатых бедуинах, — запружает улицы и переулки. И над всем этим носятся, как пыль в воздухе, неумолкаемый говор, шум, крики, звуки рожков и пронзительные выкрикивания мальчишек.

Повернув несколько раз из одной улицы в другую, вдруг очутились мы пред храмом Гроба Господня. Это случилось как-то вдруг, так что мы встретили как что-то неожиданное, невероятное, а между тем именно и шли к этому храму. На площади перед ним кучами толпится народ, покупая тут же разложенные продавцами свечи, образа, чётки, крестики и т. п. Дверь в храм открыта. С трепетом, с замиранием сердца переступаешь порог храма и, готовый даже ко всему диковинному, невольно все-таки поражаешься и немеешь перед тем, что встречаешь там с первого же шага, рядом со святынями, перед которыми трепетно гнутся ваши колени. Вот налево, внутри храма, в глубокой нише разложены ковры, и на них сидят по восточному обычаю два турка, намеренно и с бьющим в глаза эффектом курят кальян. Вот далее стоит ряд турецких солдат с заряженными ружьями для охраны порядка между самими христианами разных вероисповеданий, с ненавистью относящимся к другим соперничающим христианам. Продавцы съестного толкаются между усердными богомольцами, ночующими в храме. Турецкие фески, арабские тюрбаны мелькают и шмыгают по церкви, как по рынку. Дети играют между собой с шумом и гамом. Кучка гидов, рассорясь между собой возле самой часовни Гроба Господня, затевает драку, прекращённую солдатом и мо-

нахом, надававшим в свою очередь веских ударов буянам. Внутренние стены храма темны от пыли; пол засорен разными нечистотами от ног людей, так как никто не хочет, да и не может очистить своей грязной обуви.

При входе в храм, минуя курящих кальян турок, прямо перед вашими глазами стоят на полу шесть колоссальных подсвечников — дар христианских наций и городов, между которыми горят неугасимые лампы, освещающая бледным светом лежащую на полу каменную плиту, на которой, по преданию, омывали тело Бога-человека. Поворачивая налево, к западному овалу храма, виднеется на полу мраморный круг, означающий место, где стояла Божья Мать во время крестного страдания Её Божественного Сына. Отсюда направо высится часовня Гроба Господня, именуемая по-гречески кувуклией. Вход в неё от алтаря храма Воскресения. Всё пространство между алтарём и часовней, вся часовня увешана лампадами и уставлена громадными подсвечниками, в которых горят масло и свечи. Часовня разделена на две части. Первая — это придел Ангела, где посреди её стоит низкая каменная колонна, внутри которой заложена часть того камня, который отвалил Ангел от гроба. Вторая — это и есть гроб Господень. Вход туда низкий и узкий. Воздух тёплый и спёртый. Пространство малое. Войдя туда, вы видите справа в стене две каменные плиты, составляющие собой две стороны гроба — верхнюю и боковую. Бог мой, как тут тесно и скромно! Но у вас дрожат ноги, захватывает дух и усиленно бьётся ваше сердце! Колени ваши сами собой гнутся припасть к земле, голова склоняется долу, и молитва — внутренняя, глубокая, смиренная молитва — без слов и звуков вырывается наружу... О, если бы одному, совсем одному с закрытыми дверями, без толкотни и давки, без шуму и гвалту, режущих ухо, провести тут час времени и внутренне, тихо, сосредоточенно пережить и воскресить в памяти перед этими божественными останками всю поразительно кровавую драму, совершившуюся на этом месте восемнадцать веков тому назад...

*24 марта.*

Сию минуту вернулись мы из храма Гроба Господня. Там с балкона католического отделения видели и слышали мы их торжественную литургию. Как у них чинно и

благоговейно совершается богослужение, и как скромно держат себя молящиеся в сравнении с греческими непорядками!

За часовней-кувуклией к её западной стороне прислонена другая, Коптская часовня, очень скромная по обстановке и очень малая по размерам. Против неё в капитальной стене храма ещё Коптская пещерная часовня, в которой обретаются несколько могил святых угодников.

Поворачивая в храме направо,ходишь поочерёдно в часовни — сириан, армян и католиков. У первых находится святыня — гроб Иосифа и Никодима, а у последних — часть гранитного столба, у которого бичевали Иисуса Христа. Ещё далее, по лестнице, спускающейся вниз, глубокий вход в пещеру-церковь, где был найден Животворящий крест царицей Еленой.

Занимая значительную центральную часть храма, устроен больших размеров православный алтарь, наподобие большого куба. С правой стороны его, на возвышении и на том месте, где была Голгофа, находятся православная и протестантская часовни под именем «Голгофа», где в пятницу Страстной недели поочередно совершаются торжественные службы сириан, коптов, армян, протестантов и католиков.

Прибавить ли мне о том, что храм Гроба Господня разделен, размерян на разные отделения, которыми заведывают и распоряжаются разные вероисповедания, точнее говоря, некоторые эксплуатируют их с полным оскорблением религиозного чувства. Кто мог бы допустить, что католики отгородили себе налево от кувуклии пять колонн и ниш между ними во всю вышину храма и при каждой религиозной церемонии продают их более или менее за высокую цену, смотря по удобству места, не разбирая, кто их покупает. Так, случайно пришлось нам заметить лестницу, ведущую на средний ярус боковых колонн, и мы вошли туда, заплатив предварительно значительный бакшиш, и заняли лучшее место за решёткой, где приготовлены были по турецкому обычаю тюфяки и подушки. Вид оттуда в первый день Пасхи на пышную и стройную службу католиков был поистине чудный, но, не могу не прибавить, несколько и театральный. Орган с его торжественными звуками, стройное хоровое пение,



колеблющееся пламя тысяч зажжённых свеч собравшихся, медленное, торжественно-внушительное шествие духовенства — одним словом, вся эта целиком взятая необычайная картина-жанр производила на нас неизгладимое впечатление.

Приглядываясь сверху на кувуклию, как-то сразу замечаешь, что верхний карниз переднего фасада этой часовни опять-таки разделён на три разные религиозные орнаментации. На средней, католической, возвышающейся над двумя другими, большое количество лампад, большая выпуклость и рельефность украшений и наверху господствующий крест с эмблемой угрожающей руки, поднятой у подножия его. По правую руку, на углу часовни, устроено, подобно католическому, греческое отделение — орнаментация, но меньшего размера и с меньшими украшениями. На левой стороне виднеется протестантское отделение, выдающееся большей простотой украшений и большей массивностью господствующего наверху креста против двух соперничающих вероисповеданий.

В греческом отделении, где живёт по-домашнему их духовенство, идёт ничем не скрытая продажа поминовения по усопшим, с произвольной таксой цен; даётся видным и богатым людям привет, благословение, удобное место на диванах, подносятся кофе, вино, букеты цветов; а бедняк, благоговейно приближающийся с трудовым, принесённым из России рублём, удостоивается только принятия от него этого рубля, чтобы небрежно положить его в широкий карман широкого кафтана, и потом нецеремонно выпроваживается вон. Идут вполголоса переговоры о задатке на какие-то квитанции, о которых пройдоха-странница многозначительно напоминает архимандриту: «Так же, как и в прошлый раз: ведь я не впервые», а он отвечает ей: «Знаю, знаю, будет сделано». Или приносит служка, раздававший места в храме любопытным и богомольцам, горсть серебряных монет и сдаёт их в тот же широкий карман архимандрита. Вот входит, видимо, богатая чета, архимандрит поспешно встаёт дать ей благословение и, получив золотую монету, хлопотливо распоряжается дать ей удобное место для присутствования при церковных процессиях.

Осматривая храм, я разговорился с нашим православ-

ным мужиком Харьковской губернии, который, глядя на всё это, со вздохом и сокрушённым сердцем сказал мне следующее: «Ведь нас, русских, бывает тут каждый год до 100 тысяч душ, и никто-то из нас меньше 100 р. не принесёт. Ведь на эти деньги золотом можно бы покрыть весь храм внутри и снаружи, а тут посмотрите-ка...». И он повёл пальцем по колонне, на которой густым слоем лежала пыль, до такой степени чёрная, что она рельефно осталась полосой даже на загрубелой и грязной руке нашего простолюдина.

Что прибавить к этому?

По приезде в Иерусалим я на другой же день три раза ходил к греческому патриарху для передачи ему рекомендательного письма и испрошения протекции на получение удобного места при пасхальных церемониях в храме Гроба Господня. Увидев его в пятницу на Страстной неделе и получив неопределённое обещание, я отправился прямо в храм, в греческое отделение, где принимают деньги за поминовение от русских паломников, где пьют, едят, курят и, говоря проще, живут, как дома. Здесь-то нам греческий архимандрит и устроил место отдыха, во время антрактов между торжественными службами, совершаемыми в этот день всеми христианскими церквями — сирианами, коптами, протестантами, католиками и греками. Нам дан был опытный кавас-проводник и устраивал нас на лучшие места при каждом очередном богослужении, начинающемся у своей национальной обособленной часовни, и потом процессия длинным крестным шествием обходила весь храм, начиная от кувуклии и кончая Голгофой, устроенной на высоте одного этажа в приделе греческого храма-часовни. Каждое вероисповедание выставляло проповедника, произносящего речь на том языке, на котором совершается служба, и лишь католики избегали исполнять этот обычай: проповедь у них говорилась по-французски. Каждое вероисповедание в своём богослужении имело свою оригинальность, свою духовную красоту, но каждое, на наш взгляд, имело и свои недостатки. Наиболее замечательны по своей стройности и оригинальности были богослужение сирийское и проповедь на чистом древнеарабском языке. Католическое богослу-

жение выделялось замечательной стройностью пения, порядка, но в своих формах, в особенности реализмом символа снятия тела Христова с креста, впало в крайне театральную декорацию. Греческое богослужение, видное, богатое по внешности, страдало отсутствием единства и порядка в шествии процессии и в особенности страдало сбивчивым пением своего хора. Даже знаменитое греческое *кириеэлейсон* благодаря беспорядочности хора не производило того впечатления, какое от него ожидалось. Один лишь патриарх Никодим, видный, хорошо образованный, был на своём месте и умел справляться со своей задачей.

Все эти службы всех пяти вероисповеданий заняли время от 3 часов дня до 1 часа ночи. Греки же имели ту особенность, что, начав службу у кувуклии, продолжали её на Голгофе; перешли потом к камню «омовения» и, обойдя его три раза не «посолонь», а против солнца, выставили наконец хорошего проповедника, сказавшего превосходную по интонации речь на каком-то восточном языке.

Присматриваясь ближе ко всем памятникам Иерусалима, его святыням, находящимся в ведении разных вероисповеданий у Гроба Господня, как-то невольно под конец обзора задаёшь себе вопрос: «Правда ли? Так ли это? Тот ли подлинно, вот тот камень, та плита, которые положены и охраняются с небрежностью, в пыли и прахе, но с таким страхом и любовью лобызаемые православными поклонниками?». И не имея доказательств, подтверждающих это, с тревогой вновь и вновь спрашиваешь себя: «Правда ли?». Под таким впечатлением я, разговаривая с архимандритом, коснулся косвенно мучивших меня вопросов и получил осторожный, но категорический ответ, что в храме Гроба Господня бесспорные, всеми признанные, только две святыни — это точное место Гроба Господня и такое же точно место Голгофы. Всё же остальное воспроизведено по предположению, по преданию и усердию христиан. Даже то, что принято называть словом «благодать» — огонь, ежегодно раздаваемый из запертой кувуклии двумя патриархами, греческим и армянским, — есть обыкновенный огонь и лишь освящённый благословением патриарха получает значение благодатного огня.

## Вифлеем

Идя по скорбному пути «Via Dolorosa», по которому влекли Христа на мучение и смерть, вам указывают дом св. Вероники, дом богатого и убогого, и, наконец, знаменитое окно над аркой, перекинутой через улицу, из которого было произнесено вечное слово: «Ессе homo!». На этом месте католический монастырь, внутри которого сохраняется древняя гранитная стена, у которой будто бы Христос стоял, стрегомый стражей.

В окрестностях Иерусалима каждое место и камень, каждая гора есть памятники священной истории Ветхого и Нового Завета. Куда бы вы ни ступили, везде и всюду вас поражают исторические древние памятники, с которыми каждый христианин знаком из священных книг со времён своего детства.

В двух часах пути от Иерусалима находится Вифлеем, где родился И. Христос и где поклонились ему волхвы, принеся в дар золото, ладан и смирну.

Дорога туда пролегает по дурному шоссе и более удобна для верховой, чем экипажной езды. Ближайшие окрестности к Иерусалиму около этой дороги — каменистые, угрюмые, пересечённые оврагами и холмами. Всюду пусто и мертво. И только в глубине лощин виднеется порой огонёк, признак убогого жилья арабов или пещеры пастухов, стерегущих свои стада овец. По дороге попадаются пешие люди, едущие на ослах, и изредка монотонно звучит хор колокольчиков, подвешанных к верблюдам медленно идущего каравана.

С половины пути к Вифлеему начинаются более высокие горы и более живописные панорамы, чем вблизи Иерусалима. Налево на высоком холме ярко горит освещённое заходящим солнцем белое здание католического монастыря. Это то место и холм, с которого вознёсся на небо пророк Илия. Немного далее, направо от дороги, виднеется старое, с острым куполом здание, называемое могилой Рахили. Ещё далее — глубокая древняя цистерна, современная жизни Богочеловека. А потом, за пологим, но высоким холмом, начинается Вифлеем, строения которого на южную сторону раскинуты красивым амфитеатром. Церковь, где находится великая святыня христиан-

ства, — пещера Рождества Христова, — построена царём Константином и поразительна по своей красоте и величественности. Мы были там в Великую Субботу около 4 часов вечера. Шла служба. Вся церковь была наполнена женщинами в белых покрывалах, и это придавало бы богослужению особенный, поэтично-благоговейный отпечаток, если бы не портило такое впечатление нестройное церковное пение да неугомонная игра детей, совершающаяся безнаказанно. Под алтарём церкви, на глубине полутора десятков ступеней, находится то место, где родился Христос, где были ясли, в которых Он возлежал, и тот выступ скалы, куда принесены были Ему дары волхвами!

С выдающегося мыса, заключающего собой поселение Вифлеема, открывается поразительно красивый вид на дальние, укатанные в синеву горы Мёртвого моря, а под ногами глубокие ущелья, теряющиеся вдаль, и над всем, поднимаясь зеленеющими уступами кверху, господствует Вифлеем, давая собой чудную перспективу восточного типа построек.

Уже стемнело, когда мы возвращались в Иерусалим. Чем дальше шла дорога, тем всё становилось темнее. Лошади шли ускоренным шагом. Предметы и камни начали принимать фантастические силуэты. Становилось жутко, и на сердце начали «скрести кошки». Закричит ли стоном осёл, звякнет ли неуклюжая цепочка верблюда, защёлкает ли какая-то вечерняя птица, всё так и кажется: «Что это? Кто это?». Но вот блеснули в темноте ночной огни в Иерусалиме, взвилась к небу пущенная кем-то ракета; сделаны ещё два-три подъема, два-три спуска, и мы у Яффских ворот; мы наконец дома — в Иерусалиме.

## Елеонские горы

*24 марта.*

Сегодня поехали мы на ослах на Елеонские горы. Минувя Яффские ворота, мы обогнули значительную часть Иерусалимской стены, спустились косогором к подошве Кедронского потока и поднялись тропой на половину Елеонской горы, по направлению к южному, крутыми террасами спускающемуся в долину мысу. Там, среди известковых камней и впадин, проводник-кавас остановил



наше внимание, что тут находится могила св.Лазаря. Мы сошли с ослов и полезли по крутой и узкой лестнице в каменную двухэтажную могилу-пещеру. Глубокая, седая старина веет от всего нас окружающего: большие почерневшие камни стен, стёртые ступени лестниц, узкие проходы, где нужно зачастую чуть не ползком пробираться к самому месту могилы, и спёртый тёплый воздух — всё и вся действуют на наше воображение каким-то грустным настроением. Восковые свечи, зажжённые при входе в склеп, слабо освещали спуск, и тёмное пространство впереди казалось нам какой-то чёрной бездной, куда спускаться было очень страшно. Мы остановились, наконец, под низкими сводами могилы, где виднелась только пыльная земля и небольшое углубление да каменные известковые стены, накрытые овальным сводом. Поклонившись святому месту, мы поскорей пошли обратно на свежий воздух — затхлый запах и абсолютная темнота заставили невольно сократить время осмотра.

Разместившись снова на ослах, извилистой тропой, где нельзя проехать колесным экипажем, мы поднялись с в. стороны на темя среднего массива Елеонской горы, обращённого к Иордану и Мёртвому морю. Кавас привёл нас к месту, принадлежащему теперь Палестинскому обществу, где архимандрит Антонин соорудил замечательную церковь, маленький виноградник и сад в палестинском смысле, в котором несколько пальм составляют его главное украшение. Всё тут ново на руинах и могилах старых, о которых красноречиво говорит музей-могила, устроенный под сводами алтаря из костей и черепов усопших отшельников, а может быть, и узников, замученных гонителями христианского учения.

Мы прошли в церковь, ещё тогда недостроенную, поднялись на колокольню и ахнули от восторга, глядя на вид, оттуда нам открывшийся. Вон виднеется синяя матовая овальная полоса Мёртвого моря, из-за которой глядят на нас скалистые безжизненные берега его, кажущиеся издали, в мареве прозрачного тумана, такими красивыми, что глаз оторвать от них не хочется. Вон р.Иордан, выглядывающая едва заметной голубой лентой между впадин и холмов, примыкающих к Мёртвому морю. А вон, около низкого холма, и место, где, по преданию, принял кре-

щение Иисус Христос и где глас свыше благовестил людям: «Се есть сын Мой возлюбленный, о Нём же благовестих».

И вид ландшафта, и места священные, связанные с дорогами каждому христианину воспоминаниями, рассматривались нами с душевным трепетом и благоговением. Читая Евангелие, слушая рассказы очевидцев этих мест, воображение наше рисовало нам и очертания Иудейских гор, и вид долин иерусалимских в ином расположении и освещении, чем предстоят они наяву теперь перед нашими глазами. Одно сознание, что вот на этом месте, вон на том камне, вот на этом крутом спуске, быть может, стоял, сидел и ходил святыми стопами Спаситель мира; одно это сознание, повторяю, даёт такую цену созерцанию, что для него никакая грань не кажется высокой.

Отдохнув немного, мы поехали на высшую точку горы Вознесения. Там, в открытом, но огороженном высокой каменной стеной пространстве стоит небольшое здание, превращённое в мечеть, куда навален разный домашний скарб арабов, в котором лежит на полу камень шероховатой поверхности, с которого совершилось вознесение Иисуса Христа на небо. Восторженное благочестие христиан видит на камне отпечаток босой ноги, оставленной Христом Спасителем.

По выходе из мечети, повернув налево, начинается крутой спуск к Иерусалиму. Вот отсюда-то часто смотрел Христос на этот город. Здесь Он сказал Своим ученикам пророческие слова, гласящие, что не останется от разрушения в этом великолепном городе камня на камне. И теперь Иерусалим — жалкие остатки прежнего величия и славы. Это руины, кое-где подмазываемые и даже не напоминающие своей внешностью прежнего блеска, несмотря на жертвы, приносимые со всех сторон христианского мира. И всё-таки город, даже теперь, с Елеонской горы представляется поразительно красивым. Глаз не хочется оторвать, глядя на живописную картину построек, покрытых разнообразными плоскими куполами, среди которых на высоком холме на том месте и на том фундаменте, где был храм Соломона, гордо красуется Омарова мечеть, а за нею направо с двумя куполами виден храм Гроба Господня. Да будет благословенно имя твоё, святой

страдальческий город, во всё грядущее время, каким ты был до сих пор для всего христианского мира!

По крутому спуску поехали мы вниз и у подножия горы, на левом берегу Кедронского потока, смотрели Гефсиманский сад, теперь занятое место католиками. В стене каменной ограды этого монастыря указывают камень (обломок круглого столба), у которого привязан был Христос. В саду растут восемь громадных деревьев маслин, таких древних, что усердие христиан относит их ко временам земной жизни Христа Спасителя. Сад разбит дорожками на маленькие квадраты и овалы, в которых зеленеют и цветут душистые растения. Монах-садовник, получая лепты, даёт желающим маленький букетик.

В глубине долины того же Кедронского потока виднеется квадратное, серо-пепельное, с плоской крышей старое здание — это храм погребения Божией матери. Всё тут веет глубокой стариной и на всём лежит древняя печать, которую подделать нельзя и невозможно. Спустившись по 12-ти ступеням в маленький дворик храма, вы видите направо пещеру, в глубине которой указывают вам на место, где взят был стражей Христос, чтобы идти на суд Пилата, на крестное страдание и смерть. По выходе из пещеры, направо, через узкие железные двери открывается вход в храм — в тёмное глубокое подземелье. Широкая лестница с протёртыми 50-тью ступенями приводит вас в подземную церковь, тёмную и сырую, но довольно обширную, едва-едва освещаемую теплющимися лампадами перед иконами и горящею свечой нашего проводника-монаха. На правой стороне церкви, в нише глыбы скалы, стоит великая святыня — гроб Пресвятой Богородицы. Среди церкви находится колодец-цистерна с чистой и вкусной водой. С зажжёнными свечами в руках мы обошли этот храм, осмотрели тёмные влажные стены, поклонились могилам св.Захария и Анны и вышли из храма с напутствием монаха, отвесившего нам низкие поклоны.

Вниз по Кедронскому потоку, как раз против стены-фундамента бывшего храма Соломона, стоит небольшая конусообразная башня — это могила или памятник Авессалому, сыну Соломона, возмущившемуся против великого отца, который на память потомству приказал сделать на памятнике символ — угрожающую мечом руку. Ещё

далее вниз, по бывшему течению Кедрона, виден вход в пещеру-могилу каких-то пророков. Отсюда вся нижняя котловина потока называется Иосафатовой долиной, в которую когда-то «соберутся все языцы».

## Заключение

Кроме этих окрестностей Иерусалима, которые были, есть теперь и будут ещё после, окрестностей неизменных, тех самых, на которые так же, как и я смотрю, смотрели древние народы, их пророки, апостолы, смотрел на них и Сам Иисус Христос, существуют ещё развалины, гроты, пещеры, облегающие весь Иерусалим, наполняющие громкими историческими именами все места, долины и горы. Иерусалим настоящего времени есть жалкий остаток или, вернее сказать, жалкая деревня, построенная на месте и из обломков прежнего великого и великолепного Иерусалима. Мы теперь, дети XIX века, ходим по толстому слою мусора, по дорогим старым мозаикам древних сооружений, засыпавших собой почву древних улиц, площадей и общественных зданий. Кто теперь докажет, что указываемый нам дом Пилата — есть дом Пилата, что камень, на котором сидел, или столб, к которому был привязан Христос, — есть тот камень, на котором сидел, или столб, к которому был привязан Христос, — есть тот камень и столб, на котором Он сидел и к которому был привязан? Воистину тут не осталось камня на камне, и всё древнее великолепие, быть может, лежало уже в руинах во времена самого Христа и, без сомнения, лежит в пыли и прахе, рассыпанное по горам, по всем тем закоулкам, засоренным и запустелым, которые мы топчем теперь нашими ногами! Кругом Иерусалима настоящего времени во все четыре стороны, и в особенности северную, указывают на многие признаки, что в древности город занимал громадную площадь и вмещал в себе до двух миллионов жителей. Немудрено поэтому видеть, что Соломоном употреблены были на основания внешних стен его храма камни гранита длиной до 1½ сажень и толщиной до 1½ аршин. Весь двор занимал площадь не менее одной квадратной версты. Мы, христиане, принявшие от евреев всю их дохристианскую историю, все библейские события, совершавшиеся на этом

и около этого места, все книги и памятники, сохранённые израильским народом, как-то забываем это и нередко платим им нашим презрением, преследуем их, издеваемся над ними и даже теперь, в конце XIX столетия, не умеем отнестись сколько-нибудь терпимо и деликатно к религиозному чувству еврея. Так, наш проводник еврей в Иерусалиме привёл нас к остаткам фундамента бывших стен двора, около храма Соломона, указал нам на подлинные камни того времени с такой силой благоговейного чувства к этой дорогой древности, сквозившего в интонации его голоса, в движениях его жестов, в замечании, сделанном им, что вот этот камень — гранит, в знак уважения, поцеловал Австрийский крон-принц, и тут же рядом со мной какой-то турист начинает палкой отламывать кусочек камня, чтобы положить его в карман на память. Такой вандализм хотя, быть может, и бессознательный, но прямо бьющий оскорблением религиозного чувства нашего проводника, неуважением его к святыне, у которой все местные еврей совершают ежегодно свой «плач» об утраченном еврейском народом величии, возмутил меня сильно и глубоко.

## Египет. Порт-Саид

Пароход «Минерва», принадлежащий австрийскому обществу, переполненный товарами и пассажирами, вчера только в 9 ч. отошёл из Яффы и сегодня в 9 ч. утра прибыл в Порт-Саид. Ночь была тихая, тёплая, звёздная. Море чуть-чуть колыхалось и почти не качало парохода. Большая Медведица ярко блистала на небе; другие планеты и мириады звёзд, мерцая по всему небосклону, давали ту степень мягкого южного полусвета, при котором всё окружающее точно живёт и дышит...

О Порт-Саиде мало можно сказать интересного. Он замечателен только тем, что устроен в устье Суэцкого канала, выходящего в Средиземное море. Почва берегов его — жёлтая, песчаная, выжженная солнцем равнина, и в окрестности его не видно даже ни холмов, ни возвышений. Все тут гладко, ровно и безжизненно. Даже дома и гостиницы Порт-Саида легкие, временные, на скорую руку построенные, вторят монотонному пейзажу окрестностей. Около портового рейда всегда такая сильная морская зыбь,



что пассажиры пароходов клянут её на всех возможных языках и наречиях.

Как всегда, мы пошли бродить по городу, заглядывая в лавки, прицениваясь к товарам и заходя порой в какое-нибудь кафе выпить стакан содовой воды или чашку кофе. Все подобные заведения в Порт-Саиде полны народом, начиная от приезжего европейца и оканчивая туземным феллахом. В каждом кафе на видных местах стоят кальяны, переходящие от одного посетителя к другому. Какой-нибудь араб или сириец то в феске, то в тюрбане, с бронзовым цветом лица и чёрными горящими глазами, медленно садится к столику и величественным жестом приказывает подать ему кофе и кальян. Едва прикасаясь губами к чашке, наслаждается он вкусом кофе и медленно потягивает кальян из поставленного перед ним прибора, предварительно обтерев грязной рукой конец чёрного эластичного чубука. Я не утерпел и также попробовал курение восточного кальяна и, откровенно заявляю, что оно было для меня лишь ново, давало вкус пряного, трудно уловимого, да разве ещё мало отвечало гигиене. Может быть, при частом употреблении кальян развивает вкус и дает вкусовую потребность удовольствия, — ведь почему-нибудь принят же он на всем Востоке, — но мой опыт привел меня к отрицательному результату.

Бродя по городу, мы зашли, между прочим, в местную народную школу, где обучаются грамоте дети обо-его пола. Здание школы, если только можно назвать зданием сооружение, сплетённое из тростника, обмазанное глиной, с двумя маленькими окнами и с постоянно отворённой дверью. В школе ни деревянного, ни каменного пола нет, и дети, человек двадцать, сидели прямо на земле, положив учебники на маленькие скамейки. Учитель сидел на возвышении в переднем углу школы, имея под рукой гибкий длинный тростниковый ствол, достигающий до задних рядов учащихся, и так слушал распев каждого ребёнка. По временам ловким движением он бил ленивого или непонятливого ученика концом тростниковой палки, которая, свистя в воздухе, опускалась на спину избранной жертвы. Ученик вздрагивал, нервно наклонялся к книжке и начинал громче распевать заданный урок грамоты.

В Порт-Саиде нет окружающих красивых берегов и зелени, придающей жизнь всякому пейзажу. Здесь всё поделено природой лишь на две части — лазоревое море, с одной стороны, и низкие жёлтые песчаные берега и степи, с другой стороны. Даже Суэцкий канал, его порт, пароходы в порту и каналы не вызывают приятных ощущений. Стоя в Порт-Саиде, вы видите среди равнин один-другой корпус парохода, точно заброшенные в песках сторожевые пикеты, и не видя самого канала, в первую минуту не знаете, что это такое. Только потом уже, когда ориентируетесь в местности или когда подскажут вам другие, перестанете удивляться такому нигде не встречающемуся виду.

Ровно в полночь 31 марта на маленьком почтовом пароходике отправились мы из Порт-Саида по Суэцкому каналу. Ночь была тёмная, безлунная, но звезды ярко сияли, мерцая в бездонном фоне неба. Было чувствительно-свежо нашей группе пассажиров, одетых в летние костюмы. Пароход быстро, но одиноко двигался каналом, который почти сливался с плоскими песчаными берегами окружающей пустыни. Кругом нас стояла мёртвая тишина, нарушаемая только плеском разбивающейся о пароходик воды да неугомонной толкотнёю кормового винта. В маленькой каюте поместились 12 пассажиров, когда она давала места только половине, а посему легко вообразить, каково было это помещение. На палубе же было холодно и сыро, и мы боялись простудиться. Там какими-то судьбами поместились две русские богомолки, едущие на Синай поклониться «Моисеевой памяти да мученице Екатерине».

Измученные теснотой помещения, мы решились выйти на палубу крошки-парохода. Было уже утро, и с каждой минутой становилось светлее и светлее. Берега канала стали выше и несколько интереснее. Появились значительные выемки, крутые повороты, высокая зелёная трава, окаймляющая воду. Навстречу нам стали попадаться большие морские пароходы, тиходвигающиеся каналом, чтобы не делать крупного волнения и не потревожить рыхлых песчаных берегов, легко сползающих в воду по крутым откосам узкого канала. Зачастую мы обгоняли плавучие землечерпательные машины, постоянно очищающие зап-

лывающее дно канала. Канал чем дальше, тем больше врезывался в возвышенности, на которых появились европейско-американские дома административных лиц, управляющих этим всемирным сооружением. Но вот при крутом повороте канала блеснула большая площадь воды, реющие в воздухе острые и белые паруса египетских лодок, а на дальнем горизонте, среди песков показался зелёный оазис деревьев, между которыми белели постройки и открытые веранды — это новое озеро морской воды, образовавшееся в низине путем Суэцкого канала и новый город Измаилия.

Было 7 ч. утра, когда наш пароход остановился у городской пристани.

Начало этого нового города весьма характерно. Компания Суэцкого канала, прежде нежели прокапывать канал, провела во всю его длину к половине расстояния побочный канал пресной воды из Нила, оросила эту местность, распланировала город, засадила улицы деревьями, и теперь развился прелестный городок Измаилия, построенный по европейскому плану, но утопающий в роскошной растительности Египта. Улицы города широкие, шоссированные и чистые. Всюду проведена арычная вода, масса тенистых аллей и ползучих, с яркими цветами растений. Всё это придаёт Измаилии необычайную прелесть и выделяет его среди песчаного моря пустыни во что-то светлое и радостное.

## Железная дорога Измаилия — Каир

Ровно в полдень выехали мы по египетской железной дороге из Измаилии в Каир. Здешняя железная дорога, имея общую всем дорогам конструкцию, отличается в то же время и некоторыми особенностями. Так, вместо деревянных шпал лежат прямо на песке железные шпалы. Ни полотна дороги, ни щебня нет и в помине. В вагонах первого класса всё обито кожей; в окнах, кроме стёкол, деревянные решетчатые жалюзи. Жара стояла страшная; мы изнемогали от неё, а туземцы преспокойно и, по-видимому, даже не стараясь искать тени, ходили, стояли и даже лежали на припёке. И что за пёстрая толпа людей кишит на станциях! Фески, тюрбаны, синие рубахи муж-

чин до шиколотки; чёрные лица, загорелые груди, босые ноги, закутанные в федры женщины и крик, и говор толпы, шумящей, выкрикивающей, поющей! Из окон вагона в обе стороны виднелась только голая степь песка, раскалённого солнцем. Куда ни взглянешь, всюду только жёлтая песчаная равнина, где не видно никакой растительности и даже не выделяется ни холмов, ни камней. Всё мертво и молчаливо, нарушаемое только лязгом проезжающего поезда. Удушливый зной томил нас до полного изнеможения, а жаркие солнечные лучи, казалось, проникали сквозь стены, жалюзи и потолок нашего вагона.

На одной из станций приглашённые хлопковым торговцем Молессоном посмотреть его фабрику, очищающую хлопок, мы рискнули пройти туда на расстоянии сажаней ста. И Бог мой! Какой невыносимый жар дышал от камней мостовой, от стен зданий! Это не тот жар, какой вы ощущаете, проходя около кузнечного горна на механических заводах в нашем климате. О, совсем нет! Здесь обдаёт вас жар со всех сторон, и вам некуда от него схорониться. Всё и всюду нагрето, и от всякой стены и забора пышет жаром, как будто сильнее даже, чем печёт само солнце. В полдень солнце стоит почти прямо над вашими головами, что выражается местным выражением: человек теряет тогда свою тень.

Осмотрев бегло фабрику Молессона, ничем, впрочем, не замечательную, мы вернулись в вагон нашего поезда. Под окнами его суетились потомки фараоновых рабов, разнося на голове кувшины и побрякивая стаканами у пояса, звонко выкрикивали: «Маия! Маия!» (вода, вода), предлагая пассажирам чистую речную воду. Жажда томит каждого едущего в вагоне, и он жадно глотает воду из узкого горлышка египетского кувшина.

Часа через три езды от Измаилии показалась зелёная полоса оазиса вновь разводимой растительности по ту и другую сторону Нильского канала, на всю ширину, какую только в известное время года может оросить этот канал или, говоря точнее, затопить его на несколько дней. Песок этой пустыни, раз затопленный водой, через два-три года начинает растить зелень, а ещё, орошаемый постоянно, быстро развивает всю чудную египетскую флору, все эти новые деревья, которым иной раз не знаешь ни имени, ни

назначения. Луговых цветов в нашем русском смысле и значении здесь нет и помину. Тут растут только розы, олеандры, пальмы, сахарный тростник, дивные кусты с гибкими цветущими побегами — ни лугов, ни полевых цветов нет и не бывает. Целые леса пальм в рощах, купах и одиночно прекрасных издали; листья их поэтично реют в воздухе, но между ними нет ни тени, ни прохлады. Сами пальмы, которые нам, северянам, кажутся такими дивными и красивыми, здесь считаются едва ли важнее, чем считаем мы свои сосну и берёзу. По крайней мере ни в одном городе и ни в каком частном культивированном саду их нет; они считались бы там за слишком обычные деревья, не дающие ни тени, ни цветов. Поневоле скажешь здесь; о, Господи, как условны человеческие понятия о прекрасном у разных рас и в разном климате!

Чем ближе подвигались мы к Каиру, тем оазис зелени становился шире, растительность сильнее и разнообразнее. Но вдруг подул южный ветерок, здесь именуемый «хамиш». Ветер в первые минуты пошевелил по крайней мере воздух, дотоле стоявший неподвижно, и хоть тем доставлял нам, неопытным, обманчивую отраду. Но скоро мы узнали всю его предательскую сторону. С каждой минутой ветер становился жарче и накалённее, и с каждой же минутой нами стала чувствоваться сильнее и сильнее тончайшая пыль в воздухе. Всё было закрыто в вагоне — окна, двери, вентиляторы, но ничто не помогало: мелкий песок и тончайшая пыль проникали всюду. Наше платье, руки, лицо, волосы, вся вагонная обстановка покрылись этим убийственным порошком песка и пыли. Стало невыносимо душно и вызывало кашель, потому что пыль проникала в горло, а «хамиш» продолжал обдавать нас непрерывным потоком пыли.

Но, слава Богу, что нам пришлось испытать ещё слабую степень африканского «хамиша». Когда же он подует во всю силу большого ветра, а тем более урагана, в то время летнего, ещё более жаркого сезона, тогда «хамиш» бывает прямо ужасен и грозит гибелью всякому живому существу, застигнутому им в пустыне.

Через каких-нибудь 30 минут времени ветер прекратился, и мы открыли в вагоне окна, чтобы любоваться вдаль открывающимся видом Каира.



# Каир

Ровно в 5 ч. вечера 1 апреля увидели мы тонкие минареты мечетей Каира, серо-беловатые здания города, между которыми выглядывали красивые веера пальм. Через четверть часа мы были уже на каирском дебаркадере железной дороги. Ещё минута-другая, и мы едем уже в дилижансе гостиницы «Hotel d'Orient». С какой жадностью вглядывались мы в толпу людей, снующую взад и вперед по улице, на дома странной архитектуры, хотя в то же время и улица, и экипажи были европейского фасона, и только большинство людей, масса их, были другого типа, да сознание того, что мы в столице Египта, на месте фараонов и пирамид, напрягали наше любопытство до высшей степени.

Почти не спавшие в предшествующую ночь на пароходе, истомлённые жарою в поезде железной дороги, мы успели только пообедать, едва взглянуть с балкона гостиницы на городской сад, на шумную улицу и площадь, как бросились в постель и уснули, как убитые.

2 апреля, взявши драгомана и ландо, мы поехали осматривать город и замечательные сооружения или по своей древности, или по своей особой архитектуре.

По длинным, порой даже правильным улицам приехали мы к мечени Гассана, зданию, наружно полинявшему, но сохранившему полную оригинальность арабского стиля. В узкие двери, у которых навязывают вам суконные или камышовые туфли, вы входите в небольшое здание-храм с плоским куполом и восточной орнаментацией. Вы не видите в этом ничего замечательного и невольно начинаете думать: неужели это тот прославленный храм, о котором с такой восторженностью говорят хроники, так чудно описывают туристы? С этими сомнениями и вопросами самому себе вы вдруг поворачиваете налево, на громадный квадратный двор, у которого стены с трёх сторон оканчиваются наверху арками, составляющими половину купола; четвертая же стена высоко, правильно и резко отгораживает прямой линией небесное пространство. Пол вымощен мраморными плитами; посреди двора струится неумолкаемый фонтан, обнесённый кругом восемью тонкими арабскими колоннами, по карнизу которых узорчатой золотой полосой блестят изречения Корана. В разных местах этого двора-

храма сидят на циновках последователи ислама, совершая обычную молитву. Пройдя двор и остановясь под аркой-куполом, чтобы окинуть общим взглядом храм, совсем не похожий на наши храмы, вы остановитесь, как вкопанные, — так поразит вас это необычайное сочетание форм и линий арабского архитектурного искусства. Внизу громадный блестящий мраморный пол; посередине, под острой изящной крышей, на тонких арабских колоннах сверкает фонтан; вверху высоко-высоко висят на стенах чудные сталактитовой формы полусферические арки, а над ними сверху во всё открытое пространство льётся масса света и как бы накрывается безоблачным, лазорево-прозрачным, неопикуемой красоты небом.

Долго стоишь на этом месте в немом восторге, не находя слов и образов, чем бы можно было выразить хоть приблизительно, хоть как-нибудь, что это за чудо, созданное гением восточного народа!..

В глубине одной арки перед вами входная дверь в храм-мечеть, где стоит гробница основателя султана Гассана из рода Бахаритов. Переступив порфиновый порог, вы от яркого дневного света и синего цвета неба вдруг входите в храм, где всё тонет в глубокой тишине и таинственном полумраке. Из высокого купола льются умеренные потоки света, освещая громадные сталактитовой формы карнизы, сделанные из сандалового дерева. Кругом стен в виде арабесок широкой полосой из разноцветного мрамора, но в общий тон господствующего цвета, тянутся стихи Корана.

Я не буду описывать другие мечети, осмотренные нами, хотя и представляющие интерес, но интерес второстепенный. Упомяну только об исторической древней мечети — Амру, наполовину разрушенной и умирающей. Она занимает своей колоннадой громадную площадь-двор, который был обнесён со всех сторон колоннадами. Всех колонн в ней было 366, и капитель ни на одной из них не была похожа на другую. В одном углу оставшихся неразрушенных колонн стоит гроб самого строителя Амру. Храма с куполом уже нет. Уцелевшие ряды колонн перекрыты вместо сводов временной крышей.

Бывшая мечеть Амру, а теперь остатки колоннад, в настоящее время превращена в высшее духовное учебное заведение, считаемое населением чуть ли не университе-

том. Профессора-муллы и их слушатели-студенты сидят, поджавши ноги, между колоннами, внимая лекциям преподавателей. Они тут же и живут в самой примитивной обстановке. Говорят, будто всех учащихся до 5000 человек. Когда мы проходили мимо этих групп, то ясно заметили, с какой ненавистью смотрели их глаза и выражали мины лиц на наше, видимо, неприятное для них посещение.

После этого мы ездили осматривать могилы мамелюков, великолепные гробницы хедивов с их роднёй, кругом которых группами сидят, раскачиваясь направо и налево и громко распевая стихи Корана, мусульманские муллы и их кандидаты. Интереснее других оказалась цитадель, господствующая над Каиром и имеющая такое же значение для египетской столицы, какое имел замок Ангела для Рима. Кто хозяин цитадели, тот хозяин и Каира. Там теперь хозяйничают англичане, а потому они владыки столицы и страны, ненавидимые, прокливаемые, но тем не менее распорядители судеб Нижнего Египта. В цитадели существует превосходная современная мечеть Магомета-Али и при ней квадратная мраморная величавая колоннада. Внутренность мечети отделана с большим вкусом и изяществом, но план её — близкая копия храма св. Софии в Константинополе.

Оттуда повели нас в какой-то закоулок той же цитадели и показали глубокий колодец, выдолбленный в скале, в 80 метров глубины, будто бы ещё прекрасным Иосифом, сыном патриарха Иакова. На дворе цитадели место, где знаменитый авантюрист, а потом хедив Магомет-Али, заманил на мир 40 предводителей мамелюков и, заперев ворота, приказал перестрелять их, как зайцев. Один из этих сорви-голов, увидя свою участь, разгорячив коня, заставил его прыгнуть через решётку скалы и упал с ним с 20 саженьей высоты, разбившись вдребезги. Зато память о нём живёт в египетском народе и записывается в хроники туристами.

Когда мы подошли к решётке этого двора, обращённой к городу и Нильской долине, и взглянули на панораму, расстилающуюся перед нами, то поистине были поражены и очарованы волшебной картиной: под ногами у нас, раскинувшись, лежал Каир с прелестными светлыми тонами красок, куполами мечетей и другими восточными сооружениями. То там, то сям уходила к небу ост-

рая игла высокого минарета, выделялась башня дворца, выглядывала веранда и зеленелись сады. Налево светлой сверкающей полосой блестел Нил, по которому скользили белые паруса египетских лодок. Правее, за Нилом, тянулась широкая аллея сикомор-акаций, а за ней выглядывали исторические пирамиды. Нужно ли говорить, что мы чувствовали в эту минуту!

## Пирамиды

Кто из приезжающих в Египет не стремится прежде всего побывать на пирамидах, посмотреть на пирамиды? Каждый путешественник, как только приближается к Каиру, непременно ищет на горизонте острой верхушки исторического великана, знакомого по рисункам с самого детства. Неутолимое любопытство томит душу, и чем ближе подъезжаешь к великому памятнику, и в особенности к такому, как пирамида Хеопса, нетерпение неудержимо тянет к ней и не даёт вам покоя. По приезде в Каир мы в первый же день поехали бы к пирамидам, но драгоман отеля охладил наш пыл рассказом, что надо ехать туда только в 3 ч. утра.

Назавтра не было ещё и трёх часов ночи, как дежурный негр постучал в дверь и мы, наскоро напившись кофе, поехали к пирамидам в заранее заготовленной коляске. Ночь была прохладная, ясная. Глубокое небо тихо светилось сонмами звёзд над нашими головами; Млечный Путь казался взору далеко иным, чем кажется у нас на севере: он совсем висел в воздухе, среди и позади которого ярко горели звёзды и планеты. Фон неба казался тёмным и таким глубоким, что будто это было другое небо с другой, ещё более неизведанной глубиной, какую мы видим у себя дома.

Город был тих: всё в нём спало, и даже не видно было ни уличных сторожей, ни городских на своих постах и ни извозчиков, дремлющих на своих козлах. Только одни газовые фонари, освещающие улицы и площади, да где-то раздирающий ухо крик осла говорили вам, что едете по большому городу. Куда ни взглянешь, всюду встречаешь другой вид и картину против того, какие были при свете дня. Люблю я наблюдать такие разительные повторяющи-

еся перемены и уходить в себя в такое время. Вот угол решётки городского сада, в котором вечером играл оркестр музыку и гуляла публика; вот кафе, набитое народом; вот площадь, на которой шумела толпа людей, гудела шарманка и кричали разносчики воды и лакомств. Теперь те же самые места, но они безмолвны и пусты. Ещё пройдет каких-нибудь 2—3 часа времени, и снова та же пёстрая толпа наполнит площади, и закипит опять такая же шумная жизнь, какой она была вчера, позавчера и каждый день.

Скоро проехали мы железный мост, перекинутый через Нил, и повернули налево берегом реки, вдоль аллеи громадных сикомор. Нил тихо катил свои воды и выглядел грязневитой, теряющейся вдаль полосой бурого оттенка. На нём не было ни судов, ни пароходов, и только кое-где силуэтами чернелись причаленные к берегам лодки местных рыбаков и перевозчиков. Отовсюду веяло чем-то тихим, таинственным, точно тени давно умерших народов мирно носились в воздухе, кружились над рекой и в развалинах древних городов. Но вот дорога повернула в другую аллею сикомор, направо. Воздух стал ещё свежее. Кучер-араб чаще хлопает бичом и громче покрикивает на лошадей словом «ла». Мы кутались в пальто и пледы и перекидывались отрывочными фразами, но то и дело вглядывались вперёд, желая поскорее увидеть знакомую верхушку пирамиды. Нетерпение наше росло с каждой минутой; дорога казалась бесконечной. Где-то в темноте зазвенели колокольчики, и навстречу нам выросли высокие движущиеся кучи, мирно покачиваясь в воздухе. Это шёл караван верблюдов, нагруженных свежим пахучим клевером. А пирамид всё ещё нет. Дорога-шоссе, проложенная по высокой насыпи на заливаемой Нилом долине, узкой лентой блестела впереди и уходила в дальнюю глубину аллеи.

Начинало светать.

Прошло ещё с полчаса томительного ожидания. Внимание приковывалось к одной стороне. Господи, да как же это далеко! Ведь вчера с высоты цитадели видели мы эти пирамиды так близко, точно рукой подать, а между тем теперь едем уж, кажется, часа три. Не может быть! Нам сказали, что путь займет не больше двух часов. Бе-



решь, открываешь часы и видишь, что времени протекло только полтора часа. Чувствуешь досаду, жмёшься в угол коляски и снова ждёшь и ждёшь.

Но, чу! Вот встрепенулся кучер, проглотил какое-то арабское слово, обращённое к проводнику, а тот, оборотясь к нам и показывая рукой налево, промолвил: «Пирамиды». Мы выглянули. За верхушками акаций и сикомор в полупрозрачной мгле раннего утра выглядывали действительно линии пирамид. С этой минуты мы только понукали кучера, и пирамиды росли перед нами, принимая всё более ясные очертания. Сквозь деревья мы видим уже песчаную гору у их подножия, а у самой горы — арабскую деревушку и пару белых домиков, в которых живут какие-то англичане. Дорога подошла к самой горе, обогнула радиусом эти обрывистые скалы, заметённые теперь сыпучим песком пустыни и превращённые в отлогие, с гладкими линиями холмы, и остановились у самой Хеопсовой пирамиды.

Мы вышли из экипажа. Перед нами высилась громада, уходящая, казалось, верхушкой в небо. Какая-то сила, что-то страшно необъятное, неподвижное, вечное так и веяло от этой искусственной горы-великана, сложенной руками человека назад тому шесть тысячелетий!

К нам неслись восемь человек бедуинов в своих белых плащах, чтобы помогать нам взбираться на пирамиду. Раздумывать было нечего, а страшиться того, как влезать на полторааршинные камни-ступени, неровно выглядывающие наружу, не стоит и труда. Ведь лезят же другие! Полтора часа подъём, полтора — спуск, большого труда, куда ни шло, — так вертелось в воображении, а бедуины уже подхватывали нас под руки, вздёргивали на первую ступень и как по карнизу вели к острому ребру пирамиды. Я успел только взглянуть на часы. Было ровно 5 часов 10 минут. «Эх, — подумал я, — опоздаем к восходу солнца». Но бедуины не дремали. Вскочат как-то вперёд на высокую ступень, едва касаясь её рукой и одним взмахом вздёргнут вас за руки кверху, так что едва успеешь занести ногу и опереться носком о камень, как уже стоишь твёрдо и снова тем же способом вздёргиваешься ими кверху, едва успевая поднимать ногу. Пот льёт с вас градом; легкие работают усиленно, но вы поднимаетесь всё выше и выше.

Бедуины только подзадоривают, восклицая: «Елла! Елла!», и тащат вас немилосердно кверху. И только там, где отколоты камни и где приходится опираться ногой о выступ каких-нибудь в полтора вершка шириной, вас поддерживает сзади бедуин, сам опирающийся на нижнюю широкую ступень пирамиды. Поднявшись на одну треть высоты, делается минутный роздых, а потом подъём снова; ещё раз роздых, и уже остановка потом на верхушке пирамиды, всегда оглашаемая криком победы — «Ура!».

Вы дышите тяжело; у вас спёрло в груди; руки и ноги дрожат; вы едва верите себе, что стоите на верху Хеопсовой твердыни... Я взглянул на часы: было 5 часов 28 минут. Я едва верил глазам, мы поднимались только 18 минут. Да неужели! Арабы, прочитав в наших глазах недоумение, твердят:

— Vous-etes tres fot. Bravo!

В первую минуту как-то растерянно смотришь во все стороны, не давая себе ясного отчёта, где находишься, что видишь и что вспоминаешь. Я зачем-то полез в карман и машинально взял оттуда компас и, помню, задал себе вопрос: «Зачем это?». И тут же вспомнил, что я сам приготовил его, чтобы проверить, по какому направлению построены стороны пирамиды. Бедуины живописно улеглись на площадке и не сводили глаз с нас, поминутно задавая вопросы и предлагая для покупки античные египетские фигурки, будто бы найденные в гробницах мумий.

Я помню момент, когда встрепенулось моё полное сознание. Я встал с камней на ноги и мысленно поклонился великому светилу Озирису, которое начинало золотить облака и одевать их в яркие цветные одеяния.

*«Сиял восток, и Нил блестел священный...».*

Я осмотрелся кругом. Вот эта сторона восточная, эта — южная, эта — западная и вот четвёртая, северная. Потом опять та же восточная. Боже! Да как же тут не славословить Твоё величие, не кланяться Твоему Востоку?!

Бывал я на своём веку во многих странах Европы; видывал я прелестные пейзажи, суровые горные виды, восхищался ими, не находил слов и выражений описать их. Но то, что я видел, стоя на пирамиде, превосходит всё когда-либо мною виденное. И вот я в Каире 6 апреля, упоённый тёплым ароматом африканской ночи, отворил

балкон номера гостиницы, сижу и пишу эти строки, тщетно стараясь подыскать подходящие выражения, и грустно верчу мой карандаш, не находя ни слов, ни образов для передачи волновавших меня впечатлений. Я перечитал места книг, описывающих пирамиды у Мордовцева и Андреевского, но и там не нашёл того, что думал найти. Верно, действительность вида, действительность исторического памятника таковы, в самом деле, что они давят своим величием, превышают наши представления, а потому и не поддаются точному описанию. Впечатление, получаемое человеком с площади Хеопсовой пирамиды, так многосложно и сильно, вид пейзажа на все четыре стороны так грандиозен и подавляющ, что действительно чувствуешь себя в полном бессилии перед ними и ставишь поневоле точку окончания.

Пирамида издала снизу, от её подножия, кажется острой и слегка с закруглённой верхушкой. На самом же деле платформа наверху имеет 14 аршин длины и ширины. Вся она покрыта и изрезана надписями имён и фамилий лиц, там побывавших. Вышина её теперь 192 аршина. Скала, на которой она стоит, считается 90 аршин высоты. Таким образом, вы, стоя на площадке, находитесь на высоте 280 аршин и видите перед собой: *на восток*, под самой пирамидой и скалой, чёрные здания арабской деревушки, за которой тянутся зелёные поля ячменя и пшеницы, перерезанные каналами и оттенённые рощами высоких пальм, живописно выделяющихся в воздухе. За ними извилистой светлой лентой блестит великая река Нил, а за ней замыкают собой горизонт Маккатамские горы, у подножия которых раскинулся старый и новый Каир, с высокими, как острые иглы, уходящими к небу минаретами. *На юг* идёт ряд пирамид — Хеврена и Саккарских, а за ними равнина, где когда-то стоял величайший в мире город — Мемфис. *На запад* — ровное, неизмеримое песчаное пространство Ливийской пустыни. *На север* — вся зеленеющая дельта Нила, прорезанная каналами, а отсюда плодородная и цветущая. Куда ни взглянешь — всюду страшная даль! Воздух свеж и прозрачен. Дышится легко и свободно. Переливы красок и теней восходящего солнца придают такую живую красоту видимой перспективе и предметам, что, глядя на них, стоишь, как очарованный. Вот

заволокло солнце маленьким облачком, из-за которого полились кругом расходящиеся радиусом лучи и образовали неопишуемой красоты картину. Вот загорелись розовым светом верхушки минаретов мечети Магомета-Али, заблестела и порозовела облицованная вершина Хевре-новской пирамиды, покрылся беловато-розовым туманом Нил, и зареяли в воздухе одетые в густой колер зелени высокие пальмовые веера. Картина приняла опять новый вид, ещё великолепнее предыдущего!

Проводники арабы рассказали нам, что пирамида Хеврена, тут же недалеко стоящая, недоступна не только для европейцев, но и для арабов, потому что верхушка у неё на  $\frac{1}{4}$  часть высоты до сих пор не потеряла ещё глазуревой облицовки и что только один из них Сель (Seul), как они говорили, может на неё взобраться, если мы заплатим ему 6 франков. Как тут не соблазниться, зная, что пирамида Хеврена имеет высоту 189 аршин. Не прошло и 10 минут, как загоревший бедуин спустился с пирамиды Хеопса и был у подножия пирамиды Хеврена. В течение следующих 8 минут он был уже на её вершине и махал нам оттуда своим белым плащом. «Ура!» — гремело ему в ответ за его ловкость и отвагу.

Когда пришлось спускаться с пирамиды и когда я остановился на краю камня первой верхней ступени и взглянул вниз, то сердце моё как-то сжалось и затрепетало. Глубина казалась страшная, крутизна — головоломная! Спускаться же надо так, как спускаются с домашней лестницы, лицом вперёд. Глаза закрывать нельзя, потому что надо искать ногами точку опоры. Но бедуины, ловкие, как серны, не дают вам сделать ошибочного шага и не позволяют ступить неверно.

Через 12 минут мы были уже внизу, вблизи зияющего отверстия, ведущего внутрь пирамиды, в царские комнаты, где стоят саркофаги фараона Хеопса и его супруги. Надобно обладать значительной долей решимости, чтобы ползти туда тёмным коридором, где рискуешь упасть в обморок. Не зная того труда и напряжения, какие тут понадобятся, и полагаясь на подзадоривающие увещевания бедуинов, решаешься скользнуть по крутой гранитной плоскости, чтобы изведать новое ощущение.

С зажжёнными восковыми свечами, согнувши свой кор-

пус в 90-градусный угол, полезли мы этим коридором в крошечную тьму пирамиды. Вероятно, проводниками кое-где на полированном граните сделаны мелкие насечки, на которые их босые ноги опираются. Мои же ноги скользят, и я постоянно падаю и качусь вниз, точно с ледяной горы. Чем дальше мы подвигаемся, тем путь становится труднее. Воздуху кажется мало, дышится тяжело. Минут через пять мои ноги вдруг погрузились в рыхлую сухую землю. Меня поставили на ноги. Я пришёл в себя и при огне тускло горевших свечей огляделся. Надо мной гранитный потолок, в котором отражается пламя свечей. Я вижу небольшую комнату. У одной из боковых стен виднеется арка, а над ней, у самого потолка, чернеет квадратное отверстие, по которому нужно подниматься в верх пирамиды. Ни лестницы, ни ступенек нет. Проводники молчат и по временам только жестами показывают дальнейшую дорогу. Я безнадежно прислонился к стене и не знал, на что решиться — идти ли вперёд, или вернуться назад. Но в этот момент один бедуин, согнувши туловище, прислонился к стене ниже входа; другой вскочил на его спину и прыгнул в тёмную пасть отверстия; третий, ухватившись за край карнизного гранита, повис в воздухе, и не успел я опомниться, как четвёртый схватил меня, крикнул «prenez fort», приподнял от земли и передал висящему товарищу, который одной рукой поднял меня ещё выше и втолкнул в отверстие верхнего коридора. Всё это было сделано так быстро и ловко, что нельзя пересказать словами.

Верхний коридор был таким же проходом, как и первый, — не больше полутора аршин ширины и высоты, с такими же гранитными полированными стенами, полом и потолком, но с той разницей, что вместо спуска поднимался кверху и был ещё труднее для прохода. Ноги мои поминутно скользили, и я невольно падал. Дышать становилось совсем трудно, коридор казался нескончаемым. Я начинал терять силы, голова моя кружилась, в висках стучало, и я думал, что вот-вот потеряю сознание. Ещё минута — и я стою твёрдо на какой-то площадке, и впереди виден новый высокий коридор, уходящий опять вверх. Я хотел было вернуться назад, но боюсь, что в узком коридоре упаду в обморок, а потому рассудил мысленно: луч-



ше перенести обморок, если он случится, здесь, где всё-таки просторнее, и безнадежно опускаюсь на гранит. Повертываю голову и вижу, что в верхнем коридоре мелькают тени, видны зажжённые свечи, и слышатся голоса. Мимо меня проходят люди, и какой-то между ними седой старик, тяжело дыша, говорит мне: «Bon voyage».

Минуты через две слабость моя прошла. Я решился следовать до конца. Проводники-бедуины предложили мне за один франк вознаграждения некоторое развлечение. В стене напротив меня было отверстие, ведущее в сухой колодец около одного метра диаметром. И вот один из них взял в губы зажжённую свечу и, упираясь в стены колодца руками и ногами, спустился в глубину его. Чтобы заглянуть, как он спускается, я лёг на край колодца, а бедуин держал меня за ноги. Глубина колодца была около 10 сажен. Становилось жутко и страшно. Я крикнул: «Assez, assez!».

Через две-три минуты мы снова полезли вверх. Этот коридор блестел от огня наших свеч: так хороша была полировка тёмно-розового гранита, отделанного фараоном Хеопсом ровно 5900 лет тому назад. Я еле передвигал ноги, почти повиснув на руках моих проводников. Коридор тянулся как бы без конца. Все дышали часто, тяжело. Свечи наши горели тускло. Но вот и коридору конец. Мы в зале. Я прислонился к стене и перевёл дух. Проводники зажгли магниевую проволоку и осветили усыпальницу Хеопса. Это оказалась комната 16 аршин длиной и по 8 аршин шириной и высотой. Гранитные монолиты, из каких она построена, таковы, что их положено на потолок только пять, а в стенах каждый длиной 4 и вышиной  $2\frac{1}{2}$  аршина. Среди залы стоит пустой саркофаг Хеопса из того же розового гранита. Я едва мог отыскать швы между монолитами стен и пола, так они тщательно притёсаны и отполированы. Боже праведный! Да какое же количество человеческих жизней и труда положено на то, чтобы высечь, отделать и втащить на такую высоту подобные гранитные чудовища?! Вычислено, что теперь, даже после ограбления облицовки, пирамида Хеопса всё ещё имеет 2.350.000 кубических метров камня!

От Нила до пирамид была построена высокая гранитная дорога, сама по себе составлявшая 8-е чудо света, теперь бесследно разграбленная.

Осмотрев подобную же, но меньшего размера залу, где находится саркофаг жены Хеопса, мы тем же путём начали возвращаться назад. Спуск был, пожалуй, ещё труднее, чем подъём. Я постоянно скользил и падал. Меня чуть не на руках несли проводники-бедуины. Большой третий коридор также осветили магнием. Высота его около 8 аршин, ширина —  $3 \frac{1}{2}$ ; свод сделан из 5 линий карнизов. При освещении магнием гранит блестит ещё лучше, чем в усыпальнице фараона Хеопса. Здесь я уже никак не мог заметить швов между монолитами гранита; некоторые уверяют даже, что эти стены коридора сделаны из целых глыб гранита. Форма коридора точь-в-точь такая же, какую я видел в Керчи в насыпи Митридата.

Меня вытащили на свет божий еле живого, еле дышащего. Всё на мне было в песке и пыли и пропитано потом. Я выглядел живым мертвецом. Старик-француз, попавший мне навстречу в коридоре пирамиды, сидел на камне и отдыхал. Он оказался живущим в домике около пирамиды и был египтолог. Любезный учёный пригласил нас к себе в дом отдохнуть и выпить по чашке кофе, заметив нам, что это тот самый дом, который был построен когда-то для приёма экс-императрицы Евгении.

Отдохнув от утомления, мы пошли с шейхом к едва видному из-за песка знаменитому египетскому сфинксу. Пришлось пробираться по обломкам камней и по сыпучему песку, который изо дня в день заметает и погребает под собой памятники и города по всей Нильской долине.

Высеченный в скале в пору самой глубочайшей древности, *поправленный* уже фараоном Хеопсом сфинкс лежит теперь по плечи в песке, и только шея да голова его, изъеденная временем, испорченная народами, говорят вам о его первенстве и величии в ряду всех памятников, сделанных человеческими руками. Сфинкс высечен из скалы и высота его, не считая цоколя, равна 28 аршинам. Теперь же тело его засыпано песком, и только могучий хребет-скала выглядывает наружу, да величавое выражение лица издали говорят о чём-то древнем и недостижимо великом...

Бок о бок с пирамидой Хеопса, открытые из песка, на большой глубине лежат остатки храма — фундамент, часть стен и группа квадратных колонн, — построенного из цельных монолитов. Полагают, что храм этот *в древности*, во

времена ещё Хеопса, считался храмом Изи́ды и был тогда поправлен строителем пирамиды. Какой же нескончаемой вереницей веков, в глубь истории, мы должны считать постройку этого храма и создание скалы — Сфинкса, если то и другое строители пирамид, поправляя, относили «к глубокой древности», живя сами за 5900 лет до нашего времени? Поистине живя здесь и видя несокрушимые памятники Египта, совсем не знаешь, какие употреблять термины и выражения. Глядя на обелиск Гелиополя, поставленный за 4800 лет, рассматривая саркофаг Аписов за 3250 лет или любуясь на превосходную деревянную статую Ра-Эм-Ке, которой не менее 6000 лет, совсем не знаешь термина, какой применить к подобным памятникам, не укладывающимся в наши понятия не только древних, а даже древнейших. У нас на родине, у себя дома, 300-летний памятник называется древним, а 1000-летний — древнейшим. Как же называть тут места и памятники, история которых точная, вполне доказанная, уходит в глубину более чем 60 столетий?! Сто раз был прав тот египетский жрец, который на вопрос учившегося в Египте Платона ответил:

*«О, эллины, вы ещё дети!».*

## Поездка в Мемфис

Рано утром 4 апреля, чуть только начинало светать, мы поехали осматривать развалины великого Мемфиса — столицы Древнего Египта. Дорога шла сначала знакомыми местами, вплоть до самых Газехтских пирамид. Свежая, прозрачная утренняя мгла слегка окрашивала беловато-розовым светом Нил, поля и пальмы. Когда мы повернули в аллею сикомор, ведущую к пирамидам, солнце показалось уже на горизонте, золотило розовым блеском верхушки пирамид и налагало на долину Нила иссиня-красноватые полутона красок. Город, защищённый с восточной стороны Маккатамскими горами, крупными силуэтами, виднелся в беловатом тумане, и только острые высокие минареты тянулись в прозрачную высь неба, да две иглы мечети Магомет-Али, тонкие и стройные, высоко-высоко поднимались на фоне гор у цитадели и блестяли золотом солнечных лучей, встречая первыми восходя-

шее светило. По Нилу реяли кривые белые паруса; на полях струились ручьи воды, добываемой посредством неуклюжего журавца или скрипучим деревянным колесом с подвешенными кувшинами. Около маленьких озёр паслись верблюды, одинокие группы быков и маленькие стада пёстрых овец. Вдали на горизонте прелестно высились, разбросанные рощами и в одиночку, высокие пальмы. Каждую минуту, каждую секунду плавно меняются краски, расплываются тени, играет свет, и картина чудная переходит незаметно в картину ещё более чудную. Всю дорогу от Каира до пирамид я не мог сидеть на месте от восторга. Прямо против меня пирамиды, с верхушек которых скользят книзу розовые лучи солнца, отражаясь на её покатости, и в душе моей оживают исторические и библейские имена лиц; налево поля, а за ними виднеются Саккарские пирамиды, за которыми лежит в прахе и развалинах мертвец Мемфис и нескончаемый его Некрополь; сзади меня блестит седой Нил, расстилается Каир, Маккатамские горы, у подножия которых медленно редет беловатый туман, выделяя то там то сям тёмные группы пальмовых рощ. Я снова повёртываюсь к пирамиде Хеопса и вижу, что она освещена уже на две трети, что за ней выглянувшая верхушка другой пирамиды горит в лучах солнца и искрится жёлтыми электрическими точками.

Не забуду я никогда ни этого утра, ни этой несравненной картины-панорамы.

\* \* \*

У подножия Газехтской пирамиды нас ожидали приготовленные ослы. Было только 7 часов утра, но солнце грело уже порядочно, и мы без лишнего багажа под руководством классической фигуры бедуина и двух погонщиков пустились в путь, направляясь на юг вдоль границы Ливийского песка и Нильской долины, возле скал, полузасыпанных песком и представляющих собой овальные пологие курганы. Изредка попадалась нам арабская деревушка с домиками, слепленными из грязи и навоза, а посему вся тёмная, представляющаяся на почве жёлтого песка совсем чёрной. Грязные ребятишки выбегали нам навстречу, требуя ни с того ни с сего бакшиш. Смуглые, с полузавешанным лицом, в чёрных рубахах женщины с кувши-

нами на головах шли к колодцу за водой. По левую сторону, ближе к Нилу, виднелись феллахи, копающие первобытным орудием — мотыгой — землю, или качали по каналам воду. Раза два встречались в низинах маленькие озёра, находящиеся, по-видимому, в бывшем ложе бывшего канала. Ослы наши шли бойко, увязая по щиколотку в сыпучем песке, из которого порой торчала колючая трава или мелкие синие и розовые, но также колючие цветочки. Ни деревьев, ни птиц, оживляющих нашу северную природу, тут нет и в помине. Лишь вдали кое-где виднеются редкие высокие пальмы да двигаются песчаной степью горбатые фигуры дромадеров. Всюду тихо, окружено жёлтым песком и печально.

Через час пути мы сравнялись с Саккарскими пирамидами, построенными на той же линии скал, как и Газехтские, но сравнительно с последними низкими и ничем не интересными. Мы ехали бодро и весело. Новое путешествие, новые впечатления, нетерпеливое ожидание увидеть начало развалин Мемфиса устраняли всякое утомление и скуку. Ещё через полчаса времени на горизонте показалась ступенчатая пирамида, стоящая в центре Акрополя Мемфиса и считающаяся самой древней из всех пирамид Египта. Путь наш перешёл на твёрдый слой песка, в котором временами виднелись камни, черепки обожжённой посуды и прочее. «C'est Memfis», — проговорил проводник, указывая вперёд рукой, и мы переезжаем фундамент городской кирпичной стены Мемфиса, на котором ещё виднеются места, где когда-то стояли колонны. С этого пункта вплоть до Некрополя и подземелья Серапеума мы ехали целый час времени по развилинам бывшего Мемфиса, а теперь по холмистой местности, на которой всё ещё по временам выглядывают гранитные обломки колонн и монолитов, оставшихся от разграбления. В глубокой древности, за 6000 лет до нашего времени, так глядят иероглифы, могучий фараон отвёл с этого места реку Нил гораздо правее и на образовавшейся дельте построил город Мемфис — колоссальный, богатый, весь украшенный храмами и памятниками неслыханного блеска и великолепия, а на высоком кряже гор раскинул Некрополь, поражающий своей обширностью и религиозным культом даже теперь — в развалинах и обломках. За две



тысячи лет до наших дней Мемфис ещё жил и поражал Страбона изумительными постройками и необъятностью своих размеров. За тысячу лет он уже умирал, разрушался, и сыпучий песок заметал его под своим покровом, а история утратила даже то, где было центральное место египетского культа — храмы и подземелье бога Аписа. И только теперь, благодаря неусыпному труду Мариетта, открывшего его, да песку, сохранившему его в своих недрах, мы можем видеть воочию, что такое был Древний Египет и как выражались его религиозные упования.

Миновав овальное озеро, кругом которого паслось стадо верблюдов, назначенных караваном в Алжир, мы повернули на песчаную гору, и когда поднялись на её темя, перед нами предстало необозримое поле развалин, заметаемых песком, но и в этом виде поражающих ум. Кругом высокие курганы, углубления, гранитные обломки, черепки посуды, завитушки капителей, рассыпанные в груды, заносимые песком. Вдали виднелся домик Мариетта, в котором жил учёный-египтолог, производя раскопки и открывая знаменитую аллею, состоящую из 150 сфинксов, аллею статуй греческих философов и венец всего — подземелье Серапеума. За ним высилась ступенчатая пирамида, кругом которой группировались другие меньшие пирамиды. Мы подъехали к домику, оставили там ослов и пошли осматривать открытия Мариетта. Спустившись по осыпи песка аршин на 10 глубиною, мы вошли в часовню — храм бывшего сановника фараона по имени Ти. Храму этому, считают, ровно 5000 лет. Первая комната — колоннада из 8 монолитов. Стены в ней покрыты рельефными изображениями обряда жертвоприношения быков. Узкий высокий коридор ведёт далее в новую комнату — часовню без окон и алтаря, плоский потолок которой держится на двух четырёхгранных монолитах с крупными иероглифами. Все стены часовни покрыты рельефами, раскрашенными чёрной и красной красками. В этих картинах представлена домашняя и публичная жизнь сановника Ти, начиная от палочной расправы со слугами и рабами и оканчивая весёлым танцем, услаждающим его жизнь. Большинство рельефов очень тонкой, артистической работы. При входе в колоннаду вставлены в стену квадратные, сверху закруглённые «стелы», на которых благочестивый

египтянин, означая своё имя, день рождения, высекал богу Ра, богу Озирису или иному богу свою молитву, прося его дать ему хорошую жизнь в загробном мире по его воскресении.

Далее нас повели в Серапеум. Очень глубоко пришлось спускаться по осыпающемуся песку к деревянной временной двери, чтобы пройти в это святилище египетского религиозного культа. Проводники зажгли восковые свечи. Из подземелья несло тёплым, одуряющим воздухом. В известковой скале вырублены длинные, широкие, разветвляющиеся коридоры, по бокам которых сделаны глубокие ниши, и там стоят саркофаги из розового гранита для каждого быка — Аписа, числом 64. Недоумеваешь, как могли втаскивать сюда такие громадины-саркофаги, внутри которых хоронили останки богов Аписов, в которых, по учению египтян, преемственно воплощался бог солнца Озирис. Размеры саркофагов от 3 до 4 аршин ширины и высоты при 4—6 аршинах длины. Толщина стенок и крышки 8 вершков. Сдвинутые крышки разрушителями христианами, по эдикту императора Феодосия, позволяют заглянуть в пустую полированную внутренность саркофагов. На наружных стенах широким бордюром проведены высеченные изображения Аписа и иероглифами написана его биография. Из всех 64 могил только четыре могилы Аписов были не тронуты и оставались замурованными 3250 лет, когда Мариетт вступил туда первым и нашёл нетронутый отпечаток руки каменщика на алебастре и босой ноги на жёлтом песке около саркофага.

С неизведанной силой глубины чувства удивления оставили мы Серапеум и поехали обратно мимо ступенчатой пирамиды к другой, меньшей пирамиде, апокрифически именуемой «Мемфиса», ещё в древности открытой и ограбленной внутренностью. Вход в эту пирамиду идёт наклонно по гранитному коридору. Царская усыпальница выложена жёлтым полированным алебастром, а другая, меньшая, комната царицы — цветным мрамором, уложенным в узкие полоски, варварски похищаемые любопытными туристами. Саркофаги-гробницы стоят без крышек и пустые. Всё ценное в каком бы то ни было отношении давно разграблено и похищено.

Усталые от езды, утомлённые от ходьбы по рыхлому

песку, мы снова садимся на ослов и едем обратно в Каир. Солнце печёт нас неумолимо, ослы шагают медленно, погонщики, закрыв головы синими рубашками, дышат тяжело. Ни шуток, ни смеха не раздаётся, а только одна сосредоточенная мысль долбит голову: ах, скоро ли мы доберёмся к отдыху и в тень нашего отеля.

## Гелиополис

С неслабеющим интересом поехали мы на место, где стоял когда-то Гелиополис, современник и почти сосед Мемфиса, раскинутый по другую, правую сторону реки Нил, за Маккатамскими высотами. В здешних городах нет, как у нас в Европе, подгородных построек, дач и огородов. Здесь город обрывается резко, и сразу начинаются поля пшеницы и клевера, между которыми редкими группами виднеются пальмы и сикоморы. По дороге к Гелиополису мы ехали аллеей, почти не дающей тени; потом повернули на просёлочную дорогу, изгибающуюся полями, и через полчаса езды остановились у правительственного фруктового сада, внутри которого стоит громадное фиговое дерево, где будто бы отдыхали Иосиф и св. Дева Мария, бежавшие от Ирода в Египет. Ствол дерева у корней имеет объём около 10 аршин, и само оно выглядит корявым и неприглядным, быть может, потому, что состарилось, а может, и потому, что варварский обычай туристов — везде вырезать свои имена, отламывать кусочки коры и листьев — испортил его и изуродовал. В этом саду, небрежно содержимом, но в африканском климате и почве, благоухают розы, громадными ярко-пунцовыми кистями цветут олеандры; широкими, но слабыми, как тряпка, листьями шелестят бананы, и десятки неведомых нам плодовых кустов ни по названию, ни по структуре наполняют сад, так не похожий на наши европейские сады. Я попросил садовника-араба дать нам коллекцию сухих туземных деревьев в маленьких кусочках с местными названиями, но он принёс неуклюжий топор и пилу и так безжалостно начал рубить сучья живых деревьев, что скорбно было смотреть на его более чем небрежное обращение. Не помню названия дерева, но я взял длинный сучок и только что сделал надрез ножом, как брызнул сок, бе-

лый, как молоко, и я почувствовал как бы укор совести за сделанную рану живому, чувствующему организму. Нам всегда бывало как-то неприятно сломать ветку качающегося бутона розы, а какой-нибудь чумазый человек, наш проводник, на ходу ломает их в чужих садах и подносит нам сюрпризом.

Из правительственного сада мы ехали ещё просёлочной дорогой с четверть часа времени к единственному памятнику, оставшемуся от Гелиополиса, — к его обелиску, каким-то чудом не изломанному или не увезённому в Европу. Обелиск на 4 аршина засыпан теперь мусором и илом, как говорят у нас, «врос в землю»; кругом его на почве бывшего города желтеют засеянные поля пшеницы, а подножие до невозможности загрязнено детьми феллахов, обитающих в одиноких мазанках, рассеянных по нивам хлеба. А между тем это памятник, которому минуло 4800 лет и который видел у своего подножия Моисея, Иисуса Навина, Страбона, Плиния, Платона, Александра Македонского; возле него происходили битвы исторических народов и проходили победители и побеждённые. Одиноко стоит он, этот розового гранита монолит, покрытый по своим сторонам крупными иероглифами и фигурами птиц, когда-то украшавший собой у пилона вход в храм египетского божества — Озириса и Изиды. Товарищ его, рядом с ним стоявший, давным-давно похищен римлянами и украшает теперь площадь св. Петра в Риме. Размеры обелиска: высота 29, толщина у подножия  $2\frac{1}{2}$ , наверху —  $1\frac{1}{2}$  аршина.

## Прогулка по Нилу

Я всю ночь не спал. Накануне слегка заболев, я отдыхал весь день, и с вечера сон никак не смыкал моих глаз. Я долго старался заснуть, но тёплый томительный воздух, звуки музыки, доносившиеся из городского сада, сверкающие звёзды в синем небе манили меня на балкон, и я, бросив постель, пошёл туда любоваться египетской ночью и время от времени записывать мои впечатления при восхождении на пирамиду Хеопса. Так я провёл время до 4 часов утра, когда нужно было собираться на прогулку в лодке вниз по Нилу.

Напившись наскоро кофе, мы взяли извозчика и поехали на Нильскую пристань каирских лодочников. Народ начинал уже толпиться около барок; женщины в синих рубахах с большими кувшинами на голове по колению заходили в воду и наполняли их водой. Глядя на них, невольно являлось в голове историческое сравнение, как свободно египтянка балансировала эту ношу, неся её на своей голове. Точь-в-точь живая копия с древнего рельефа.

В 5 часов мы снялись с якоря и поплыли вниз по течению Нила. Великая историческая река тихо катила по илистому дну свои воды. Ширина её в этом месте была около 200 сажен. Уже довольно рассветало, и вода в Ниле казалась желтовато-мутного цвета. По обеим сторонам реки виднелись изредка пальмовые рощи, засеянные пшеницей поля, неуклюжие деревянные колёса, которыми феллахи для орошения полей поднимали воду. Солнце медленно поднималось на горизонте и казалось сквозь туман красным газовым фонарём, повешенным в пространстве. «Уль хабаш Элла—Алла! Пафын-фай Элла—Алла! Тумер-риль Элла—Алла!» — так припевали наши лодочники-гребцы, усердно работая вёслами. Гортанный тенор, нагибаясь над веслом, уныло выводил первые три слова, а четвертое — «алла» — подхватывалось хором и так же грустно оканчивалось, как начинался припев. Порой на низком илистом берегу Нила гребцы бросали вёсла, соскакивал на берег и тянули лодку бечевой. И здесь-то, в Африке, за 5000 вёрст от Волги, о Боже! те же бурлаки, о которых мы так много знаем у себя дома. Мы часто обгоняем баржолодки, нагруженные рыболовными снастями, с неизбежным длинным шестом посередине, к которому привязан белый парус. Что за лица наполняют эти лодки! Тёмные, бронзовые, с нависшими бровями, с обмотанной белым шарфом головой, в длинных синих рубахах — это живое воплощение силы и здоровья.

Мы подплываем к Эльборажу, где перекинут через проток Нила красивый сводчатый запруда-мост, рельефно вырисовывающийся впереди нас. Осмотрев этот мост ближе, мы убеждаемся, что это колоссальная запруда всех протоков Нила, с подъёмными мостами и шлюзовыми сооружениями для прохода мелких речных судов. Вся конструкция мостового сооружения носит характер капиталь-



ной дорогой постройки, потребовавшей миллионных денежных затрат, но, по-видимому, употреблённых без нужды и надобности, по капризу египетского правительства. На другой, левой стороне Нила, устроены громадные казармы для войска, высокие земляные валы и рассажены громадный парк шелковичных деревьев, без порядка содержимый и запущенный.

Расстояние Эльбоража-моста, запруживающего Нил и все его притоки, определяется от Каира в 18 вёрст.

Позавтракав в каком-то кабачке, расположенном на самом берегу Нила, мы снова сели, или, сказать скорее, легли в лодку и поплыли обратно. Ветер в это время дня всегда дует с юга, а потому наши гребцы развернули острый парус и покойно поместились на дно лодки прямо лицом к солнцу. Лодка с надутым парусом понеслась быстро, с шумом рассекая желтоватую воду Нила. Те же виды нильских берегов, виденные нами рано утром, проходили мимо нас и теперь, возбуждая уже мало интереса и внимания. И только дневная жара да большое движение лодок и маленьких судов видоизменяло несколько картины, придавая им иной вид освещения и большее, чем утром, разнообразие.

## Булакский музей

Публичный музей, основанный в Каире Мариеттом, — это тоже особенность египетской столицы. Музей специальный — в нём только египетские древности. Стоит он на самом берегу Нила, но с улицы огорожен высокой стеной. Музей начинается прямо от ворот, с первого, так сказать, шага пирамидами, сфинксами, стелами и тут же, в зелени деревьев, — памятником основателю его Мариетту. В самом здании нет окон, свет падает сверху, оттого все предметы в залах освещены прекрасным ровным светом. В музее нет картин, мраморных статуй, книг и ничего подобного в нашем европейском смысле. В нём только памятники древней жизни страны: мумии, папирусы, условные статуи, камни и множество мелких вещей домашней обиходной жизни, преимущественно египетских фараонов. Среди одной из зал музея стоит деревянная статуя Ра-Эм-Ке, одного древнейшего египетского сановника,

и — страшно выговорить — ей 6000 лет! Одна эта статуя — чудо, подобного которому нет в целом Старом и Новом Свете. Глазам не веришь, глядя на этот памятник: так он велик по идее, в него вложенной, и прекрасно человечен по выполнению. Значит, думается невольно, египтяне за 4000 лет раньше греков и за 6000 лет раньше нас уже стояли на такой высоте цивилизации, что могли создавать такие произведения искусства, выше которых нет нигде на земле нашей. Стало быть, правы были египетские жрецы, говорившие Платону, что история их родины равнялась уже в то время 10 тысячам лет.

Вторая статуя музея — фараона Хефрена, строителя второй Газехтской пирамиды, вышедшая из-под резца художника за 4800 лет до нашего времени. Она сделана из диорита и представляет фараона сидящим в кресле. Выражение лица и поза замечательно величавые, покойные, и лишь непривычный для нашего глаза головной убор мешает нам любоваться как следует этим замечательным шедевром древнего египетского искусства. Потом идут целые залы и ряды, наполненные ярко раскрашенными деревянными пробамии мумий, начиная от VI и оканчивая XXXI династией египетских царей, т.е. приблизительно за 5400 до 3000 лет до настоящего времени. Многие из мумий положены последовательно в три гроба, а оттого третий, наружный, футляр-гроб выходил громадных размеров. Вся внутренняя сторона гробов исписана иероглифами и рисунками, краской ярких колеров и большей частью лоснящейся. Мумия лежит со скрещенными на груди руками, обвитая белой тканью. Всё пустое пространство в первом гробу наполнено душистыми травами. Есть мумии с открытыми лицами, на которых сохранено выражение уснувшего человека, и другие, у которых в полуоткрытом рту белеются зубы. В витринах, тут же около стены, показываются те цветы и листья растений, какие были найдены в гробницах мумии, на которых сохранились все природные колера красок, а между тем они, сокрытые под землёй, пролежали в гробах мумий около 3000 лет!

Далее в музее идут целые ряды камней, стел, саркофагов, барельефов, папирусов и витрин, наполненных мелкими вещами — статуэток, украшений человеческого тела и жуков с картушами (фамилиями) их бывших собствен-

ников. Там вы увидите древнейший золочёный топор — эмблему царской власти — с тонкой гравюрной работой на лезвии; ручное зеркало, браслеты, ожерелья — одним словом, всё то, что мы наивно считаем изобретением нового времени и европейских народов.

Обозрев музей, вы выходите опять на тот же дворик-сад, по которому вошли и, поворачивая направо, подходите к низенькой ограде на самом нильском берегу. Мы увидели эту священную реку тут в первый раз, и у каждого из нас затрепетало сердце при целом рое исторических и религиозных воспоминаний, связанных с её именем. Я наскоро сбежал по каменной лесенке вниз и умыл руки и лицо в мутной желтоватой воде, точно совершая обряд, и мысленно пробежал исторические обряды египтян, свидетелем которых была эта река с незапамятных времён.

## Дервиши

Наслушавшись довольно о вертящихся дервишах, мы поехали смотреть и это чудо в таинственном Египте.

На окраине Каира одиноко стоит ничем не выделяющийся храм, а даже несколько напоминающий старую сельскую церковь на Руси без колокольни и креста, осеменяющего купол. Острый конус здания венчает полумесяц, рядом с ним ординарный минарет и низкие невзрачные постройки, в которых ютятся дервиши — их послушники, будущие тоже дервиши. За маленькую входную плату нас пустили в храм и указали стулья около одной из стен его. Туристов-посетителей разных национальностей и преимущественно англичан набралось десятка три-четыре.

Как всякая мечеть, так и эта мечеть дервишей имела тот же внутренний вид, т.е. была совершенно пуста, с голыми стенами, и лишь в одном углу маленькая кафедра, на некотором возвышении устроенная, где помещаются «восточные музыканты», напоминая собой внешность католического храма, несколько нарушала вид полной запустелости. Среди каменных плит пола разостланы циновки, а для зрителей-европейцев вдоль одной стены поставлены стулья.

Гуськом вошли в храм дервиши-монахи, босые, одетые в длинные белые рубахи, подпоясанные верёвками,

и все с бледными лицами и длинными волосами на голове. Они чинно, чисто по-восточному, сели на циновки, образуя круг около 40 человек участвующих. Настоятель их, по-видимому, регент, начал что-то петь, а музыканты — дудка и медный треугольник — ему вторить. Музыка и пение для нашего уха казались неприятными и раздражающими; такта их уловить мы были не в состоянии. Но на дервишей то и другое, видимо, действовало внушительно. Они сидели на полу с полузакрытыми глазами, точно окаменелые; ни один мускул лица у них не дрогнул, ничья рука или нога не сделает ни малейшего движения.

Но вот настоятель входит в круг сидящих дервишей и начинает петь какой-то гимн, который дервиши подхватывают стройно хором. Ещё минута, и моментально все они вскакивают на ноги и с настоятелем во главе начинают круговое хождение с покачиванием головой в такт направо и налево. С каждой минутой темп хождения танца ускоряется, как ускоряется и покачивание направо и налево головой, и заканчивается головокружительной быстротой круговой священной пляски.

Моментально музыка и пение замолкают, и дервиши, как статуи, останавливаются на месте неподвижно.

Через минуту-две музыканты начинают исполнять другой мотив; дервиши садятся на пол, поджав ноги по восточному обряду, и тем же кругом на известном друг от друга расстоянии. Поразительно согласно начинают они делать глубокие поклоны головой: прямо, направо и налево сначала медленно, а потом, ускоряя темп, доводят его до такого напряжения, что с ними чуть не делается дурно. Головы участвующих болтаются в три темпа с поразительной быстротой, волосы хлещут их по лицу и плечам, из груди вырывается хрипение, и вот-вот так и кажется, что дервиши упадут в беспамятстве. Один какой-то знак со стороны настоятеля, и все 40 дервишей застыли в позе и сидят неподвижно. Глаза у них горят, лица покраснели, пот струится градом, но они сидят, как истуканы, безмолвно и неподвижно.

Подобных эволюций было проделано дервишами в разном виде и темпе, кажется, до 7 номеров. Мы едва выносили наше первое возбуждение какого-то непонятного втя-

гивающего страдания. Нам казалось, что продлись ещё некоторое время это состояние бешено ритмующих движениями людей, и мы сами бросим наши стулья и пойдём выделывать те же эволюции. Есть рассказ, что какой-то англичанин глядел-глядел на вертящихся дервишей, да и бросился за ними выделывать те же самые движения. И, я считаю, что в таком рассказе нет невероятного. Есть в человеке вообще какая-то неведомая склонность заражаться высшими экстазными состояниями другого человека и толпы. Заразительность верчения и разных эволюций дервишей, мне кажется, совсем не невозможна.

Прожив в Каире целых десять дней времени и присмотревшись к его оригинальной физиономии, мне думается, нелишне набросать и несколько штрихов общего характера.

Каир, если хотите, город в европейском смысле. В центре его прекрасный сад, улицы нового города широкие и освещаются газом, магазины и кофейни блестящи и даже извозчики не хуже, чем в любой европейской столице. Но вас поражают особенности, как только вы взглянете пристально. В городском саду деревья совсем не те, какие растут в Европе, хотя и сад устроен, и деревья посажены, наверное, европейцем-садовником. Улица широкая, мощёная, но в неё выглядывают дома особой архитектуры, красивые в целом, но совсем не симметричные в частности. Тут, видимо, руководит человеком, создающим дом, только фатальная забота — иметь как можно меньше света, как можно больше тени. На одной улице вы видите, как каждая угловая комната второго этажа дома острым, нависшим, как балкон, углом выдвигается наружу, а другая чуть совсем не спрятана от света почти смыкающимися крышами домов, и только диву даёшься, глядя, как может держаться большая тяжесть двух этажей только на концах тонких жердей, видных снизу навеса, заменяющих наши железные балки под балконами. Извозчики и экипажи у них такие же, как, например, в Вене, но кучер непременно чёрный нубиец, у которого как-то странно блестят белые зубы, спускается до пят белая рубаха, да торчит серый пиджак на плечах и тёмно-красная феска на голове, сдвинутая на затылок. Взгляните с высоты балкона на толпу и вы увидите прежде всего фески и фески и



только изредка и спорадически закутанную в чёрную чадру туземку-женщину да цилиндр или котелок на голове европейца. Весь рабочий народ, все погонщики мулов, все уличные ребяташки одеты в длинные синие рубахи, заменяющие блузу, с повязанным отрывком материи, или платком кругом головы в виде тюрбана, и непременно босые. Поэтому вы часто ошибаетесь, принимая по их странному одеянию мужчину за женщину. Вот видите, по всем признакам идёт нянька, и на одном плече у неё сидит верхом ребёнок, ласково схватив ручонками обмотанную голову своей пестуны. Но вы ошибаетесь. Нянька эта — мужчина и по большей части негр. Вон на козлах коляски сидит, прикорнувши, кучер, совсем русская баба, одетая в понёву, укутавшая голову клетчатой шалью. Таких ошибок вы делаете массу и каждый раз, замечая их, невольно над собой улыбаетесь. Но вот ещё уличная особенность Каира. Вы слышите особенный гортанный крик и видите, как крупной рысью, широко шагая, бегут два человека. Одеты они в белые костюмы с золотой вышивкой, в руках у них палки. За ними несётся ландо, в котором едет местный сановник или просто богатый человек Каира. Бегущие люди не проводники и не кавасы — это скороходы, очищающие дорогу для экипажа, пожалуй, даже необходимые на Востоке, где улицы узки и толпа народа не даёт проезда. Но вид стремглав несущихся людей, быстрее, чем бегут лошади, повторяю, вид этот каждый раз как-то тяжело ложится на душу, пока с ним не освоишься и к нему не привыкнешь.

Каир разделяется на два города — старый и новый. В старом Каире всё оригинально, начиная от построек и оканчивая домашним обиходом обывателя. Прямо на улицу выходит его комната, она же его мастерская и магазин. В ней он живёт, стряпает лепёшки, шьёт обувь и тут же, поджав калачиком ноги, болтает час-другой с приятелем за кальяном. Улицы в старом городе узкие, кривые и были бы очень грязные, как в Иерусалиме, если бы не просушивало их африканское солнце, да мелюзга-ребята не подбирали бы в корзины всякий сор и сырой навоз, как материал для смеси с песком, чтобы сделать годную массу для построек стен египетских жилищ. Странные, со всякими балконами, навесами и окнами дома, порой мраморные бассейны для

воды, причудливые киоски, тяжёлые стены старинной мечети идут сплошным рядом построек. Говор и шум, толкотня и движение сопровождают вас всюду. А эти базары — турецкий, арабский, сирийский, в которых царствует полумрак и в которые надо попадать узенькими проходами? О, как они непохожи на наши базары! Идёт ряд лавок, порой с закрытыми товарами, с выдвинутыми вперёд низенькими прилавками, на которых стоит незатейливая стеклянная витрина, как бывает у наших старьёвщиков, и флегматически сидит на ковре сам хозяин, медленно потягивая кальян. Он не зазывает покупателя в лавку, не предлагает товаров, а как бы нехотя, точно одождая, снисходя к вам, медленно покажет вещь, развернёт материю, если вы их спросите, назначит больше чем двойную цену и медленно положит на своё место, если вы её не купите. Раз как-то мы зашли в восточный парфюмерный ряд, где арабы продают разные эссенции духов, мыла и душистых смол. Около лавок висят на нитках широкие ленты золочёной бумаги, шурша и шелестя в воздухе; на низеньком прилавке маленькой лавки сидит по-восточному красавец араб в длинной белой рубахе, белой чалме, но с босыми ногами. Лицо у него белое, брови чёрные, глаза большие и блестящие. Не поднимаясь с места, достаёт он с полки флакон душистого масла, коробку мыла, подносит их к носу, и если вы купите, то тут же наливает в длинную узенькую склянку, печатает пробку сургучом и вручает вам. Движения его в сидячей позе плавны, ловки и изящны. Кругом его на прилавке масса флаконов, коробок, но он ничего не зацепит и не прольёт, он, точно рыба в воде, плавает в своей сфере.

В каждой улице и переулке вы слышите крик, точно кто-то хочет плакать, и металлические, особого тембра звуки — это разносчики фруктов и нильской воды дают повестку потребителям. В высшей степени ярка и оригинальна сама фигура разносчика воды. На спине у него цельная кожа барана, наполненная водой, с открытым узким отверстием, заменяющим кран. У пояса в футляре ряд стаканов, которые ловким движением наполняет он водой и, с неподражаемым искусством перебирая их, музыкально звучит медными или хрустальными круглыми тарелками.

Пересмотрев мои предшествующие заметки о Египте, я нахожу, что многое пропущено и о многом сказано вскользь и мимоходом. Что поделаешь: нет возможности рассказывать всё виденное и слышанное и невольно ограничиваешься только главным и выдающимся. Так, я мало рассказал о простом египетском народе, на плечах которого, как и везде, совершена национальная история, но о котором часто как-то забывается, а если что и говорится, то как о фоне картины, для чего достаточно одного банального слова или одного бесцветного выражения. О народе местном я не мог сказать больше потому, что мало его видел и мало его знаю. Других сторон его национальной жизни — промышленной, торговой или современного английского диктаторского управления — я не касался вовсе, сколько по той же причине малого времени, бывшего в моём распоряжении, столько же и потому, что не вправе был считать себя человеком компетентным. Говорить же, что называется, с апломбом и сплеча обо всём, не зная точно, я считал себя не вправе.

## **Египет. Путь из Каира в Александрию**

Из Каира в Александрию пролегает, кроме Нила, железная дорога. Скорый поезд проходит всё расстояние в 4 часа времени. Весь путь вы едете по зелёной равнине, усеянной и усаженной пальмами, сикоморами и другими южными деревьями. Всё это пространство прокопано каналами, несущими нильскую воду и питающими благодатную землю, которая даёт два хлебных урожая в год, растит лучший на земле хлопчатник и сахарный тростник в 4 аршина вышиной. Из окон вагона мы видели жёлтые созревшие поля пшеницы и зелёные налитые колосья ячменя да сочный клевер, примитивным способом сжатый с корня и связанный в обыкновенный снопошу, удобный к перевозке выючно. Тут, как видно, нет сенокосных полей, и жители Египта не знают слова «сено». У них есть только трава, сеянная в любое время года и снимаемая по мере надобности. Особый климат Египта и особенность характера Нила, ежегодно в одни и те же

числа заливающего его долину водой и илом, дают всему домашнему обиходу страны в высшей степени оригинальную физиономию, понятную нам только здесь, на самом месте. Оттого египтянин сеет одно поле в сентябре, другое — в ноябре, а третье — в феврале, одним словом, сеет тогда, когда только ему нужно. Ход его мысленных расчётов урожая таков: «Мне нужно зрелую пшеницу 1 апреля, и я должен засеять поле 1 декабря; мне нужен клевер для моих пары волов, коровы и маленького стада овец в марте, апреле, мае и т.д., и я засею его по маленькой делянке в феврале, марте, апреле и буду ежедневно жать по несколько снопов для продажи и лакомить мой скот в придачу к ячменному зерну, которое я ему даю. По временам мои ребяташки поведут на верёвке корову и овец пощипать отавы на сжатую часть поля». Если поле египтянина лежит возле канала, тогда он черпает из него журавцом воду и проводит её на каждую борозду. Если же поле его удалено на значительное расстояние от канала, тогда он копает колодец, ставит над ним деревянное колесо с кувшинами на ободе, захватывающими воду, а посредством другого горизонтального колеса с шестернёю ворочает эту неуклюжую, донельзя скрипучую машину, впрягая туда потомка Аписа, который с завязанными глазами и ходит кругом оси, таская за собой рычаг от второго колеса. Возле подобного колодца обыкновенно находится владельческий дом, по нашему — примитивная мазанка, или низенькая изба с плоским потолком-крышей, построенная из жердей, глины и навоза.

Около самого города Александрии железная дорога идёт по полотну, проложенному лагунами моря наподобие того, как сделано это в окрестностях Венеции. Вокзал в Александрии, как и все станции железной дороги, ничем особенным не отличается, кроме отсутствия буфетов да широкой террасой, на которой сидит публика, как в любом кафе уличного ресторана. В нашем поезде был в числе пассажиров г. Вольсней, английский главнокомандующий в Египте, вызываемый в Англию и будто бы назначаемый главнокомандующим в Индию воевать в Россией. Это было даровой сенсацией и представляло зрелище, не лишённое интереса.

## Средиземное море. Пароход «Россия»

В Александрии на этот раз мы видели мало, провозившись долго с египетской таможней, такой же назойливой, как назойливые египетские мухи, и невыносимой, как египетские москиты, кусающие вас, несмотря на кисейные полога, обтягивающие кровати. 12 апреля мы были уже на пароходе «Россия», идущим прямым рейсом в Одессу. Нужно ли говорить, что когда мы стали на борт русского парохода, то почувствовали давно желанный отдых, подобно тому, как усталый человек с наслаждением опускается в кресло. Все эти виды, картины, племена и народы, к которым усиленно присматриваетесь, невольно утомляют ваше внимание, и ваше тело и голова начинают требовать покоя и отдохновения. Длинный переезд морем, превосходный пароход и дают всё это. Привычка же делает в конце концов то, что совсем забываешь, что море ненадёжная стихия и что, плавая по нему, можно помолиться Богу с таким усердием и пламенной молитвой, о каких и понятия не имеешь, живя на суше.

Пароход «Россия» сам по себе достоин внимания. Вот его размеры и вместимость: длина 52 сажени, ширина — 5 сажен, посадка в воде 3 сажени, сверху воды — 5 сажен, грузится товаров 200.000 пудов, помещается пассажиров 1500 человек.

Интересно быть на таком пароходе и бродить по палубе его от носа до кормы на протяжении 52 сажен. Всюду бросаются в глаза новые предметы невиданной конструкции. Вот стоит деревянный футляр, из которого выглядывает складная коленчатая рукоятка — это шкив, на который наматывается проволочный канат для привязывания парохода «к бочке» во время установок в порту. Вот лебёдка с длинным, наклонным, наподобие журавца, рычагом и цепью, которая, стоя на месте, автоматически вертится направо и налево, таскает тюки товаров и животных из лодки в люк, из люка в лодку, совершая, где нужно, остановки и замедления. Вот длинный, сажень в десять, холщовый мешок, притянутый устьем к первому ряду рей, по которому струится свежий воздух в подпалубный этаж парохода. Вот, наконец, открытый товарный люк, заглядывая в который, вы поражаетесь пятисаженной глуби-



ной парохода. Внутри его идут разделы, этажи, железные висячие лестницы, по которым, точно кошки, бегают и лазят матросы.

Внутренность, подводная часть парохода, где находится паровая машина, паровые котлы и механизм винта, ещё интереснее и занимательнее всего остального. По крутым железным лесенкам вы спускаетесь лицом назад в последовательные три этажа. В верхнем этаже-отделе вы видите половину двух больших цилиндров, плавно работающих шатунами вниз. Во втором этаже видны те же цилиндры над вашими головами, спускаясь шатунами ниже второго решётчатого пола. В узенькую дверь вы проходите на площадку, с которой открывается внизу кубическое пространство с 10 паровыми котлами, около которых работают полунагие кочегары. Вернувшись назад на знакомую площадку, вы спускаетесь в третий этаж, где установлены кривые колена железного вала, ворочающего за кормой парохода винтовые крылья. Нам предложили пройти до самой кормы внутри герметически замкнутого железного туннеля, покрывающего собой вертящийся вал на протяжении 20 сажень. Жутко становится в этом тёмном туннеле, чуть только освещаемом ручным фонарём сопровождающего нас механика. Тихо, как змей, скользит полированный вал, уходя в глубину туннеля, глухо стучат паровые цилиндры, какой-то шум, наподобие отдалённого гула, доносится до вашего слуха. А механик, сопровождавший вас, усиливает страшное впечатление, рассказывая, что теперь над вашими головами 15 футов воды, что если вот в этой стене парохода, возле которой, хватаясь за железный прут, вы идёте, боясь упасть на вертящийся вал, что вот если тут случится пробойна и вода хлынет вот сюда, тогда мы захлопнем дверцы герметической перегородки этого туннеля, и пароход пойдёт «как ни в чём не бывало». Рассказывая это, механик любезно поводит фонарём и, улыбаясь, похлопывает рукой глянцевитую поверхность вертящегося вала. А у вас в это время по спине бегают мурашки, и недобрые мысли сверлят голову: а ну, как вдруг на самом деле сломается вал и прихлопнет вас осколками в этой тёмной трущобе? А ну, как подводная скала пробьёт тонкую стену парохода и зальёт вас в этой клетке? Скрепя сердце и пригнувшись к полу,

вы проползаете в окно последней перегородки, там, где лежит на последней подушке вал, а за стеной кормы бурлят воду громадные перья винта, и едва окинете взором стены и свод тесного пространства, как спешите поскорее убраться вон. Сознание тесноты и смутной опасности гнетёт вас сильно и гонит наверх, на свободу и простор палубной жизни.

Пассажиров-богомольцев у нас на палубе 350 человек. Удивительно характерны эти пассажиры. Они большей частью — серый люд обоего пола, сошедшийся со всех концов православной Руси, предводимый монахами, странниками и странницами. У каждого из них узел и котомка, полные иконами, чётками, свечами и другими предметами, с таким трудом приобретёнными в Иерусалиме, куда вело их исключительно одно религиозное чувство. И надо видеть, с каким радостным чувством берегут они эти котомки и узелки, перебирают в них содержимое и сообщают один другому подробную биографию каждого предмета и реликвий.

Пароход «Россия» в открытом уже море, а мы всё ещё прощаемся с Александрией, поглядывая на скрывающиеся храмы, на портовый маяк и посылая последние «прости» Помпеевой колонне, едва различаемой за мачтами судов и высокими трубами паровых мельниц. Средиземное море совсем покойно, и мы живём на пароходе совсем как дома: утром пьём кофе, в 11 часов завтракаем, в 5 — обедаем и в 8 делаем чай. Каждый вечер богомолки составляют хор и поют духовные ирмосы, пасхальную службу и каноны угодникам. Трудно представить себе эту картину на суше. Только на море, только тут, сам слушая и видя, постигаешь всё величие и силу религиозно-бытовой жизни русского народа. Кругом необъятное Средиземное море лазоревого цвета, освещаемое последними лучами заходящего солнца. Ветерок едва шелестит оснастки мачт и чуть трогает вывешенный флаг. Пароход плавно движется по одному прямому направлению. Всюду как бы разлита мирная тишина природы. И вот на палубе парохода, на возвышенном мосту товарного люка, между скрещёнными снастями паровых лебёдок ставится икона, всходит священник, и совершается церковная служба. Стройное унисонное пение молодых голосов льётся по воздуху,

несётся по всем углам парохода и завершается трогательным киевским напевом: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя»...

В такие минуты не только, если можно так выразиться, раскрываются фибры души русского человека, но внимает и наслаждается душа даже иностранца, с уважением снимающего шляпу и прислушивающегося к чужому чудному напеву. И вы, смирясь, умилённо отдаётесь вполне религиозному настроению, возбуждённому благоговейной толпой молящегося серого народа и стройно поющего хвалебную песнь: «Святителю отче Николае, моли Бога о нас», «Пресвятая Богородице, спаси нас».

Беспредельно дороги и хороши такие минуты, когда охватывает вас одно общечеловеческое чувство и когда забываются различия рангов, чинов и классов!..

## Смирнский рейд

К вечеру 14 апреля, в воскресенье, мы были уже в Смирне, пройдя тем же архипелагом, которым проходили и в первый раз, но при другом солнечном освещении. А отсюда картина панорамы казалась совсем иная. Вечер и ночь, когда мы стояли в порту Смирны, были полны очарования. Кругом тепло и тихо. Солнце клонилось к закату, освещая косыми лучами высокие горы залива, золотило их верхушки и налагало роскошные прозрачные тона красок на выступы и углубления, сверкало миллионами алмазов на поверхности залива и освещало желтоватым светом всю такую же высокую цепь гор на другой, противоположной стороне залива. Тёмная матовая зелень кипарисовых рощ, более светлая фиговых и лимонных садов и серовато-серебристая олив придавала красоте пейзажа ещё новую, особую окраску. И когда, стоя на верхней площадке парохода, начинаешь окидывать взором эту панораму с правого выступа гор, куда заходит солнце, продолжаешь к северу, переходишь на восток и остановишься, наконец, на юге, на той длинной, уходящей в горизонт полосе лазуревых залива и моря, тогда невольно как-то чувствуешь, что красота видимого подавляет ваше сознание, и внутренне как бы жалеешь, что не можешь ни уловить, ни постигнуть необычайных модулирующих игры света среди этого необыкновенного пейзажа.

Ночью, когда мы вновь вышли на палубу парохода, нашим глазам предстала та же картина Смирнского залива, но при лунном освещении, и трудно сказать, но как будто ещё более поэтичная, чем она казалась при солнечном закате. Луна над нашими головами ярко сияла на небе и обливала роскошную панораму залива таким сильным, колеблющимся светом неувидимо-молочного оттенка, при котором всё окружающее в мёртвой природе казалось живущим,двигающимся, говорящим. Вся природа точно мечтала, куда-то уносилась, что-то напевала! В такие минуты человек молча смотрит, молча млеет и тихо шепчет внутреннюю молитву...

## Архипелаг и Дарданеллы

Ещё в Александрии мы тревожно прислушивались к толкам о войне между Россией и Англией. Колебание курса нашего рубля подтверждало эту тревогу. Ехавший с нами корреспондент русской газеты своими сведениями, которые он сыпал направо и налево, ещё более усиливал такое настроение, рассказывая, что он виделся чуть ли не со всеми правителями Египта и всем персоналом нашего александрийского и каирского консульств, получив от них верные сведения, что война если не объявлена сегодня, то объявится завтра или, самое позднее, на днях, что завтра явится в Александрию французская эскадра и будет бомбардировать город, требуя удовлетворения за то, что египетское правительство закрыло местную французскую газету. Делались предположения, что если война объявлена, тогда английские крейсера прежде всего в Средиземном море и архипелаге погонятся за русскими торговыми пароходами, и первой же жертвой будет наш пароход «Россия». Наш капитан, опытный моряк, один из бывших защитников Малахова кургана в Севастополе, слушая эти толки, резонно замечал и успокаивал, что не так это легко делается на самом деле, как передаётся на словах, и что уж если бы это случилось, то англичанам всё-таки никогда не удастся завладеть нашим пароходом. «Я, — прибавил капитан, — пролезу в такую щель между островами архипелага, куда никакой англичанин не смеет и носа показать».

В Смирне управляющий делами русского общества торговли, статский советник, какой-то выродок, не то грек, не то итальянец, страшно жестикулируя руками, называл всех правителей в Петербурге безголовыми, доводящими дело до войны и не понимающими, что всякий-де заграничный владелец кредитного рубля ежедневно теряет на нём несколько дробей пенса. Русские газеты, полученные в Смирне, задним числом говорили о том же. Приходилось думать, что, быть может, и Турция войдёт в союз с Англией и запрет Босфор для русских пароходов.

С таким настроением оставили мы Смирну 15 апреля и пошли в проливы, омывающие прелестные берега островов длинного архипелага. Погода стояла тихая и тёплая. Море было покойно и отражало в своих водах и проносящееся облако, и очертания островов. Наступивший вечер при закате солнца и ночь при восходе луны с чудными переменами воздушных красок долго удерживали нас на палубе парохода. В десятый раз в памяти хотелось удержать, как опускается солнце и как его лучи скользят и теряются по верхушкам островов, окружая пики гор радужным ореолом сияния и золотой прозрачной пылью, заполняя впадины и ущелья; как всплывающий месяц, точно красный бронзовый щит, поднимается выше и выше и по мере того становится бледнее, белее, прозрачнее, и как, наконец, появляется в море отражение отражённого лунного света, сначала слабое, чуть заметное, а потом переходит в широкую могучую полосу, сверкающую миллионами факелов.

16 апреля в полдень мы остановились под грозными пушками Дарданелльского пролива для сдачи и приёма грузов. Описывать вход в Дарданеллы я не буду ввиду того, что, исключая военное значение да воспоминания о Трое, тут же рядом когда-то стоявшей, Дарданеллы ничем другим не отличаются. Через 2—3 часа времени мы снялись с якоря и пошли вдоль пролива и Мраморного моря прямо к Босфору. Прекрасные виды, чудный вечер и хорошее настроение не оставляли нас. За вечерним чаем даже сдержанный капитан при разговоре посоветовал нам, что всем любителям картин природы следует полюбоваться панорамой при входе в Босфор, освещённой восходящим солнцем. «Это одна из лучших панорам в мире», — добавил



он. Крылатое слово на родине Гомера достигло сердца, и мы решили встать на завтра в 4 часа утра и непременно видеть панораму входа в Босфор. Пока же, взглянув в иллюминатор пароходного салона, мы не утерпели, чтобы не полюбоваться не картиною, а рядом картин, со всех сторон окружающих пароход при ярком лунном освещении.

Приступая к описанию виденного в этот раз, я теперь, сидя в Одессе, хотел начать банальной фразой: «представьте себе», но, вызвав в памяти перечувствованное и пережитое, горько улыбнулся такому приёму, как никуда негодному орудию, и встал в тупик, не зная, как начать и выразиться. Ряд красок и картин, вызванных воспоминанием, ослепляют моё представление. Те нервы мозга, которые воскрешают в памяти пережитые образы виденного, вновь заставляют сильнее биться сердце и не дают необходимого покоя, чтобы последовательно передать словами хоть абрисы того, что так обаятельно ласкало моё внутреннее созерцание. Перед моими воспоминаниями встают и проносятся образы-картины. Ночь. Глубокая тишина повсюду. Чистое синее небо усеяно звёздами. Они горят. Полная луна сияет ярко. Кругом её, как ореол, мерцает матовый свет, в котором тонут слабые светила — звёзды. Громадный круг белого света падает на дальнюю поверхность моря и, сверкая искрами, широкой полосой тянется к пароходу. Тёмная масса воды, ровная, покойная, в глубине которой мерцают отражённые звёзды и цвет неба и далеко уходит во все стороны. Направо и налево, в туманной дали, мягкими силуэтами виднеются острова. Их основания прямой линией отделяют море и ломанными изогнутыми очертаниями верхушек означают небо. Небеса точно утонули в море и приняли один с ним колер цвета. Острова разделяют их и сами как бы висят в пространстве. Пароход идёт плавно, покойно. Мачты его мощно уносятся кверху и стоят неподвижно. Косые канаты оснастки, проволочные лестницы отрезают острые громадные углы неба, через которые выглядывают северные звёзды. Торжественная тишина царит в природе...

Но чу! Тихо, мелодически откуда-то понеслись звуки и потонули в воздухе. Ухо ловит их, душа воспринимает и наслаждается ими. Они снова воскресают, льются, при-

нимают определённые мотивы и завершаются грустно-торжественным гимном наших богомольцев: «Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ и гробным живот дарова».

# Путевые очерки

# Финляндия

## I

Как всегда, мы и на этот раз составили план нашей поездки за границу задолго до того дня, в который решено было выехать из Москвы. Ещё дней за десять до 21 мая взяты были пассажирские билеты на пароход «Ойгона», на котором мы теперь плывём и пользуемся всем комфортом, каким обставлен каждый пароход Финляндского общества, рейсирующий между Петербургом и Стокгольмом. Всё на этих пароходах до поразительности чисто, чинно и предусмотрено, и лишь одно несколько затрудняет русского туриста — это незнание экипажем судна и прислугой русского языка. Финляндцы и финляндки говорят по-шведски, видимо, понимают по-немецки, но ни слова не говорят по-русски. Редко-редко где-нибудь услышишь сказанное финном изуродованное русское слово да разве энергическое восклицание на непонимание окружающих вопросов какого-нибудь русского туриста.

Пароход «Ойгона» — большой, красивый, сильный. Машина его в 700 паровых сил, носовая часть приспособлена к тому, чтобы сделать его ледорезом, так как пароход всю зиму совершает рейсы между Ганге и Стокгольмом. Мы идём плавно и быстро, но не чувствуем ни малейшей качки, хотя зайчики на волнах пестрят поверхность воды. Мы с интересом смотрели на проходивший мимо нас Кронштадт, его твердыни и целый лес мачт и пароходов, между которыми так оригинально выглядывают массивы броненосцев, представляя собой как бы стальные скалы со специальными очертаниями. На нашем пути как-то тяжело грохочет, таская ил и землю со дна залива, колоссальная землечерпательная машина, а справа нашего пути стоят на якорях морские иностранные суда-гиганты, да белеет маяк Кронштадтского рейда, а вдали, выше всех судовых мачт, сверкает знакомый по рисункам крест и шпиль Кронштадтского собора.

## II

Назавтра мы проснулись в 7 часов утра. Пароход наш подходил уже к Гельсингфорсу, который глядел на нас в ясных очертаниях своих построек. Таким образом, весь путь от Петербурга до Гельсингфорса мы прошли в тринадцать часов времени. Шхер на этом участке пути нет, но при входе к пристани главного города Финляндии мы обходим гранитные глыбы скал, торчащие из воды в виде маленьких островов то серого, то бурого цвета без всякой зелени и растительности. И только земляные пирамиды крепости как бы наперекор всему зеленеют травой, составляя собой резкие контрасты — идиллию мира и жизни с орудиями разгрома и разрушения.

С залива Гельсингфорс кажется таким красивым городом, что простишь финляндцам мнение, будто город равен красотой даже Неаполю. Чистотой и порядком, прибавляю я, не только равен, но далеко выше любого портового города, но только этим и уж отнюдь не красотой окружающей природы. Здесь всё, начиная с мёртвого гранита до цветка-травы и дерева-сосны, как-то однообразно, серо, но до такой степени крепко и прочно, что, кажется, никакая буря сломить его не может. Всё тут устроено основательно, всё сделано так, как в данном месте следовало сделать, а потому и выглядит не только красиво, а даже изящно и грандиозно. Площади, улицы, бульвары, дома глядят на нас, русских, не нашей привычной стороною — крупного рядом с мелким, красивого с безобразным, чистого с грязным, одним словом, того, что мы понимаем под выражением «французского с нижегородским» — вот этого-то нет и в помине. Любая лошадь извозчика и его пролётка, любая деревенская телега на железных осях подтвердят вам ту же истину, несмотря на то, что всё это население — те финны, над которыми многие из нас легкомысленно издеваются. Ни на какой пристани, ни на какой толкучке вы здесь не встретите пьяного рабочего и того босяка, который нам известен с детства и о котором с такой реальной правдой рассказывал нам в последние годы М. Горький. Ничего этого в Финляндии нет, потому главным образом, что нет тут питейного заведения и продажа спиртных напитков строго и неуклонно ограничена законом.



### III

Путь нашему пароходу лежал из Гельсингфорса в Ганге, Або и Стокгольм. «Ойгона» вышел из порта 23 мая в 12 часов дня и прибыл в Стокгольм на другой день в 9 часов утра. Переезд этот Финским заливом, частично Балтийским морем и большей частью шхерами полон такой здоровой и неподдающейся описанию прелести, что непростительно нам, русским людям, что знаем мы его плохо, потому что посещаем эти северные страны редко и неохотно. А между тем, прежде нежели стремиться «за тридевять земель» юга, нам бы следовало осмотреть наших соседей — Швецию и Норвегию — и раньше всего осмотреть нашу собственную, но обособленную провинцию — Финляндию. Как много могли бы мы увидеть в них интересного и как многому могли бы мы у них поучиться. Природа Финляндии, Швеции и Норвегии больше родственна по климатическим условиям нашей русской природе, чем южной Европе, но она выдвигается здесь своими основными чертами ещё резче и сильнее, главным образом, потому, что местное население сделало их доступными для обзора, настроив шоссе, каналов, железных дорог и пароходов такое большое количество, что всякий путешественник смотрит всё это с удобством и удовольствием. И нечего греха таить — с болью в сердце просится наружу невольное сравнение с нашим неустройством, с нашими, быть может, красивейшими в Европе природными уголками, но в культурном отношении не устроенными, а посему для обзора и пользования недоступными. Даже перлы между горными вершинами Европы — наш Кавказ и восточные берега Чёрного моря — едва-едва начинают принимать вид сколько-нибудь сносного культурного места, а что сказать о нашем Урале и Алтае, где красивых гор, ущелий, горных речек, водопадов и замечательных долин целые тысячи, но проехать к ним и даже подойти к ним не только трудно, а в большинстве случаев прямо невозможно. Мы знаем по рисункам Телецкое озеро, величайшее озеро Байкал, речки Бия и Катунь, не уступающие красотой швейцарским озёрам и горным речкам, а вот попробуйте-ка к ним добраться и осмотреть их в тех же условиях

комфорта, какими вы в Швейцарии обставлены, и вы спасуете от неодолимых препятствий. У нас чуть не повсеместно нет удобных путей сообщения, у нас зачастую в интересных пунктах нет не только сносных гостиниц, а даже нет никаких меблированных комнат, где бы можно было остановиться и провести несколько дней. Разве наш северный водопад Кивач на реке Суне не величествен, а как вы туда проедете хоть с каким-нибудь удобством? Разве наша знаменитая алтайская вершина Белуха не поражающа, а как вы туда проберётесь?

И выходит так, что все современные народы давно сознали, какая громадная сила заключается в удобных путях сообщения, а посему и оборудовали их с величайшей обдуманностью и старанием. И лишь мы одни да разве инородцы наши придаём тому едва заметное значение.

## Швеция

### IV

Пароход «Ойгона» ночью перешёл частицу Балтийского моря и повернул в шведские шхеры, которыми мы и шли вплоть до Стокгольма целое утро — от 6 до 10 часов. Погода была ясная и тёплая. С обеих сторон пути нас окружали острова и проливы, на которых выглядывали то гранитные скалы характерного красноватого цвета, то попадались навстречу лодки и пароходы, то рисовались на островах шведские домики с красными стенами и широкими окнами.

На всех пейзажах, развертывающихся пред нашими глазами, лежала особая печать иной природы и иного склада жизни культурного северного народа, каких мы дома у себя нигде не встречали и не видали. И чем ближе мы подходили к Стокгольму, тем окружающая природа становилась мягче и красивее, тем дачи и виллы богатых шведов выглядывали крупнее и монументальнее, тем растительность на островах была гуще и сильнее.

Стокгольм выглянул на нас острым, игловидным шпцем старого собора, красной башней водопровода и высокой ротондой железной сетки телеграфного агентства. Пароход тихо подошёл к гранитной набережной и оста-

новился у пристани финляндского пароходства под трудно выговариваемым названием «Шеппеллебру». Совершив тут же, на берегу, так называемый таможенный обряд осмотра багажа, где шведские чиновники крайне вежливо относились к пассажирам, мы тотчас же и переехали в прекрасную гостиницу под вывеской «Гранд-Отель».

## V

Сам Стокгольм, когда с ним немного ознакомишься, производит впечатление иного характера и склада, чем любая европейская столица. Начать с того, что пролив Норострем, бурно несущийся из озера Мелар в фиорд Балтийского моря, вроде порога, и другие проливы и заливы прорезывают город во всех направлениях. Большое озеро Мелар с целой группой островов, одним концом врезавшееся в город, ещё более оттеняет эту сторону обилия воды. Готский канал, сооружённый на протяжении 600 вёрст между Стокгольмом и Готборгом, начинается как раз от этого озера. Улицы в Стокгольме прямые, чистые и лишь в старом городе пока ещё узкие и полутёмные, но всюду тщательно мощёные гранитом. Сообщение — на маленьких лодках-пароходиках, на трамваях и конках — удобное и крайне дешёвое.

Старые дома возле фиорда и пролива, по-видимому, так давно построены, что надобно считать не одну сотню лет их существования. Городские сады содержатся в образцовом порядке и поражают массой прекрасных памятников, воздвигнутых великим людям Швеции. В особенности красив из них сад Линнея, расположенный в северной части Стокгольма. Между всеми деревьями, свойственными климату местности, растут прекрасно некоторые представители и более южных стран, каковы, например, каштан и пирамидальный тополь, а дикая яблоня прямо поражает величиной своих крон и массой цвета. Когда за восемь öре (4 коп.) вас поднимут на высокий элеватор (16 сажень) и когда весь город с его заливами и предместьями вы можете осматривать с высоты птичьего полёта, вы больше всего подивитесь необычайной красоте местности и отдадите должное уважение шведам, с каким глубоким пониманием дела они умели воспользоваться всеми природными условиями, настроив гавани и элеваторы в фиордах и соору-

див каналы и шлюзы между озёр и морских заливов, грандиозности которых потом удивляется Европа.

## VI

В той массе пароходов и пароходиков, какая непрерывно движется по всем направлениям Стокгольмского фиорда и его разветвлений, бросается в глаза полное отсутствие колёсных пароходов. Ни в какой форме о них нет и помина, а всюду и везде применяется один гребной винт. Шведы, видимо, мало пользуются извозчиками, а много ходят и много плавают. Собственные выездные лошади и экипажи — большая редкость, и вы их видите только случайно и спорадически. Лучшие рестораны устроены где-нибудь на берегу залива или у Королевского моста, обыкновенно битком набитого публикой, где шведы пьют пиво и в особенности любимый свой напиток пунш и слушают музыку. Поздно вечером от обилия воды бывает сыро, а посему здесь по требованию посетителей принято давать бесплатно красные или полосатые одеяла, которые накидываются на плечи и в массе составляют вид чего-то странного и как бы какого-то маскарадного собрания.

## VII

Телефонное сообщение развито здесь в высокой степени. Достаточно сказать, что в Стокгольме на 280 тысяч жителей телефонных абонентов 20 тысяч, и, таким образом, на каждые 14 человек функционирует один телефонный аппарат. Применяя эту пропорцию к Москве, там должно бы быть телефонных абонентов 70000, тогда как на самом деле Москва их имеет только 2500. Всё это само собой объясняется дороговизною абонементной платы у нас и дешёвизною платы у них. Абонементная плата существует в год в Москве 250 рублей, а в Стокгольме — 20 рублей. Результаты таких систем и сказываются наглядно в количестве абонентов. Здесь телефон имеется не только у многих жителей, но он имеется в хороших отелях, даже в каждом номере, и вы, занимая отдельную комнату, даёте ваши приказы в контору и прислуге не звонками, вызывая коридорного, а прямо по телефону приказываете, что вам нужно, и, конечно, всё это и времени отнимает меньше, и исполняется быстрее.

Лучшие отели Стокгольма устроены с таким комфортом и удобствами, что наши столичные отели могут только мечтать о них, но не иметь их. Не говоря о внешности архитектуры парадного входа, всегда устроенного стильно, все коридоры и полы в комнатах устланы толстыми английскими коврами, освещены электрическими лампами и снабжены такими роскошными умывальниками с холодной и горячей водой, что только удивляешься всей этой целесообразности и комфорту, какой придаёт комнате в отеле всякое подобное нововведение. Даже двойные рамы в окнах не оставлены в том хаосе свободы, каким они у нас щеголяют, хлопая в притворы при всякой тяге воздуха. Для них также придумано приспособление, регулирующее то положение створок, какое вам нужно придать им.

### VIII

Переезд по железной дороге из Стокгольма в Христианию на экспрессе в 780 километров расстояния отнимает времени только 13 часов. Вагоны в Швеции устроены прочно и удобно, и рельсы, и рессоры согласованы между собой так, что вагон движется плавно, и вы свободно можете писать ваши заметки, расположившись у столика перед окном вагона. За спальное купе на всю ночь взимается плата с каждого пассажира в первом классе 2 рубля 50 копеек, во втором — 1 рубль 50 копеек и придуманы такие удобства, которыми пользуются за всё время существования вагона, а не тогда только, когда он новый и когда крючки и пружины не успели ещё испортиться. Здесь нет лишней роскоши, но всё то, что предназначено для службы пассажиру, поддерживается в постоянной исправности и служит ему постоянно. Ни кондуктор, ни обер-кондуктор не контролируют ваших билетов множество раз и не заглядывают вам в глаза, ожидая подачи на чай, а делают своё дело спокойно и с достоинством. Буфетов в нашем смысле — с винами и закусками — здесь совсем нет, буфеты здесь дают кофе, молоко, пиво, бутерброды за плату вдвое и втрое дешевле нашей, и этим их функции и ограничиваются. Они не требуют деньги тотчас, когда вы что-нибудь возьмёте, а когда вы взятое скушаете и потом им об этом заявите. Нужно ли прибавлять, что все продукты в таких буфетах лучшие — это разумеется само собой.

## IX

Природа, как в окрестности Стокгольма, так и вблизи Христиании, очень живописна и красива. Невысокие, но одетые хвойным лесом горы тянутся по обеим сторонам пути, делая прекрасные долины и отделяя от себя скалы и отроги, что придаёт всему ландшафту полную аналогию вида нашей уральской идиллии. Обилие речек и озёр удваивает иллюзию того, что местность как бы в самом деле русская, много раз где-нибудь около Екатеринбурга или на реке Чусовой тобою виденная, пока какая-нибудь сельская постройка шведской деревеньки, какой-нибудь оригинальный частокол не напомним, что это не Пермская губерния, а Швеция и Норвегия, потому что стены построек окрашены охрой, нет нигде на них отломленных драниц на крыше, а частоколы хотя старые и почерневшие, но все жерди лежат в своём ранжире, точно вчера только положенные. Вон зеленеет среди камней и окатанных гольшей поле озими в 5—6 вершков вышиной, но с каким трудом оно было обработано — об этом ясно говорит целая стена забора, сложенная из них, когда поле очищалось для пашни.

Поезд, сделав перевал через водораздел, выбежал на левый берег реки Ломен, самой большой реки Норвегии, которая несла в своих волнах брёвна и жерди, сплавляемые потом к лесопильным заводам, устроенным на первом же крупном пороге-водопаде. Всё это несётся водой в одиночку, легко одолевая рифы и мелкие пороги, пока в намеченных пунктах не остановится в боковой заводи плёса, само собою, куда их та же сила текущей воды, отбитая утёсом противоположного берега, как в ловушку стремительно и толкает.

## X

Столица Норвегии Христиания расположена амфитеатром на берегах фиорда того же названия в такой красивой местности, что, раз её увидев, не забудешь никогда в своих воспоминаниях. Сам город, его многочисленные заливы, острова, холмы и горы кругом одетые тёмно-зелёным кольцом растительности, дают пейзаж необычайной красоты и силы. Все постройки Христиании — солидные, прочные, удобные, не заявляют стремления к лёг-



кости и изяществу, но зато они рассчитаны на Мафусаилов век существования. По улицам города снуют вагоны электрического трамвая и зеленеют скверы и сады вековой растительности. Склады товаров и большие магазины, о каких обе наши русские столицы могут только мечтать, устроены здесь даже во второстепенных улицах и переулках. Все заводские и мануфактурные товары настолько дешевле против наших цен, насколько пошлина на них меньше, а конкуренция сильнее. Общественные здания, как-то: стортинга, университета, музея — просты и монументальны, но как раз приспособлены к северному климату Норвегии. Тротуары и скверы для общественного пользования устроены удобно и хорошо.

Нужно ли добавлять, что вид на город с залива ли, с высокой ли точки какой-нибудь горы представляется из ряда вон выходящим. Целая цепь гор и холмов, окружающих котловину фиорда, на берегах которого раскинута норвежская столица, придают этой панораме вид чудного пейзажа, от которого, что называется, глаз оторвать не хочется.

На рейде и в гаванях стоят всех наций пароходы и парусные суда с преобладающим элементом Англии, в товарных складах товары только английские, между путешественниками-туристами — опять те же англичане. Оттого-то, верно, и слышишь часто, кроме говора норвежского, говор английский, куда бы ты ни пошёл, к какой бы толпе народа ни прислушался. В гостиницах, на пароходах, на железных дорогах вам отвечают как иностранцу — только по-английски и редко-редко молвят разве по-немецки, но нигде не услышишь французского, а тем более русского языка. Таким образом, здесь господствует английское влияние во всех сферах повседневной жизни.

## ХІ

В праздничные дни, по примеру Англии, всё в Норвегии заперто и закрыто. И только одни трамваи да мелкие пароходы с веселящейся праздничной публикой работают на славу, перевозя массу пассажиров на острова, в круговые поездки по заливу или по ресторанам на высокий холм близ водопроводного резервуара. Вид с башни этого резервуара, господствующего над городом, поисти-

не дивный и поразительный. Вы стоите на высоте примерно сажень ста, и под вашими ногами во все стороны стелется ряд панорам, одна другой лучше и одна другой восхитительней. То зеркалом блестит с одной стороны залив Христианского фиорда, унизанный копьями мачт судов и пароходов, то синееет даль какого-нибудь горного силуэта, то выглядывает оригинальными чертами диких скал и ущелий какой-нибудь склон горы, то стелется, наконец, какая-нибудь шашка зеленеющей поляны.

Праздничная толпа народа здесь совсем иная, чем у нас на родине. Пьяных людей нигде не видно, и безобразных сцен разгула здесь не бывает. Вы не увидите в этой стороне человека, протягивающего руку за подаванием, как не увидите и другой крайности — богатства, выражающегося чем-нибудь особенным, что бросалось бы в глаза и кричало о себе на улице. Всё тут приноровлено более или менее к типу занятого трудящегося человека, и нет на виду ни одного субъекта, который бы не знал, где ему преклонить свою голову. В 6 часов утра трамвай уже работает, и вагоны его полны народом, отправляющимся к месту своего служения. Всё здесь с раннего утра и сразу принимает вид неустанного труда, где нет места «ничего-неделанию».

## Норвегия

### XII

В конторе Беннета нам устроили круговую поездку по Норвегии с началом её из Христиании, продолжением железными дорогами, пароходами, на лошадях через Рингс-фиорд, Однес, Эйде, Берген, Христиан-занд и потом обратно в ту же Христианию. Всё это рассчитано для семи человек туристов на 12 суток путешествия со всеми расходами — проезда, остановок и ночлегов в отелях и столования. Сумма расходов составила 982 кроны (503 рубля). Мы пока ещё выполняем начало нашей поездки, и я пишу мои заметки, сидя на пароходе, который курсирует в продолжение пяти часов по Рингс-фиорду до местечка Однес. С завтрашнего дня мы в продолжение трёх дней поедem на лошадях, потом на пароходе, снова на

лошадях и снова на пароходе, пока не прибудем уже в Берген. Из Бергена же мы вернёмся на морском пароходе кругом южного мыса Норвегии опять в Христианию.

Виды по железной дороге из Христиании до Рингс-фиорда — одни из самых живописных, какие только я когда-либо видал. Дорога всё время поднимается в гору и достигает кульминационной точки красот, когда она подходит к фиорду Терифф-Ярден и городу Драмен. Через верхушки и просветы елей, глубоко внизу, мы увидели озеро-фиорд, по берегам кругом застроенное фабриками, заводами и домами жителей города Драмен. Панорама была по своей красоте крайне редкая и выдающаяся. Мы все прильнули к стёклам окон, любуясь ею, пока она проходила мимо нашего вагона. Поезд обогнул фиорд и загремел по длинному, изгибающемуся наподобие латинской буквы S, мосту, пока не остановился у станции другого, верхнего Рингс-фиорда. Вся часть фиорда Терифф-Ярден, примыкающая к устью реки Бурут, покрыта круглыми плотами сплавленного ею леса, окружена целой сетью лесопильных заводов и представляет собой главную статью экспорта лесных материалов за границу.

### XIII

Фиорды Норвегии и их распространённость — характерная черта страны, значительно большая, чем в Швеции, не говоря уже о том, что в Норвегии они живописны и грандиозны. По берегам моря фиорды — это глубокие заливы, вдающиеся в материк большей частью узкими проходами иногда так далеко, что длина их выражается десятками, в редких случаях и сотнями вёрст расстояния. Внутри же страны фиорды — это озёра между гор, в которые падают водопады с окружающих высот, а из них бешено несутся потоки многоводными каскадами в другие, ниже лежащие фиорды. Начало верхнего озера-фиорда бывает расположено около какого-нибудь главного ущелья, по дну которого шумит и пенится поток. Берегом около самой воды такого озера-фиорда пролегает шоссейная дорога, а потом ущельем поднимается на перевал между верхушек гор и спускается к следующему ряду озёр-фиордов. В продолжение последних дней мы проехали железной дорогой, пароходом и на лошадях пять больших фиордов, из которых два

полны сплавляемого на лесопильные заводы Драмена хвойного леса — это Терифф-Ярден и Рингс-фиорд, а третий, Траде-фиорд, лежит в ещё более суровой котловине, чем два первых, и в нём нет уже сплавляемого леса. Протяжение упомянутых фиордов составляет от 10 до 50 вёрст каждое. Железная дорога из Христиании (145 вёрст) проникла на возвышенное плато Рингс-фиорда, где мы перешли на пароход и плыли по нему до местечка Однес в продолжение 6—7 часов времени.

#### XIV

В местечке Однес находится отель, где приезжие туристы проводят ночь, чтобы назавтра в течение дня переехать расстояние на лошадях 84 километра. Так же поступили и мы, проведя весь день в экипажах от восьми часов утра до восьми часов вечера. Мы на одних и тех же лошадях поедem до Лердальзолен 234 километра. Горный перевал от Ронгс-фиорда к Траде-фиорду достигает высоты 2300 футов, где в царстве сосны и ели устроена гостиница и санатория, а другой, ещё более высокий перевал Нюстроен достигает высоты 3160 футов и представляет собой горное плато, где нет растительности, а лежат на впадинах горных вершин снежные сугробы. Нужно ли добавить, что здешние шоссе гладки, как паркет, а экипажи на рессорах доведены до последней степени лёгкости и удобства. Норвежский экипаж — двухколёсная кариола — на её рессорах выглядит такой лёгкой, что с внешней стороны представляет собой что-то похожее на игрушку, хотя в ней ездят 2 человека. Норвежские лошади маленького роста, красиво сложенные, с огненными глазами и удивительно сильные и выносливые. Это видели мы в продолжение трёх дней, когда одни и те же две лошади пробежали расстояние в 232 километра, везя на себе четырёхместную коляску и совместно с кучером пять человек пассажиров.

Мы до сих пор в Норвегии не видели ещё ни одной равнины. Нас окружают горы и горы; мы едем берегами фиордов, лежащих в глубоких котловинах, мы то поднимаемся, то спускаемся громадными ущельями. Высокие горные плато, куда мы порой поднимаемся, как, например, Нюстроен, где перед отелем даже лежит ещё не ра-

стоявший сугроб снега, не говоря уже о самых пиках гор, испещрённых белыми пятнами того же снега, дают нам разряженный горный воздух, пониженную температуру и особые виды пейзажей. Ведь как-никак, а озеро-фиорд Филиенфельд лежит на высоте 3164 фута и за ночь в некоторых местах покрылось тонкой плёнкой льда.

Когда мы от фиорда Гринфиельд поднимались ущельем к плато и озеру-фиорду Филиенфельд, мы постепенно оставляли позади себя хвойные леса, низкорослую кустарниковую берёзу и, наконец, выехали на плато, где нет никакой растительности и где мы в отеле Ностюэн остановились на ночлег.

## XV

Все эти дни мы должны были вставать рано — в 4—6 часов утра и в 8 часов ехать дальше. От станции Ностюэн путь наш лежал между высоких скал, усеянных на их вершках снеговыми сугробами, и мы свободно могли следить, как зарождаются ручьи и каскады, как начинают образовываться сначала маленькие озерки-фиорды, потом, по мере спуска с гор, они в долине усиливаются, и ручей мало-помалу по мере притока боковых ручьёв и водопадов превращается в речку, потом — в бушующую реку, которая бурлит и пенится, образуя собой грозные каскады и водопады. Мы спускаемся под конец в ущелье, которое чем дальше тянется, тем страшнее становится, и временами превращается в глубочайший гранитный коридор, на дне которого бешено ревет и мечется река. В стене этого каменного коридора сделана выемка, и по ней-то вот и тянется узенькая проезжая дорога, с которой буквально было страшно смотреть вниз. Весь день — с восьми часов утра до семи часов вечера — на протяжении 65 километров мы ехали этими ущельями, порой прямо под нависшими скалами, где бурная Лер-Дальс бешено шумела под нашими ногами то с той, то с другой стороны по мере того, как дорога меняла один берег на другой, проходя мостом, устроенным всегда над каким-нибудь каскадом. Местами становилось жутко заглядывать в пучину водопадов и загибать голову назад, чтобы видеть верхушки гор и скал, зачастую покрытых снегом. Водопадов с боковых скал попадалось много, падающих иногда отвесно со страш-

ной высоты и представляющих собой то белую жемчужную ниточку, протянувшуюся от верха до основания, если водопад не крупен, то величественный, опрокинутый веер, колеблемый ветром, в серебряной пыли которого играет радуга, если он значительный и многоводный. Грозных и поражающих ущелий на этом участке дороги, протянувшимся на двадцативёрстном расстоянии, такое множество, что память отказывается помнить, а рука описывать. Они порой так невыразимо дики и величавы, что превосходят даже страшное Дарьяльское ущелье на Кавказе. Мы теперь, окончив колёсный путь в 230 километров, всё ещё находимся под подавляющим впечатлением от виденного и перечувствованного и не находим слов для выражения нашего изумления перед грандиозностью картин, прошедших перед нашими глазами.

## XVI

2 июня в 5 часов утра из населённого норвежского местечка Лердальзолен мы сели на пароход и отправились по фиорду Зёнен к его южной оконечности, чтобы далее ехать на лошадях расстояние 48 километров до города Фоссеванген. Если те озёра-фиорды, какие мы до сих пор в этой стране видели, были дивно хороши и восхитительны, если красоты природы, их окружающие, казались нам выше всякого описания, то я, право, не знаю, какие найти слова, чтобы дать хотя бы приблизительное понятие о том, что мы в продолжение трёх часов хода парохода фиордом Зёнен видели и чувствовали. Это было сочетание чего-то сказочного в живой действительности; какая-то феерия с быстрыми превращениями картин одна другой лучше и фантастичнее. Фиорд Зёнен узок и извилист. Самая большая ширина его, и то в одном только месте, достигает не более версты, но так как берега фиорда, т.е. не берега его в прямом, буквальном смысле, которых у фиорда нет, потому что скалы опускаются отвесно в воду, ну стены, что ли, его поднимаются ввысь на 3, на 4000 футов, то, посудите сами, что это за тоннель, прорезанный природой между водой, гранитными стенами по бокам и синим небом наверху!

Местами граниты стен сдвигаются сажень в 50 шириной, и мы плывём как бы коридором, поворачивая паро-



ход по мере изломов линий то в одну, то в другую сторону, и шум его винта, бурлящий воду за кормой, особенным образом слышится в ушах, сливаясь с шумом падающих временами по карнизам и отвесным скалам водопадов. Вода в фиорде видится зелёного, прозрачного оттенка, а солнце освещает и воду, и скалы только тогда, когда лучи его падают вдоль фиорда, и тогда нет предела игре света в зеркале воды и не насмотришься на радуги, осеняющие водяную пыль крупных водопадов. Скалы-берега временами так круты и высоки, что кажутся отвесными, спускающимися перпендикулярно в воду, а верхушки их теряются вдали небес, блестя иной раз белеющими пятнами и полосами снега. Ветра нет, и поверхность фиорда-озера блестит, как зеркало, в котором до поразительности ясно отражаются береговые угрюмые гранитные массивы. Серая гранитная стена иной раз так гладка, что, кажется, обтёсана руками человека. Вот мимо нас проходит каприз природы — высокая круглая гора, как будто копия сахарной головы в 2000 футов вышиной. Вон выглядывает другой фиорд с правой стороны, перспектива которого за выступами скал теряется вдали в фиолетовом тумане воздуха.

Картина за картиной сменяет одна другую, точно в волшебном фонаре, и не знаешь уже, чему тут больше удивляться, а стоишь молча, в немом восторге упоения.

## XVII

В конце фиорда Зёнен, который буквально можно назвать волшебным, нас ожидали экипажи, и мы сейчас же из плавающих на пароходу превратились в едущих в экипажах туристов. В конце фиорда вытекает из него река в другой фиорд, ниже его лежащий, но течёт она по такой ужасающей теснине, что норвежцы, даже при всём умении строить шоссейные дороги по отвесным скалам, не нашли возможности проложить здесь удобное шоссе. Посему дорогу проложили в обход ущелья, по выступам овальной скалы зигзагами и крутыми подъёмами в виде коленчатого марша. Подъём получился очень верный, но крутой и головоломный. Лошади едва тянут пустые экипажи. Справа и слева неистово шумят два громадных водопада, низвергающиеся в ущелье более чем со 100-саженной вы-

соты, из которых правый водопад имеет вид опущенного книзу веера и отливает в воздухе цветами радуги, играющей в водяной пыли его. Слева главный водопад падает отвесно, а наверху его, за ребром скалы, по склонам пик, виднеются ещё три мелких водопада, несущихся с высот и у подошвы гор с ним сливающихся.

Подъём на овальную скалу с каждым маршем поворота открывает виды на ущелье и фиорд Зёнен до того прекрасные, до того необычайные, что останавливаешься перед ними на каждой площадке подъёма в немом восторге восхищения. Всё тут как бы создано и сконцентрировано только самое красивое в природе, всё тут как бы скомпоновано с подавляющим величием, перед которым надо только смиренно преклоняться.

Остальная дорога до большого норвежского поселения Эйде в другое время и при других условиях была бы, пожалуй, очень интересна, представляя ряд красивых видов и горных пейзажей, но после всего, только что виденного нами, не представляла для нас ничего уже замечательного. Наша восприимчивость, видимо, ослабела, мы, видимо, устали. Погода, до сих пор стоявшая солнечной и тёплой, начала превращаться в дождливую и холодную.

\* \* \*

К концу нашего последнего экипажного пути мы въехали в ущелье Фоссе-Ванген, само по себе производящее сильное впечатление чёрными отвесными стенами скал, какой-то катастрофой перевёрнутыми слоями складок вертикально. Из-за стен и скал в ущелье не проглядывает солнце, слева шумят каскады горной речки. Мы переехали мостом на другую сторону потока и, обогнув чёрную нависшую скалу, ахнули от восторга от развернувшейся картины перед нашими глазами. В ущелье оказалось новое ущелье, ниже первого, лежащее сажен на сто глубиной. Речка оборвалась и падала в глубину его. Чёрные гладкие каменные стены, точно обтёсанные рукой человека, стоят по обеим сторонам ущелья — глянцевитые, гигантские, сажен в полтора-два вышиной. По осыпи, образовавшейся с правой стороны провала, проложен петлями крутой спуск дороги, идущей вниз, к подножию водопада, рассыпающегося там водяной пылью, далеко разносимой током воздуха.

Картина была одна из самых величественных, когда-либо виденных нами даже в Норвегии.

На пристани Эйде мы дождались парохода и вечером, около 9 часов, фиордом Хардангер отплыли в местечко Одо. Несмотря на облака и накрапывавший дождик, мы плыли по фиорду до часа ночи при таком свете, что можно было читать газету. С правой стороны от Эйде по всему фиорду тянулся ряд гор, покрытых пятнами и полосами снега. Из боковых фиордов, каких проходим мы немало, дует ветер то летний, тёплый, то холодный, напоминающий осень.

В час ночи мы были уже в местечке Одо, в знаменитом по устройству отеле «Гардангер».

## XVIII

В Одо мы пробыли две ночи. Отель «Гардангер» построен деревянный, но выдающийся по своим достоинствам и комфорту. Особенно роскошна его столовая, рассчитанная на 150 человек обедающих.

Днём мы совершили поездку к трём водопадам — Латерфос, Скарфос и Эсфелятфос, находящихся в восемнадцати километрах от Одо. Пришлось всё время подниматься вверх большого протока из верхнего фиорда, потом огибать фиорд и подниматься, наконец, в узкое и грозное ущелье, где бешено шумят и клубятся эти водопады. Количество и сила падения воды в них так велики и обильны, что кругом на значительном пространстве всё орошено влагой, а по дороге, проходящей внизу водопадов, несётся водяная пыль с такой силой, что буквально захватывает дыхание у каждого проходящего и проезжающего человека.

Вид на эти водопады вблизи их и особенно с выступа скалы, на которую несутся сверху белые, как снег, клубы пены, поистине поразительный и ни с чем не сравнимый. Когда смотришь снизу на эту падающую массу белых гнёзд, непрерывно меняющихся в своих очертаниях, то так и кажется, что движется что-то страшное, живое, которое на пути своём может поглотить и уничтожить всякое препятствие. В водопаде этом чувствуется такая сила и мощь, какую измерить и сосчитать человек даже не в состоянии. Особенный грохот наполняет воздух и по ущелью далеко

разносится кругом, как бы рассказывая о великой энергии водопада.

В унисон водопаду первому шумит и грохочет несколько иным тоном водопад второй — Скарфос, несущийся с отрога высочайшей вершины и потом внизу сливающийся с первым водопадом. Верх его виднеется так высоко, что глаз не может уловить подробностей движения, а видит только белую полосу, которая слегка колыхается.

Водяная пыль несётся кверху облаком, и в ней то появляются, то исчезают радуги, изменяясь в силе цвета и напряжения, начиная от самого слабого, желтоватого отблеска до полного и яркого разделения всех основных цветов спектра. Дорогой, когда вы проезжаете мостом у подошвы скалы, возле самого фиорда вы попадаете в область водяной пыли, широким потоком несущейся от водопада, — вам необходимо отвернуть лицо ваше, иначе вам захватывает дух, и вы инстинктивно закрываетесь руками. Пока лошади крупной рысью не пробегут этого моста, ваше платье и руки окажутся мокрыми, как бы после мелкого, частого дождика.

Третий водопад, Эсфелятфос, как бы не шумит и не грохочет, потому что грохот первых, ближних водопадов глушит его. Он только виден по другую сторону фиорда, где широкой белой полосой падает с утёса. Вид его где-нибудь в другом месте так же поражал бы внимание зрителя, как и всё замечательное в природе. Здесь же, по соседству с водопадом Латерфос, он тушется, и на него уже мало обращается внимания.

Отсюда, с пристани того фиорда, с половины поля совершаются ещё экскурсии на глетчер и вершины снеговых гор, ярко белеющих в треугольнике между высоких пирамидальных гор на противоположной стороне фиорда-озера. Удобный доступ к ним возможен только переправой на маленьком пароходике с этой стороны фиорда, а потом сам подъём совершается частью на верховых лошадях и частью пешком в специальной обуви и одежде.

## XIX

Погода стояла солнечная, жаркая, когда мы отплыли из Одо по боковому фиорду Хардангер, врезавшемуся глубоко внутрь страны, до местечка Эйде. Винтовые паро-

ходики, совершающие рейсы по внутренним озёрам-фиордам, небольшие, но уютные, в которых всё приспособлено к возможному удобству и комфорту. Боковой фиорд Хардангер на большей части своего протяжения не превышает ширины нашей Волги где-нибудь около Саратова, но существенная разница в том, что берега его состоят из скал и порой так круты и высоки, что на верхушках их лежат белые пятна снега. Вода в фиорде, видимо, глубокая, прозрачная и при солнечном освещении кажется бутылочного, зелёного оттенка.

Во многих местах страны мы встречали особый способ передачи грузов по проволоке — дров, хвороста и провизии. Где-нибудь около самого фиорда прикрепляется проволока красной меди, доходящая другим концом до верхушки скалы или горы. Длина её приблизительно 100—300 сажен. Проволока особенным приспособлением деревянного валика, укреплённого в устоях, натягивается как струна и служит путём передачи дров, хвороста и прочее, которые каждый раз, благодаря приспособлению маленького аппарата, медленно скатываются вниз или поднимаются вверх с провизией, тягой.

Многие понятия и названия, усвоенные нами с детства на равнинах, трудно приложимы к таким странам, как горная Норвегия. Например, понятие берега, известного на наших реках и озёрах, совсем не то, что здесь: плывя фиордом, мы видим, как гранитные скалы под углом градусов 80 опускаются в воду, а порой стоят даже отвесно, уходя ввысь так высоко, что пики их кутаются в облаках. Наша упряжь и телега не подходят к здешней карриоле и запряжке без дуги и чересседельника. О дорогах здешних и говорить нечего. Они гладки, как паркет, и там, где выются над обрывами или тянутся под скалой, там они через небольшие промежутки огорожены большими кусками не обделанного гранита или песчаника, поставленными на ребро.

## XX

Больших сёл и деревень, в нашем русском смысле, в Норвегии очень мало. Здесь есть города, а затем по всей стране разбросаны отдельные домики, дворы и отели, и очень редко где-нибудь тянется село или деревня. В стране

высоких гор, фиордов и водопадов почему-то не принято окружать свои дома садами и цветниками. Кое-где спорадически ещё посажены одиноким кустом черёмуха, сирень, душистый тополь, яблоня, вишня, но нигде не видно того, что мы называем садом и цветником. На полях посеяны рожь, овёс, ячмень, клевер; поля обработаны усовершенствованными земледельческими орудиями тщательно, но, видимо, всё это растёт медленно и едва ли даёт на своих нивах значительные урожаи, потому что земля и климат для земледелия удобны мало. Рогатый скот всюду сытый, но мелкой расы и светлого одеяния. Рога у них крупные и оконечности их закованы в медные шарики. Овец и коз водится мало; кур, гусей, домашних уток — и того меньше. В лесах пернатого царства почти не видно, нет сорок, ворон, голубей, и редко-редко где-нибудь встретишь нашего завсегдатая воробья.

## XXI

Плывя большим фиордом Хардангера, вас греет солнце, воздух тих, и гладкая поверхность воды блестит, как зеркало. Но вдруг из какого-нибудь бокового фиорда врывается ветер, делается холодно, и фиорд сразу покрывается волнами, пока пароход при крутом повороте фиорда не подойдёт к высокой горе и не спрячется за неё. Вы, идя фиордом далее, приближаетесь к какой-нибудь серой громадине гранита и видите, как на открытом месте вода приняла тёмно-синий цвет, ближе к пароходу — зелёный, а у подножия великана-утёса — почти чёрный, и снова повторяются прежние периоды перемен то тиши, то ветра. Ещё несколько минут хода парохода, и вода стала отливать цветом бирюзы и яхонта. Впереди парохода виднеется извилистый путь фиорда, а за верхушками гор высится, как бы заграждая путь, новая, выше всех стоящая гора, белеющая снегом, в расщелинах которой выглядывает глетчер.

Публики на пароходе немного, но всё больше англичане, которых всегда легко отличить по их манерам и костюмам среди людей других национальностей. Они некрасивы, но держат себя с сознанием превосходства своего ума и характера. Норвегия, как Швейцария, — излюбленная ими страна для спорта и путешествия. Для их удобств



здесь всюду устроены отели с английским складом обстановки, с английским языком прислуги и английским столом кушаний. Из всех иностранных языков, здесь принятых, английский язык господствующий, а англичане чувствуют себя в Норвегии, как у себя дома. Англичан за их высокомерие можно не любить, но им нельзя не отдать дани справедливости, признав за ними глубокий ум, прекрасное образование и несокрушимую силу энергии.

После англичан в Норвегии крупное количество туристов составляют немцы. Их теперь ещё не видно, но наступит разгар сезона, и немцы появятся на всех замечательных горах и в фиордах. Единственная нация, мало дающая Норвегии туристов, — это Россия. Почему и как это выходит, трудно указать на главную причину, хотя она, конечно, есть и кроется в нашем характере.

Путь по всему фиорду Хардангера от Оде до Бергена составляет собой копию двух равных параллельных линий, пересечённых от оконечности одной до начала другой косою линией. Третью пути мы плыли с юга на север. Горы по обоим берегам тянутся конусами, седловинами всевозможных очертаний, то одетые в зелень леса, то обнажённые, серого цвета и без всякой растительности.

В 8 часов вечера мы были уже в гавани Бергена, перейдя перед этим большое количество проливов, окаймляющих собой целую группу красивых скал и островов. Сам Берген и его порт защищены горами и представляют все данные для дальнейшего развития и процветания.

## XXII

Мы в главном портовом городе Норвегии — Бергене, расположенном в заливе фиорда Хардангер, с глубоким незамерзающим портом, защищённым высокими скалистыми горами. Постройки его не отличаются монументальностью или изяществом. Берген — город рыбного промысла и морского каботажа и как таковой носит на себе все следы своего главного промысла. Его рыбный рынок — один из первых в Европе по обилию представителей царства рыб. На рынке Бергена вы видите такие формы рыб и окраски их одеяний, что невольно удивляетесь такому разнообразию. Рыбу совершенно синего цве-

та, с чёрными полосами я видел первый раз в жизни. А сколько оттенков блестящей окраски золотистого, белого и серого цветов, то и перечесть невозможно.

Около рынка устроен маленький музей местной этнографии в старом деревянном доме, в котором были когда-то, два века тому назад, контора и жилище местного жителя Бергена. Все вещи домашнего обихода того же времени поставлены точно так и на том месте, где когда-то они стояли. Вон сундучок, окованный железом, 1630 года, стул, обитый кожей с разными диковинными рисунками; вот затейливый замок, каких теперь уже не делают; висячая, круглая скриница для хранения денег и прочее и прочее. В задней комнате в одно окно вдоль стены устроены одна над другой три пары кроватей, задвигающихся вплотную деревянной поползушкой, с одеялом и подушкой, набитой травой. Вход в коридор — узкий, полутёмный, а лестница во 2-й этаж — в пол-оборота, такая крутая, по которой могли сообщаться люди, только привыкшие лазить по трапам и верёвочным лестницам на парусных судах.

В Бергене, как и в Христиании, служит жителям путём городского сообщения электрическая железная дорога, проникающая во множество кривых улиц и одолевающая самые крутые подъёмы и самые крутые повороты. Город по берегу заливов фиорда, отвоёвывая место от скал и занимая всякий холм, возможный для построек, в пределах как бы долины, между нескольких высоких гор, растянулся удлинённым кольцом домов общественных зданий и портовых. В Бергене все лавки и магазины наполнены английскими изделиями с полным отсутствием французских или немецких. Из русских товаров сюда проникает только керосин да куриные яйца.

### XXIII

В 7 часов вечера пароход “Христиания”, на котором мы плывём, отошёл из порта Бергена. Дул лёгкий ветерок, небо было сумрачно, и солнце в редкие моменты выглядывало из-за облаков. Высокие горы, окружающие Берген, придавали открывавшемуся пейзажу вид необы-

чайной красоты; краски и очертания были так великолепны, что как-то трудно было допустить, чтобы где-то не на юге, а на далёком западе могли быть такие несравненные картины. Чем дальше мы едем вот уже в продолжение трех часов, тем красота скал, островов и дальних гор уменьшается, а медленно и постепенно переходит в несколько иные тона красок, не менее прекрасные, но только менее ясные, вечерние, превращающие очертания гор в силуэты, закрытые дымкой воздуха. Куда ни взглянем, всюду щедрой рукой природы разлита такая дивная гармония, что голова отказывается находить подходящие выражения. Впереди, позади и по обеим сторонам идущего парохода одинаково видны чудные, мягкие картины. Островам в виде мелких, голых скал, осыпей, покрытых зеленью, извилистым проливам, попадающимся направо и налево, нет числа, а кругом их виднеется даль до самого горизонта, замыкаемая высокими горами, переходящими часто в снежные вершины. Там, где солнце временами показывается из облаков, образуется в воздухе светящаяся золотая пыль, полосами спускающаяся на землю, напоминая собой вечерние закаты солнца в Неаполе.

Винт парохода бурлит бирюзовую воду фиорда, пароход плавно идет вперед, и стая чаек-рыболовов гонится за ним. Кто-нибудь из пассажиров бросает им кусочки хлеба, а они артистически ловят их, стрелой спускаясь на воду.

#### XXIV

Ночью, когда мы вышли, наконец, в Северное море, пароход начало качать. С пассажирами начались все те неприятные ощущения, какие свойственны морской качке. Погода значительно изменилась к худшему: небо заволокло тучами, заморосил мелкий дождь и заслонил собой все виды дальних перспектив. И вода, и горы начали глядеть на нас неприветливыми серыми туманными тонами красок и производить далеко уже не то впечатление, какое было вчера вечером. Нельзя стало выходить на верхнюю площадку парохода, а приходилось чаще и чаще прятаться в душные каюты.

Маленькие фиорды, куда пароход заходит на станции то сдать товары, то принять их, расположены всегда между

серых скал грядями, выглядывающими из воды иногда в очень красивых комбинациях. Леке-фиорд, которым мы теперь плывём, обладает между ними выдающейся красотой береговых высоких скал, то голых и серых, то густо покрытых зеленью хвойной и лиственной растительности. Красота его выиграла бы, вероятно, еще больше, если бы не мешала тому разразившаяся ненастная погода с мелким дождём и пронзительным ветром. По берегам Леке-фиорда у самой воды разбросаны сельские домики то в одиночку, то группами, но всегда без огороженных дворов и крытых пригонов в нашем русском, а еще больше в сибирском смысле.

Путь для пароходов между шхер и фиордов всегда обозначен маяками, начиная от маленьких будочек, окрашенных в белый цвет стен, и чёрных крыш с фонарём наверху до капитальных высоких сооружений на одиноких скалах при входе с моря. Кроме того, весь путь по фиордам и шхерам отмечен с обеих сторон, где нужно, белыми кругами с чёрной точкой посередине, нарисованными на сером граните скал, или намечен, наконец, вехой на бакене, прикреплённом к якорю. Порой некоторые фиорды так узки и извилисты, что пароход уменьшает ход и двигается вперёд медленно и осторожно.

## XXV

Из Леке-фиорда мы снова вернулись в Северное море и идём по направлению к Христиан-занду, огибая крайнюю точку южной оконечности Норвегии. Ветер крепнет, и море колышется всё сильнее и сильнее.

Настал второй день нашего плавания. Погода чем дальше, тем становится ненастнее и неприятнее. На палубу парохода нельзя стало выходить, а так называемый салон, где мужчины читают газеты, пьют пиво и курят сигары, всегда полон пассажирами. Частые остановки в маленьких боковых фиордах, где расположены пароходные станции, удлиняют путь и делают его ещё более скучным. Между Бергеном и Христианией их насчитывается 24. На всех станциях бывают пассажиры то приходящие вновь, то уходящие, и принимаются или сдаются товары. Лебёдка то и дело гремит цепями, таская с пристани в трюмы тюки товаров, бочки с пивом или выгружая их обратно.

Сегодня утром красивым фиордом мы зашли в маленький, с шеститысячным населением городок Норвегии Арендаль, расположенный крайне живописно по берегам двух пересекающихся фиордов. Фиорды, горы и городок напоминают собой швейцарский Люцерн и озеро четырёх кантонов с той разницей, что здесь нет горных вершин вроде Пилятуса и Риги-Кульм и что домики Арендаля окружили бордюром все берега фиордов, а не скучены в долине, как в Люцерне. Вид с фиорда на зелёные склоны гор, на оригинальные норвежские постройки, на синие, теряющиеся вдали ленты воды — одним словом, совокупность всего производит чарующее впечатление.

Мы скоро приблизимся к заливу и фиорду Христиания. По длине его с частыми заходами на промежуточные станции мы пройдем едва-едва в течение десяти часов времени и прибудем в норвежскую столицу ровно в 12 часов ночи.

## XXVI

Покидая столицу Норвегии, мы завтра посмотрим ещё знаменитый водопад Тральготан и часть не менее знаменитого сооружения шведов — канал Гота, чтобы потом сразу же из Готебурга переехать в соседнюю страну — Данию. Целый ряд вынесенных впечатлений от обозрения страны в её географическом и бытовом состоянии за всё время нашего пребывания в ней дали нам общее представление, достаточное для того, чтобы делать о ней хотя эскизное, но тем не менее цельное заключение. Мне кажется, чтобы яснее выразить мнение о стране, надо привести параллельно заключения о какой-нибудь другой стране, во многом сходной с обозреваемой. Для этой цели, мне кажется, Швейцария представляет собой много аналогии и как раз подходит к поставленному требованию. В Швейцарии горы и озёра очень много напоминают норвежские фиорды и горы, но мягкий климат и более широкие долины первой дают возможность вести и большую культуру земледелия, скотоводства и садоводства против второй. Близкое соседство с более равнинными странами даёт также Швейцарии и большой прилив туристов-иностранцев. Всё это в целом взятое и создало богатство Швейцарии, какое мы видим в ней в настоящую минуту.

Норвегия климатически более суровая страна, чем Швейцария, и как таковая более поучительна для нас, русских, ибо нагляднее показывает, до чего может развиваться народное благосостояние, до чего может достигать степень её образования и культуры при этих, казалось, неодолимых условиях. Но кто знает, быть может, эта-то суровая природа и вызвала в норвежцах такую энергию воли и труда, что они победили неблагоприятные условия и создали высокую культурную страну, обзревая которую, и приходится ею восхищаться более, нежели Швейцарией. Ведь все эти наиболее грандиозные фиорды были бы недоступны для обозрения, не будь проложено по скалам и ущельям шоссейных дорог, а на водах фиордов не существовало бы пароходов. Пробить в скале и проложить болотом шоссированную дорогу не так легко, как проложить нашу широкую дорогу по равнине, по которой, однако же, нелегко проехать. Здесь по дороге порой трудно двум экипажам разъехаться, но так как встречи редки сравнительно с проездом, то для того, что требуется редко, не затрачивают труда и денег. Для чего на самом деле широкое полотно дороги, на котором можно разъехаться не двум, а четырём и более телегам, когда этого не нужно? Ведь тот труд на две лишние трети полотна дороги лучше бы употребить на остальную треть и держать её всегда в исправном состоянии, чем оставлять широкий путь в ненастную погоду в хаотическом состоянии. Мало ли у нас и на Урале, и на Алтае красивых озёр с мощными лесами по берегам, мало ли у нас гор и ледников чудесных, да как туда вы проберётесь и где вы там найдёте приют для ночлега?

Здесьняя двухколёсная кариола на лежачих рессорах, как национальный экипаж, так легка, что тяжесть её лошадь едва чувствует. По нашим дорогам, в наших экипажах вы никогда на одной и той же паре лошадей в течение трёх дней не проедете расстояние в 230 километров, как сделали мы в эту поездку из Однес в Лердальзолен, сделав на пути два горных перевала. Рваной упряжи, клячи-лошади тут не увидишь. Самая старая избёнка какого-нибудь бедняка-норвежца стоит прямо, и рама в маленьком окне всегда с целыми стёклами. Здесь нередки старые деревянные



дома, которым насчитывают больше сотни лет существования, не говоря уже о таких деревянных мафусаилах, как те, в которых устроены этнографические музеи в Бергене и Фоссевангане и в особенности церкви в Бургунде.

Наших крупнейших недостатков, в которых никто, как сами мы, виноваты, здесь как бы нет и не существовало. Нет здесь кабака и не может быть пожаров, уничтожающих у нас постройки по сёлам и деревням в размере, как высчитывают,  $\frac{1}{20}$  части ежегодно. Нигде тут не увидишь никакой постройки, крытой соломой, а только слоистым камнем, черепицей и железом.

## Швеция

### XXVII

Ровно три часа мы проходили, осматривая и любуясь Тральготанским водопадом, его окрестностями и каналом Гота с его пятнадцатью существующими в этой местности шлюзами, по которым спускались пассажиры и товарные пароходы. Что такое Тральготан, нам лучше всего послужит сравнительная степень описания. Кто видел финляндский водопад Иматру, тот знает уже характер крупных водопадов на реках в Скандинавских странах, в том числе и Тральготана. Увеличьте против Иматры раз в десять количество падающей воды, величину порогов, их число, высоту береговых скал и красоту общего вида — это и будет Тральготанский водопад. Прибавьте ко всему перекинутые над наиболее страшными каскадами висячие мостики, на которые пускают зараз не больше двух человек, и множество висячих балконов с обеих сторон берегов у наиболее высоких скал, откуда открываются виды и страшные, и в то же время грандиозные, — это будет второе преимущество Тральготана перед Иматрой. Смотри с разных пунктов берегов — с балконов у скал, с висячих мостиков, дрожащих и колеблющихся под вашими ногами, — на всю эту белую бушующую пучину, вы невольно соглашаетесь с вывешенным объявлением хозяина отеля, что эта панорама — единственная в целом свете. У вас захватывает от волнения дух, к вам прокрадывается невольный страх, и вы чувствуете только, какая вы нич-

тожная былинка против этих сил природы, с такой грозой и мощью проявляющихся перед вашими глазами! Вон тут, немного выше вас, где вы на скале стоите, изгибаясь гладкой глянцевой поверхностью тёмно-зелёного стекла, валится стеной вся вода большой реки, а через секунду времени, падая в выбитый ею же котёл в граните, изменяется во что-то белое, которое клокочет и гудит, превращаясь в неопиcуемый хаос бурунов, и летит на воздух в виде водяной пыли. Тёмно-зелёная стена воды чем ниже опускается в падении, тем более становится прозрачной, сквозь которую просвечивает, наконец, красноватый блеск отполированного ею же гранита. Маленький скалистый островок, ниже водопада лежащий, делит массу воды на два рукава, превращая левую половину в ряд низеньких каскадов, после которых образуется новый, левый водопад, стиснутый в щели, едва ли своей красотой уступающий первому. Далее идут, чередуясь, целым рядом новые каскады и водопады, то переливаясь через свои пороги, то падая в колодцы 90 футов глубиной, пока не сольются в общую спокойную реку сажен полтораста шириной.

Часть воды Тральготана отведена канавами в турбины промышленных заведений для выделки железа, писчей бумаги, локомотов, карбида и, совершив свою работу, падает из них новыми каскадами в общую массу вод того же Тральготана. По откосам обоих скалистых высоких берегов, покрытых хвойными лесами, проложены шоссированные дорожки, то поднимающиеся на самые высокие скалы, то опускающиеся до самой воды русла. Прогулка по ним составляет истинное, ни с чем не сравнимое наслаждение для каждого заехавшего туда человека.

Если Тральготан и не единственный в свете лучший вид природы, как рекламирует владелец отеля, то всё же он один из таковых — что, раз видеv, нельзя его забыть.

## Дания

### XXVIII

Из Тральготана мы быстро переехали в Готебург — громадный и красивый портовый город Швеции. Сказать о нём что-нибудь определённого я не могу, потому что ви-

дел его, так сказать, с высоты птичьего полёта, пока составлялся на станции железнодорожный поезд для переезда в Данию. Мы выехали из Готебурга в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов вечера и прибыли в другой портовый город Гельсонфор в 5 часов утра, как раз к переправе по Зундскому проливу на соседний берег Дании — в её портовый город Гельсинбор. Сама переправа нескольких вагонов на пароходе, без пересадки пассажиров, составляла для нас новое техническое передвижение. Длинный пароход с длинными кормой и носом входит к пристани в клинообразное отверстие кормой, перед которой устроен подвижной, на цепях, мостик, регулирующий уровень рельсов, по которым и переходят вагоны поезда на борт парохода. Здесь вагоны закрепляются цепями, и пароход в течение каких-нибудь двадцати минут переплывёт Зунд, приставая носом в такой же клинообразный вход, с таким же впереди мостиком, регулирующим уровень рельсов, как и в Гельсонфоре. Всё это делается так быстро и так кажется просто, что только удивляешься, как это раньше никому не приходило в голову. Сидя в вагоне, плывущем на борту длинного парохода, испытываешь новое ощущение как от способа передвижения, так и от того, что по ту и другую сторону вагона синее морская вода и движутся по разным направлениям парусные суда и пароходы.

Из Гельсинбора в Копенгаген переезд железной дорогой тянется уже территорией Дании каких-нибудь два часа времени. Резкого различия между пейзажами Швеции и Дании незаметно. Те же тщательно обработанные поля хлеба, тот же лес — дуба, каштана и сосны, — выхолощенный, чистый, в котором нет ни валежника, ни засохшего сучка на дереве. Хлебные и клеверные поля очерчены длинными правильными квадратами, с загонами не более двух сажен шириной при длине 70—80 сажен. Борозды полей так правильны, что глаз не может отыскать хоть где-нибудь кривой линии. Лошади повсюду виднеются сытые, сильные; земледельческие орудия до жатвенных машин и сенокосилок, включительно фабричные, — со всеми новыми приспособлениями. Сельские постройки прочны, просты, не скучены в большие сёла и деревни и только менее окрашены в красный цвет, чем в Норвегии и Швеции. О сельских дорогах и говорить нечего. Они шоссиро-

ваны и гладки так, как могут быть подобные дороги. По-видимому, датчане едва ли не ещё более экономны, чем шведы и норвежцы, и едва ли народное богатство не ещё больше, чем у первых. Не зная страны, трудно делать категорические заключения, а, вернее, ограничимся беглыми заметками предположений.

## XXIX

Столица Дании Копенгаген не поражает приехавшего туда человека ничем особенным и выдающимся. С первого взгляда это большой город Германии, быть может, даже менее чистый и менее оригинальный. Франкфурт-на-Майне, Дрезден, Гамбург в этом отношении будут иметь даже некоторое преимущество, по крайней мере физиономия их, как городов, резче запечатлется в вашей памяти. В Копенгагене на всех постройках лежит какой-то серый, запылённый тон, уныло выглядывающий с обеих сторон улицы. Дома вытянуты в шеренгу прямыми линиями, на которых нет совсем архитектурных украшений, и все они в 4—5, а порой даже 6—7 этажей глядят на вас множеством квадратных окон без жалюзи и наличников, так просто и монотонно, что отличить один дом от другого можно только разве по номеру городской регистрации. Одно только типичное можно подметить в постройках датской столицы — это то, что уличная стена дома больше отдаёт места отверстиям для окон, чем занимает сама простенками, и что квартиры в Копенгагене освещены больше, чем в других городах Европы. Кисейные прозрачные занавески в окнах без тяжёлых драпировок ещё более оттеняют стремление датчан сохранить в квартирах возможно большее количество дневного света. Проезжая улицей столицы, вы редко встретите красивый дом, на котором остановилось бы особенно ваше внимание. Даже новые большие дома носят на себе следы этого стремления — простоты, света и удобства, без погони за красивой внешностью.

Улицы Копенгагена вымощены гранитом, иногда асфальтом, а некоторые даже просто шоссированы. Вагоны трамваев всех современных систем обслуживают жителей дешёвый способ сообщения и отличаются разве тем, что здесь чаще встречаешь их двухэтажные. Воды везде — изо-

билие, и внутренние крупные озёра города заключены в каменные набережные, обсаженные липами; содержатся чисто, со множеством лодок и пароходиков, со множеством оригинальных решётчатых пристаней, искусственных зелёных островков, оживляемых группами белых лебедей. Городские скверы и сады, примыкающие к морскому заливу, раскинуты, вероятно, на месте прежних укреплений, выглядят очень красиво, чередуясь то зелёным гладким газоном и группами деревьев, то извилистыми озёрами с обделанными берёзами и мостиками, перекинутыми через водные пространства.

### XXX

Мы объехали весь город и побывали даже вне его, где разбросаны загородные дачи и постройки. Впечатление однообразия не изменилось. Датчане, видимо, совсем не гоняются за внешней красотой и грандиозными сооружениями.

Мы посетили нашу русскую православную церковь, построенную в Копенгагене покойным государем Александром III. Церковь сооружена в византийском стиле и вход в неё и внутренность её напоминают боярские хоромы XVI столетия. Даже потолок в храме сделан гладкий, с матицами, вперемежку с плахами. Резной дубовый иконостас, св. иконы фряжского стиля, писанные Боголюбовым, паникадила, орнаменты и все другие церковные украшения сделаны в тёмном тоне, выдержанном во всех деталях, а посему храм в целом производит глубокое, умиляющее впечатление. Жаль только, что церковная служба в храме совершается редко, потому что русских в Копенгагене и живёт, и бывает мало.

Церквей в Копенгагене немного, хотя, быть может, исторически и знаменитых, но внешний вид их не поражает величию конструкций и внешними украшениями. Из них только одна «Кирхен-Мармор» выдаётся цельностью архитектуры и монументальностью купола на храме. Внутреннее убранство церкви весьма просто, хотя обширность без колонн и пилонов придаёт ему внушающее значение. Мы поднимались на купол храма 250-ю ступеньками лестниц и любовались долго панорамой города, представлявшейся оттуда с поразительной отчётливостью. На восток — море с точками парусных судов и пароходов,

гаванью, наполненной такими же судами и пароходами, отдельный островок с укреплениями и целая громада дугой расположенных фортов. Под ногами — во все стороны раскинутый город с черепичными цветными крышами домов, с длинными линиями зеленеющих бульваров и садов. Да разве такая панорама с высокой точки обозрения не приведет в восторг любого человека!

Мы были ещё в национальном учреждении Дании — музее Торвальдсена. Торвальдсен, как один из великих сынов Дании, отличен ею учреждением специального музея его имени, где собраны — от самых крупных до самых мелких — почти все его произведения, все его гипсовые модели и эскизы и где, наконец, среди двора музея похоронен сам Торвальдсен. Само здание этого музея — невзрачное, неприглядное, не отвечает своему назначению, но зато с каким глубоким интересом осматриваются его крупные, характерные произведения. Колоссальная фигура «Понятовский на коне», «Геркулес», «Христос с двенадцатью апостолами» и все остальные более мелкие фигуры, до барельефов включительно, осматриваются с большим интересом и наслаждением.

### XXXI

Наконец мы посетили ещё дворец Христиана V — Шлосс-Розенбург, построенный в 1670 году и оставленный, тщательно охраняемый, со всеми произведениями искусства, мебели, вооружения и посуды — в том же виде, как он был когда-то устроен и декорирован. Жилые комнаты, приёмные залы, столовая и другие — малы размером, но они, что называется, битком набиты произведениями искусств, и только один беглый осмотр их занимает целый час времени. Живопись и скульптура по стенам и потолкам, гобелены в нишах, золото, серебро и бриллианты в вещах, запертых в витрины, — всё это, в целом взятое, рисует нам придворную жизнь конца XVII столетия в этом уголке Европы наглядно и осязательно. Тронный зал наверху, во всю длину дворца, производит наиболее сильное впечатление своими размерами, стройностью стиля, украшениями и некоторыми деталями, как, например, тремя серебряными львами во весь их рост, поставленными на полу у подножия трона.



Что сказать о самом существенном страны — её народной жизни, мы, конечно, почти лишены этой возможности, пробыв такое короткое время в Дании и видев её только большей частью из окон вагонов, с борта парохода, с извозчичьих экипажей. Надо быть в стране более значительное время, надо жить в ней, посещая сёла и деревни, чтобы иметь право сказать о ней, что я её знаю и что вот она такая. Не зная языка страны, даже при таких условиях трудно узнавать нравы и обычаи чуждого народа. Вы невольно будете слепым орудием гида, который Бог знает что наговорит вам нелепого.

В 12 часов дня мы покинули Копенгаген, чтобы с экспрессом железной дороги переехать в Корсор, а оттуда на пароходе в Киль и далее снова по железной дороге в Гамбург.

Датская территория от Копенгагена до Корсор представляет из себя равнину, где изобилуют хлебные поля и древесная растительность, состоящая преимущественно из дуба, клёна, бука и сосны. Здесь уже более и более начали попадаться на глаза сельские постройки другой структуры и другой архитектуры, начиная от белых стен домов до соломенных крыш включительно. Вёрст за 7—10 до Корсор начались дюны и проводили нас, всё увеличиваясь и учащаясь, вплоть до самого берега Зундского залива.

## Германия

### XXXII

Немецкий большой пароход ждал пассажиров в порту Корсор, и, как только они перешли из вагонов поезда на его борт, пароход немедленно отчалил и направился в Гамбург. Переезд проливом и заливами Зунда занимает времени около пяти часов. Ни гор, ни скал вдоль пути, как у берегов Норвегии, здесь не видится. Плоские, пологие берега залива, судя по дюнам, разбросанным повсюду, должны быть песчаные, но они сплошную зеленеют полями хлеба и копёнками наворошенного сена. Переезд от Корсор в Киль при тихой солнечной погоде совершился плавно и быстро. За три немецких марки нам подали

прекрасный обед, состоящий из 7—8 блюд с сочной и вкусной клубникой на десерт.

Когда мы подплывали к порту Киль и входили в сам порт, то были поражены большим скоплением военных судов, находящихся на рейде и указывающих на быстрый рост морского могущества Германии. Справа рейда группами и в одиночку, окрашенные в серый цвет, тянулись лоснящиеся от солнца броненосцы, на корме и носу которых выглядывали длиннейшие пушки. Между ними красиво выделялись большие крейсера с мачтами и реями парусов, по которым лазили матросы. Один-два броненосца дымили трубами, палубы их пестрели чёрными точками экипажа, видимо, готовые к отплытию. Остальных — более мелких, военных и частных судов и пароходов — было такое громадное количество, что мы, глядя на них, только ахали и удивлялись такому быстрому и сильному развитию германского флота.

Слева от нас тянулись доки, строящиеся суда на верфях, пароходы и колоссальные здания судостроительных заводов. Нужно ли добавлять, что с моря вся панорама на Киль, его рейд и сам порт очень внушительна и красива. Видя её собственными глазами, лучше понимаешь, что такое стала теперь германская империя и чего успели достигнуть немцы за последние три десятка лет её существования.

В Киле очень большой и красивый вокзал железной дороги, такой красивый, что присматриваешься к нему с особенным вниманием. Стройность и лёгкость его частей поражают своей пропорциональностью, а некоторые детали доходят даже до изящества, как, например, мозаичные перроны.

Из Киля в Гамбург поезд идёт, как говорят у нас, сломя голову. Налево и направо от дороги мелькают поля, как и по всей Германии, обработанные со всей тщательностью и старанием, на какие способны только немцы, но тут виднеется ещё одна особенность, вероятно, чем-нибудь, чего мы не знаем, вызванная. Каждое поле по межам обсажено мелкими кустарниками и представляет собой зеленеющую густую изгородь, что придаёт полям вид какого-то сада с клетками разной зелени газона.

### XXXIII

Я вижу Гамбург второй раз в жизни и почти не знаю его. Широкие улицы, прекрасные мостовые, великолепные дома, электрические трамваи чуть не в каждом даже переулке и немецкая чистота повсюду — вот что в кратких выражениях представляет собой теперь Гамбург. Он — второй Берлин по постройкам и впереди Берлина по своему порту и мировому движению коммерческого пароходства, от него и к нему совершаются рейсы.

Набережные внутреннего озера Банен-Альстер и Аусен-Альстер, ботанический и зоологический сады придают ему с этой стороны вид города, утопающего в зелени.

Для обзора Гамбурга немцы придумали особый род круговых поездок. С этой целью устроены ими наподобие вагонов громадные экипажи, в которых могут поместиться 12 человек внизу и 18 человек вверху, на открытых сиденьях. Четыре крупные лошади цугом, по две в ряд, везут рысью эту громаду кругом озера Аусен-Альстер, давая любоваться пассажирам, с одной стороны, перспективой берегов с прекрасными постройками, а с другой стороны — виллами с террасами, башнями и балконами, утопающими среди зелени деревьев, цветников и газонов.

После обзора озёр Банен и Аусен-Альстер карета направляется главными улицами и площадями города мимо здания городской ратуши (Rathaus), биржи, церквей св. Петра, св. Павла и привозит к пристани на Эльбе, где сама карета остаётся ожидать, пока её пассажиры, перейдя на пароход, не объедут всей гавани, переполненной судами и пароходами. После этого пассажиры снова наполняют экипаж и объезжают остальной город, направляясь новыми улицами мимо ботанического и зоологического сада, и, наконец, возвращаются на набережную озера, откуда они начали свою круговую поездку. Во всё время объезда кондуктор, цепляясь за ручки, лазил по бокам кареты, громко называя наиболее известные места и здания. Вся поездка требует времени три часа и стоит платы трёх марок.

### XXXIV

Когда мы были в гавани Гамбурга, нам предложили, между прочим, осмотреть и величайший в мире пароход

«Претория», совершающий рейсы между Гамбургом и Нью-Йорком. Мы прошли вдоль громаднейшим пакгаузом, где паровые лебёдки таскали товары, нагружая и выгружая у платформы его находившиеся пароходы. Чудовище «Претория», в конце пакгауза стоящий, глядел на нас своей чёрной подавляющей массой, заслоняя собой всё, что стояло и двигалось позади его — противоположную набережную, здания и другие океанские пароходы. Пароход «Претория» имеет длину 86 сажен и машину в 12000 сил. На нём помещается 4000 человек пассажиров и, не помню какое, колоссальное количество пудов товаров. Мы обошли пассажирское помещение всех трёх классов: салон, столовые, кухни, заглянули в товарные трюмы, в машинное отделение, в котором даже теперь было жарко, и подумали, какая же бывает тут температура во время хода парохода и как выносят её кочегары? Когда мы поднялись на верхнюю площадку «Претории», то были выше пакгаузов и выше многих зданий другого берега. Вид с неё на рейд, где со всех сторон вас окружают копья мачт, спускают по всем направлениям электрические кареты и лодки, гремят цепями паровые лебёдки, был прямо ошеломляющий. Да и всё в Гамбургской гавани поражающе количеством парусных судов и пароходов, береговых портовых сооружений, массой всемирных товаров и даже количеством береговых лебёдок, на которых рядовые номера доходят до 240. А ведь сама по себе иной раз одна лебёдка представляет чуть ли не целое сооружение, поднимая тяжести до 25 тонн весом. Одного жаль, что погода стояла пасмурная, моросил порой дождик, почему зачастую не были доступны для нашего обозрения дальние виды и перспективы.

За время краткого нашего пребывания в Гамбурге нам не удалось побывать на бирже, да к тому же один из дней, здесь прожитых, был праздничный, когда магазины закрыты и вход в общественные учреждения закрыт. А деловая, практическая сторона Гамбурга заслуживает не меньшего внимания, чем внешняя сторона её облика. Ведь немного подобных городов, ближайших соседей России, которые бы устроили свою промышленность, торговлю и в особенности транспортировочную часть товаров по все-

му земному шару, как именно Гамбург. А многие ли из русских заглядывают сюда с торговыми целями? Скорее гамбургец приедет в Москву, в Нижегородскую ярмарку, в Ирбит для продажи своих товаров и для покупки русских сырых произведений, чем русский решится побывать в Гамбурге и присмотреться к тому, как немцы устроили свою промышленность, какие наиболее сподручные выработали они приёмы для сбыта и распространения своих товаров.

До боли грустно видеть и сознавать, что мы, как никто, теряем много, проявляя мало настойчивости и энергии в эту сторону.

## Голландия

### XXXV

Почти незаметно мы проехали границу Голландии, направляясь из Гамбурга в Амстердам. Мимо нас промелькнули города Бремен, Оснабрюк, Бентгейм, Альмало, Амерсфорт и другие. В Оснабрюке голландская таможня и железнодорожный путь Голландии примыкают к немецкому пути под прямым углом. Вагоны у голландцев ещё лучше и удобнее, чем у немцев, а отношения к пассажирам таможенных чиновников и кондукторов ещё мягче и деликатнее последних. Растительность пошла кругом слабая, пахотных полей мало, а тянутся болотные места, какие, видимо, трудно осушить и культивировать даже голландцам, несмотря на прилагаемые ими усилия. Мелкорослая сосна, изредка берёза — вот древесная растительность, преобладающая в этой местности. И только начиная с Алмамло местность оживает, и голландская земледельческая культура глядит на вас высоким уровнем своей обработки и ухода.

За несколько станций до Амстердама вдруг повеяло густой пылью и потянулись кругом жёлтые сыпучие пески, среди которых нет нигде ни зелёного оазиса, ни жилища. Зона сыпучего песка продолжалась, по крайней мере, вёрст на десять, пока поезд выбрался опять на зелёные поля и продолжал путь среди населённых мест Голландии. Мы ехали в воскресный день, а посему все большие и малые станции были полны народа, осаждающего толпа-

ми железнодорожные поезда. Движение, говор, смех, махание белыми платками носились в воздухе и придавали толпе физиономию весёлого народа, как бы не присущую Голландии, какую мы по своим книгам разумеем.

Подъезжая к Амстердаму близко и вступая в его предместья-каналы, плотины, насыпи и опять каналы, среди которых виднелись лодки, парусные суда и мелкие, всяких типов, парходики, до грузовой тяжёлой плоскодонной лодки с электрическим двигателем включительно, поезд плавно проскользнул по дамбе, показав нам моментально панораму нового длинного канала с перспективой рядов электрических фонарей, освещающих его и здания берегов, и тоже остановился среди Амстердамского вокзала.

### XXXVI

Амстердам во многом напоминает Венецию. Те же каналы, идущие вдоль улиц некоторых частей города, лишь с той разницей, что Амстердам настоящего времени гораздо больше Венеции, гораздо чище и несравненно богаче её. Новые общественные постройки Амстердама поразительны своей грандиозностью и красотой. Рюкс-музей, почтамт, Концерт-Зебау и другие здания во всех отношениях останавливают на себе внимание. Порт и гавань полны судов всех наций, а обилие каналов создало массу типичных широких судов, плавающих по ним с товарами и дешёвыми продуктами ежедневного потребления. Шлюзовая система из реки Ай и главных каналов, где уровень воды всегда выше мелкой сети их, развиты здесь как нигде в Европе. Голландцы испокон веков великие мастера устраивать плотины и проводить каналы. Они ещё недавно осушили озеро, огородив его плотиной и выкачав потом воду из него. Этим сооружением они завоевали у природы самой плодородной земли 7000 акров, и теперь на дне бывшего озера растёт превосходная трава, а со временем в этой котловине будет и поселение. Пароходное движение типа мелких судов развито здесь в высокой степени, и переезд на них обходится баснословно дёшево. Так, например, поездка в Саардам и Вормеер — туда и обратно — в первом классе стоит только один гульден.

Мостовые улиц и тротуаров выложены мелкими кирпичами железняка ребром и на них, по-видимому, не дей-



ствуется разрушительно ни езда в экипажах, ни обилие влаги. Типичные постройки Амстердама отличаются своей архитектурой и окраской, как нигде в Европе. Гладкая стена дома с маленьким открытым крылечком, с которого спускаются две лесенки вдоль улицы, окрашенные в чёрный цвет с белыми отводами дверей и окон, — вот типичный дом фасадной стороной амстердамского обывателя. Прибавьте к этому отсутствие ворот, широкое слуховое окно с блоком и верёвкой для подъёма дров и припасов во все этажи, и вы освоитесь с голландской постройкой большого города. Мы посетили еврейский квартал, в котором построена синагога по образцу храма Соломона, и подивились сравнительной чистоте их жилищ. Потом были в улице миллионеров, где сплошную выгледят такие же чёрные дома с белыми каймами, как и в старых кварталах, но с той лишь разницей, что стёкла были всюду зеркальные и убранство комнат проглядывало через них, полное античного изящества и богатства. Подобный дом местного миллионера доступен для обозрения — это дом одной миллионерши, завещанный городу, в котором устроен теперь музей и все комнаты с мебелью, гобеленами, картинами и посудой оберегаются в том же виде, как и при жизни их владелицы. Земля в центральных частях города держится баснословной цены — до 500 гульденов за квадратный метр. Поэтому-то, вероятно, почти все дома без ворот, большинство из них не имеют двора, и они жмутся друг к другу с большой теснотой, уходя кверху на 5—7 этажей. Извозчиков в городе мало и они дороги. Маленькие улицы и переулки в старом городе до того узки, что по ним нельзя проехать экипажу.

### XXXVII

Дом почты и телеграфа в Амстердаме, как снаружи архитектурой, так и внутри своей громадностью, распределением света и удобствами, предоставленными публике, прямо-таки поразителен. Не меньше его, если ещё не больше, грандиозен и Рюкс-музей, в котором собраны и размещены все роды голландского искусства, и в особенности сияют своей неувядаемой красотой картины великого Рембрандта. По своей некомпетентности я не рискую их описывать, но ведь всякому же доступно наслаж-

дение созерцанием картин великого мастера. В городском саду Амстердама среди зелени и цветников воздвигнут ему бронзовый памятник.

Бульваров и садов в Амстердаме — большое количество. Все они содержатся в величайшем порядке и чистоте. Столица Голландии населена 600 000 жителями, а посему некоторые улицы с магазинами в течение дня переполнены народом, занимающим всю ширину её, и движение экипажей по ним совершается только шагом. Жизнь здесь страшно дорогая. Сырой климат и влажная почва создают ревматизм, и жители нижних этажей страдают им в большой степени. Рынок цветов, ягод и овощей так велик и полон, как, кажется, нигде в Европе. Клубника, вишня, малина уже продаются в разноску, считая на наш вес и деньги, по 10 копеек за фунт. Все они сочны, но вкус их водянистый. Здесь существует рынок сыра и улица бриллиантов и даже особая специальная биржа последних. Наследие цехового устройства быта отразилось даже на науке. Так, здесь существует особый квартал, где живут исключительно профессора с семействами, который и называется профессорским.

Гавани Амстердама, каналы, мосты через них настолько удобны и чисты, что кажутся даже изящными. Откосы берегов каналов, по которым плавают мелкие суда, лодки и пароходы выложены серым гранитным кирпичом, закруглены в углах и сужены овалами в местах, где перекинуты мосты через них. Плыёте вы таким каналом, и мост перед вами раскрывается надвое, вися на шарнирах в наклонном положении, а после прохода парохода опять закрывается, и муравейник-народ, приостановленный на две—три минуты, снова движется по нему. Около вокзала устроен мост через канал, как коромысло на штативе весов. Два человека, стоя на мосту, рычагами поворачивают его вдоль канала, и судно проходит. Шкиперу бросается с моста удочка с привешенным кошельком, куда тот и кладёт плату за проход судна, что-то около десяти копеек на наши деньги. Плата за проход, вход и проезд вообще развита здесь сильно. Дача на чай делается даже чаще, чем у нас в России, и только нет той назойливости, с какой требуют эту подачку у нас на родине. Система ручных тележек на двух колёсах для перевозки товаров по всему

городу практикуется в Амстердаме в таких широких размерах, как, кажется, нигде в Европе.

Из окна гостиницы «Виктория» я, глядя на канал и постройки старого города на пространстве сажен 70-ти, насчитал 25 домов, уходящих наружными стенами в воду канала от пяти до семи этажей вышиной. Если можно так выразиться, никакой архитектуры у этих домов нет. Гладкая стена — то чёрная, то жёлтая или серая — глядит на вас окнами дома крайне неприветливо. Никакого выступа, никакой полосы карниза нет тут и помина. Острая черепичная крыша конём с таким же гладким фронтоном, как стена, довершают его линии. Два—три окна в каждом этаже одинаковой величины и формы придают такому дому унылый вид однообразия. И кажется, что подобные узкие высокие дома могут держаться только в тисках один другого, а стоя в одиночку, разваливались бы при первом же натиске ветра.

### XXXVIII

Осмотрев бегло, по улицам, город, мы на парходике отплыли в Саардам и четыре деревеньки, ниже его лежащие и с ними сливающиеся. Низкие берега реки Сия и канала, как главного, уходящего к выходу в море и составляющего основной путь океанских парходов, так и старого канала в Саардам вдоль расширенного русла какой-то речки, не представляли собой интересного пейзажа. Но, присматриваясь ближе, невольно замечаем, какие были употреблены голландским народом колоссальные труды и деньги, чтобы берега реки поднять насыпями, а низкие места обнести плотинами, дабы выиграть осушенные места для земледельческой культуры, мимо которых мы плывём теперь с таким удобством. Вон за плотиной, налево от нас, лет 15 тому назад лежал большой залив в виде озера, занимая площадь в 7000 гектаров, теперь он обнесён кругом плотинами, вода из него выкачана, и он зеленеет теперь сенокосными лугами. На насыпях, примыкающих к плотинам, устроены большие склады американского и русского петроля, а бывшее озеро-залив прорезано плотинами, между которыми образованы каналы со шлюзами.

Подвигаясь далее Саардамским каналом, вам сначала

виднеются ветряные мельницы, характерные старые голландские мельницы, известные по рисункам, кругом которых устроены балконы и вертятся крылья, обтянутые полотном, окрашенным в красные и синие цвета, на одну из них указывают даже как современную Великому Петру, когда он жил и работал в Саардаме. У шлюза в Саардаме мы пересели на другой пароходик, меньшего размера, и проскользнули шлюзом же на следующую запруду реки в конце деревни Ворнеер, любуясь в дальнейшем пути сельскими зелёными домиками и паровыми большими мельницами, около которых копошились целые флотилии товарных лодок и гремели цепями береговые лебёдки. Ветряные мельницы вблизи плотин вместо помола выкачивали воду из более низкого уровня каналов в более высокий.

### XXXIX

Четыре деревеньки Голландии представляли собой население в одну улицу вдоль главного канала и целой сети поперечных со стоячей, иной раз даже загнившей, а посему вонючей водой. Мы пересели в длинный экипаж и проехали все четыре деревеньки, версты три длиной, по плотине главного канала, осмотрев попутно ферму для выделки голландского сыра. Дома и домики деревни представляли собой большей частью маленькие одноэтажные, но чистые и светлые постройки. Вся улица и дорожка около домов вымощены теми же красными мелкими кирпичами ребром, как и в Амстердаме. Мы остановились в Саардаме и осмотрели русскую достопримечательность — старый деревянный домик в две комнаты, сколоченный из досок, в котором 200 лет назад проживал некоторое время русский царь Петр I. Комнаты низенькие и маленькие, а кровать из досок в закрывающейся наглухо закуте такая короткая, что удивляешься, как Великий Царь при его росте мог помещаться на ней. Весь домик поставлен на каменный фундамент, одет прекрасной каменной постройкой, защищающей его от всякой сырости и непогоды. Место огорожено железной решёткой, внутри двора разбит цветничок, и консьерж голландка в нарочито устроенном для неё особом домике охраняет эту достопримечательность Саардама. И место, и дом-витрина куплено и построено голландским правительством и поднесено в

дар России. Голландцы, видимо, чтят память о Петре Великом и даже теперь устраивают здесь промышленные заведения, называя их именем русского царя, когда-то у них жившего и работавшего на Саардамской верфи.

На обратном пути в Амстердам на нашем пароходе поместились ученики и ученицы какой-то школы младшего возраста, сопровождаемые их учителем — пожилым человеком. Под его дирижёрством они составили хор и пели сначала гимн буров, потом народные песни, кричали «ура» и махали платками встречающимся судам и лодкам, и под конец танцевали кругом, где учитель делал такие же прыжки и притопывания ногами, как и сами дети. По всему видимо было, что отношение учащихся к учителю было самое дружеское, задушевное, и учитель старался не нарушать детского весёлого настроения какой-либо строгостью.

На другой день мы посвятили время для осмотра Рюкс-музея, в котором хранятся величайшие сокровища голландского живописного искусства. Глядя на музей снаружи и ходя по залам внутри его, любясь шедеврами живописи, начинаешь как-то лучше понимать, что народы, стоящие только на высокой ступени культуры, чтят таким вниманием творения великих людей своей страны, свято сберегая их произведения и даже их дома, где они жили и трудились. Так, англичане берегут дом Шекспира, немцы — Гёте, испанцы — Сервантеса и голландцы — Рембрандта. И только мы одни всё ещё собираемся поставить памятники Гоголю и Лермонтову, не говоря уже о том, что дома их не сделали национальным достоянием.

Музей Рюкс своим устройством, своим освещением и удобством — прямо поражающее здание. Картины же, в нём размещённые, не имеют цены, ибо многие из них выше всякой предложенной цены. Одни рембрандтовские полотна придают музею такую славу, с какой могут поравняться только музеи великих стран Европы.

# Жизнь и деятельность

## Н.М.Чукмалдина

Биография Н.М.Чукмалдина представляет глубокий и поучительный интерес. Детство и раннюю юность он провёл в такой бытовой обстановке, которая, конечно, теперь является уже достоянием истории; жизнь его началась как бы ещё в XVII веке, а завершилась в таком круге чувств, понятий и действий, которые свойственны лучшим людям конца XIX столетия.

Всеми своими успехами, всем нравственным и умственным ростом своей личности Чукмалдин обязан исключительно себе, внутренним свойствам своей природы, ещё не разгаданному по своим причинам отражению высших свойств человеческого типа в той или другой отдельной личности. Слепая случайность, капризная воля другого человека не играла никакой роли в жизни Чукмалдина в процессе превращения тёмного деревенского мальчика в развитого и сознательного филантропа и мецената. Обстановка старозаветного купеческого дома Решетниковых в Тюмени с его напряжённой и широкой эксплуатацией труда и времени приказчиков так же мало благоприятны были для свободного умственного развития личности Чукмалдина, как и обстановка его родной захолустной Кулаковой. Тот духовный подъём, та оживляющаяся умственная атмосфера, которые принесла с собой для России эпоха 60-х годов, в Тюмени именно на Чукмалдине отразились более, чем на ком-либо из членов его кружка, заключавшего в себе лучшие умственные силы этого города в то время.

Наконец, трогательную, глубоко симпатичную черту личности Чукмалдина представляет его местный патриотизм, выразившийся не в словах, а в делах. Он был редким в России образцом человека, постоянно и последовательно стремившегося поддерживать и развивать в родных местностях просвещение, как основу общего благосостояния. Насколько часто появляются подобные личности в тех или других местностях — служит лучшим доказательством умственной зрелости и действительной гражданской правоспособности их населения.

Не говоря уже о понятной дани уважения, которое заслуживает память людей, подобных Н.М.Чукмалдину, — знакомство с их жизнеописаниями, даже краткими и неполными, имеет весьма серьёзное общественно-воспитательное значение в качестве примера и подражания, а то общество, которое умеет ценить и уважать память своих замечательных сограждан, этим самым показывает степень своей гражданской зрелости.



# І. Предки

Инородческое (татарское) население Тюменского уезда в XVII столетии было довольно многочисленно; тюменские татары некоторое время исполняли обязанности ямщиков (до 1624 г.) и входили в состав служилого класса («служилые татары»). Многие из них при этом принимали православие и с течением времени незаметно сближались с русскими засельщиками Тюменского уезда, число которых увеличивалось и путём естественного прироста, и вследствие непрекращающегося переселенческого движения из-за Урала. К числу таких обрусевших татарских фамилий, несомненно, принадлежал и Чукмалдин\*.

Первым Чукмалдиным, отразившим своё существование в дошедших до нас документах второй половины XVII столетия, был Варфоломей. Он был ямщик и, по-видимому, уже коренной житель дер. Кулаковой\*\*.

\* По мнению известного знатока тюркских наречий профессора Казанского университета Н.О. Катанова, любезно сообщившего свои соображения, если фамилия Чукмалдин не исковеркана русским написанием, то она принадлежит Ишимскому району. Если бы её транскрибировать по точному выговору, то получилось бы так:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) Тобольские татары — Цукмалдин | 5) Казак-киргизы — Шукпалдин    |
| 2) Тюменские » — »               | 6) Казанские татары — Чукмалдин |
| 3) Тарские » — »                 | 7) Ишимские » — »               |
| 4) Туринские » — »               | 8) Башкиры — Сукмалдин          |

Мусульмане, не имея в своей азбуке звука «ц», передают его через «ч», так что Чукмалдин вполне может быть и тюменской фамилией. Таким образом, Чукмалдины, по всей вероятности, принадлежали к коренным тюменским фамилиям и вели своё происхождение, видимо, до появления пришельцев, под влиянием которых они обрусели.

\*\* «Ямские охотники. Двор Офонки Варфоломеев сын Чукмалдин. Ямские гоньбы гоняет полтреть выти, пашни у него пахотные полторы десятины в поле, и в дву потому же, а на ту пашенную землю у него были письменные крепости и в пожарное время сгорели, а которые-де заложные и выпаханые земли многие и теми-де землями владеют братья его, Гришка да Ивашка Гавриловы, и ему в тех землях повытья не дают. Сенных у него покосов в общем ямском лугу на 20 копен». (Из Дозорной книги Тюменского уезда в 1689 г. Книга № 968, лист 139. Из документов Сибирского приказа Московского архива министерства юстиции). Нужно заметить, что упомянутые Гришка и Ивашка Гавриловы были пасынки Варфоломея Чукмалдина, и процесс, ведённый с ними из-за земли Афонасием Чукмалдиным перед «дозорщиком» Паскочиным, окончился тем, что им всем велено было владеть спорной землею сообща. Фамилия Чукмалдин в это время, вероятно, ещё не окончательно установилась, так как иногда пишется и Чукмалда. В 1700 г. имущественное и семейное положение Афонасия Чукмалдина изменилось: «Ямщик Офонка Варфоломеев сын Чукмалдин сказал: родом он, Офонка, Кулаковой деревни ямщикий сын. У него дети: Тимошка, 10 л., Артюшка, 5 л. Скота: 6 лошадей, 4 скотины рогатых, 9 овец. Ямской гоньбы гоняет полтрети выти, а пашни у него пахотной подле Капчая речки 3 десятины в поле, а в дву потому же, да заложной и выпаханной земли 6 десятин. Владеет исстари. Сенных у

В течение XVIII века Чукмалдины, в лице Никиты и его семьи, достигли весьма значительного в крестьянском быту того времени достатка, так что Никита оставил своим наследникам, между прочим, целое решето серебряных рублей. Неурожай от необыкновенной засухи, от которой трескалась земля, заставил Чукмалдиных издержать заветные серебряные рубли, голодный год разорил их, и в XIX век Чукмалдины вступили крестьянской семьёй зажиточности ниже средней.

## II. Деревня Кулакова в первой половине XIX века

Деревня Кулакова первой половины XIX в. хотя и находилась всего в 16 вер. от бойкого торгового города Тюмени, однако сохраняла ещё старинный уклад захолустного сибирского селения XVIII, а в некоторых отношениях даже XVII столетия.

В 30-х и 40-х годах XIX столетия Кулакова ещё вполне сохраняла вид старинного зажиточного сибирского селения, в котором преобладали основательные, прочные, привольно раскинувшиеся крестьянские усадьбы с тесовыми высокими крышами на жилых строениях.

У всякого крестьянина, сколько-нибудь исправного, во всю длину избы и горницы, разделяемых сенями, пристраивалось «задворье с поветями» и кладовыми, куда складывался домашний скарб и устраивалась мастерская и склад летом для ремесленных изделий: саней, телег и других крестьянских экипажей. Дом отделялся открытым двором; напротив дома стояли погреб

него покосов в дуброве на 100 копен. Владеет по данной 204 (1696) г., а данную в прошлых годах у него, Офонки, украли». (Из Дозорной книги 1700 г. Кн. №1276, стр. 281. Документы Сибирского приказа Московского архива м-ва юстиции). Пользуясь этими данными и случайными указаниями в 1-й части «Воспоминаний» Н.М.Чукмалдина, можно восстановить родословие старинной тюменской фамилии Чукмалдиных:



Вероятно, впрочем, что перед Никитой был ещё кто-то неизвестный.

и амбар, сзади которых устраивался «пригон» для домашнего скота, с соломой крытыми навесами и конюшней; там в маленькие отверстия, заменявшие окна, вставлялись и приморазживались зимою цельные куски льда.

Со двора в сени дома вело полуоткрытое крыльцо. Сени были всегда холодные; с одной стороны из них вел ход в избу, широкими дверями, позволяющими вытаскивать в задворье сработанные сани, а с другой — был ход в несколько ступенек «рундука», в горницу, внизу которой бывала тоже или нижняя другая горница, или тёмный подвал, где семья хранила более ценное имущество и где летом устраивалась спальня. Зимою на рамы окон в избе вместо стёкол натягивалась брюшина, пропускавшая рассеянный свет, но не позволявшая видеть ни двора, ни улицы. Для этого в некоторые брюшины вмазывались маленькие куски оконного стекла в медный пятак величиною, которые оттаивались от слоя льда, всегда на них намерзавшего, усиленным дыханием человека, желавшего посмотреть на улицу.

Кулакова в то время находилась почти всецело в периоде натурального хозяйства. Её обитатели искони были земледельцами и ремесленниками. Земледелие давало им рожь, ячмень, овёс, пшеницу, гречу, горох, репу, лён; огород — капусту, картофель, огурцы, морковь; конопляники — коноплю, пеньку и посконь. Всё это обрабатывалось примитивно, но всё шло на домашний обиход и только лишнее, сверх потребности семьи, вывозилось в город для продажи. Лугов для сенокоса и пашенных угодий было вдоволь, а потому скотоводство успешно развивалось и давало широкое подспорье всякому хозяйству в виде продажи лишней скотины осенью. На выгоне были устроены для всего скота деревни обширные навесы, покрытые дерном, под названием «холодильников», куда в каждый жаркий день и прятался скот от оводов и зноя. Сермяги, зипуны, дубленки, посконные рубахи — все были домашнего изделия, и даже женщины носили сарафаны из холста льняного и посконного, окрашенного «кубом» (синяя краска — индиго) под именем «дубасов» и «верхников». Про женщину, у которой бывали у рубахи ситцевые рукава, обыкновенно иронически замечали: «Ах, девоньки, какая щеголюха; у ней, поди-ко ты, ситцевые рукава».

Ремесло мужчин было — сани и телеги; женщин — ковры и паласы. Это давало деньги, которые шли на уплату податей, повинностей и на разные общественные поборы, вызываемые взятничеством тогдашних чиновников.

Кроме поборов косвенных, в виде ежегодного оклада от волостного писаря, шло: заседателю 100 руб., исправнику 200, стряпчему 50, ветеринару 25; были поборы прямые от лица всей волости, раскладываемые сходом деревни на так называемую «годную душу» (работников в возрасте 21—60 лет) по столько-то гривен и копеек и собирались под именем «специального» такого-то побора деревенскими десятниками без всякой запи-

си в какую-либо книгу волостного правления или сельского старшины, как суммы неофициальные. Эти прямые оклады были в тех же цифрах писарских окладов, как сказано выше, но увеличивались до 100 руб. ветеринару, чтобы не было им открыто какой-нибудь эпидемии на скоте, что всегда вело за собой значительный расход в виде учреждения «скотского загона» и убоя больных животных, зачастую и совсем неповинных в заразной болезни. От земской полиции зависело усилить взыскание податей и повинностей или дать такой участок исправления почтового грунтового пути натурой, куда надо ездить почти за 40 верст расстояния в самую горячую пору страды и сенокоса, когда дорог каждый час у себя на поле. Платимые заблаговременно оклады избавляли крестьян от подобных внезапных принудительных работ.

В глазах крестьян не было различия между судьей, администратором, доктором — всё это были чиновники, которых всех нужно кормить поборами. Их различали лишь по степени вреда, какой могли они нанести обществу — деревне вместе взятой или каждому обывателю порознь. Тот чиновник, который брал умеренно «оклады» и не делал особенно злых распоряжений, отзывавшихся тяжёлым следом на крестьянском благосостоянии, слыл даже добрым человеком.

Таким образом, значительная часть денег, выручаемых кулаковцами от продажи излишка их земледельческих продуктов и от сбыта кустарных изделий, уходила на законные и незаконные повинности и поборы. На фоне этой примитивности экономического уклада деревни все вытекающие отсюда приёмы и отношения отличались патриархальностью.

Кредита в деревенской жизни, в смысле нынешнего вексельного, совсем не было. О процентах никто и никогда даже не слышал. Всякую сбережённую копейку прятали дома в какой-нибудь сундук, в узелке из тряпок, закатывали в холстины или, наконец, складывали в горшок, закапываемый где-нибудь в землю, в углу подполья. Если и давали деньги кому-нибудь взаймы, то отмечали это зарубкой на бирке, и это считалось верным обеспечением. Должники кланялись в ноги и умоляли «не скалывать зарубки», пока они не уплатят долга.

Деревенский мир вообще и каждый крестьянин порознь сохраняли добрые христианские отношения только между собою, в своём быту и обиходе. Эта нравственная в общем взятая суровая простота была чиста и выражалась заповедью физического неустанного труда, молитвой Богу и воздержанностью от всяких излишеств. При общем невежестве населения возникало много суеверий, одно другого нелепее. Верили тому, что существуют «порча», «дурной глаз», что можно «заслонить месяц», «напустить болеть» и прочее.

Грамотных крестьян в деревне было очень мало, да и грамота была одна церковная для чтения книг славянской печати и духовного содержания. Грамотные люди выходили только из

трёх старообрядческих кружков Кулаковой: главы филипповского толка — Скрыпы, наставника стариковщины — Якуни и начётчицы, старой девы Анушки, имевшей также свою «моленну» (молельню).

Газет не было и в помине, и никто ничего не знал не только о том, что делается в столице государства, но даже в ближайшем губернском городе.

Большинство жителей деревни Кулаковой были в 30-х и 40-х годах XIX века старообрядцы филипповского и федосеевского толков, хотя по записям церковным и числились православными. Церковные обряды исполнялись ими только в важных случаях, когда никак уже нельзя было от них уклониться, например: венчание, крещение новорожденных и пр., да и то и другое иногда секретно совершалось стариками и наставниками. В Великие посты священник приходской Луговской церкви приезжал в Кулакову в волостное правление и посылал десятника по домам звать прихожан в церковь для говения. Тот ходил по деревне, стуча палкою под окнами и приговаривая:

— Эй, хозяин! Ступайте в церковь говеть. Отец Алексей велел.

Влияние духовенства местной церкви, отстоявшей в 4 верстах от дер. Кулаковой, не было заметно ни в смысле религиозного воздействия, ни в смысле просвещения. Церковь в её местном приходе была тоже своего рода официальным ведомством, куда приходилось обращаться при таких событиях, как, например, крещение новорожденных, венчание и проч., да при сроке выбора от прихода церковного старосты и двух сторожей.

Местный священник относился к своим обязанностям совсем не так, как подобало духовному пастырю, и едва ли ещё не назойливее, чем чиновники, эксплуатировал крестьян, требуя настойчиво и резко за всякую потребу и службу. Все старообрядцы, значившиеся православными по метрическим книгам, составляли для него доходную статью и платили за пастырские номинальные труды повышенное вознаграждение и двойную ругу, когда он собирал её в деревне.

Если влияние представителя господствующей церкви на население Кулаковой не было положительным, то таковым нужно считать, несомненно, воздействие старообрядческих начётчиков Скрыпы и Якуни, особенного первого.

Артемий Скрыпин, родившийся в конце XVIII столетия, был взят в солдаты в двадцатых годах, бежал из военной службы и, скрываясь в деревне Кулаковой у своего брата, мало-помалу приобрёл громадное нравственное влияние в области веры на деревенских жителей; он был грамотен, очень начитан, обладал прекрасным даром слова и сделался, наконец, наставником филипповского толка. О том, что Скрыпа, беглый солдат, живет у брата в особой избе, знала вся деревня и многие из окрестностей и города Тюмени. Знал об этом и местный священник, знала даже земская полиция, но поймать



его никак не могли, потому что все жители деревни старались скрывать его, предупреждая о всяком намёке обыска и поимки. Десятки раз производились нечаянные наезды земского начальства и облавы, но никогда не удавалось его поймать. Раз даже совсем накрыли было Скрыпу, ночью спавшего в своей избе на полатах. Стоя толпою в тёмной комнате, потребовали огня. Проснулся Скрыпа, слез с полатей, захватил с собой полушубок и сказал спокойно: «Позвольте мне пройти к печи, я огня достану». Понятые и начальство раздвинулись, дали ему пройти к заслонке, а он пробрался за печь узеньким проходом в моленную, оттуда в сени и через заднее крыльцо в пригон, где увидел казака, стоящего на карауле. Скрыпа передал ему якобы приказ исправника — занять другой пост, около главного входа в избу, и когда тот перешёл, он скрылся по оврагам на деревню.

Артемий Скрыпа имел громадное нравственное влияние на всех жителей деревни Кулаковой. У богатых он просил пособия для бедных, а бедным помогал деньгами, делом и советом, всегда умным и целесообразным. Не идёт ли у пахаря соха бороздою, обращаются к Артемию Скрыпе, и он её исправит. Нужен ли совет, когда семья завздорит, — идут к его посредничеству, и он, обсудив дело с доводами текстов Священного Писания, выскажет своё решение, которое для спорящих сторон считалось непреложным. Нужны ли деньги бедняку на покупку лошади, коровы, поправку хилеющей избы — он достанет у своих богатых духовных чад и поможет непременно.

Воскресные беседы Артемия Скрыпы, на которых читал и толковал он Священное Писание, всегда бывали притягательным центром. Как только соберётся несколько человек слушателей, так он и лезет в потайник под печью за какою-нибудь книгою, чтобы выбрать из неё подходящее чтение. Потайник этот закрывался стоячею доской «приступкой», поворачивавшейся на внутренней невидимой штанге. Стоячая доска, прибитая фальшивыми скобами и гвоздями, глядела так естественно, что, несмотря на многие тщательные обыски, никогда не выдавала своей тайны. Там хранились старопечатные книги и писанные цветники с яркими рисованными картинами духовного содержания, начиная с жития св.Феодоры и оканчивая Апокалипсисом Иоанна Богослова. Если слушатели составляли в большинстве обыкновенную публику, читались жития святых — из Прологов и Четьи-Минеи, воскресное Евангелие и толковый Апостол. Если же собирались интимные друзья Артемия Скрыпы, знавшие много текстов Св.Писания, тогда доставались и читались книги: Кормчая, Степенная, «Олонецкие ответы» Симеона Денисова, всегда вызывавшие долгие и горячие споры. Память и начитанность Артемия Скрыпы были замечательные, и с ним никто не мог сравняться в этом из наставников других сект, вроде «стариковщины» и «скрывших». Нередко он писал «по-печатному» по-



лемические послания в обличение других «согласий», и эти сочинения ходили по рукам его приверженцев.

Этот патриархальный строй, экономически сложившийся на натуральном хозяйстве, а психологически — на неподвижности бытовых форм и на непрерывной преемственности одних и тех же идей, достаточно гарантировал удовлетворение всех несложных физических потребностей кулаковцев, сообщал им известную нравственную устойчивость и определённую, препятствовал возникновению в их умах и образе жизни той развращающей непоследовательности и шаткости, которая обыкновенно является в людях из-за несоответствия между словом и делом, между их взглядами и поступками. Но тот же патриархальный жизненный уклад задерживал кулаковцев в хроническом состоянии неподвижности и застоя, и только исключительные, крайне редкие, богато одарённые природой натуры могли чувствовать неудовлетворённость от соприкосновения с застывшими бытовыми формами и устаревшими идеями, инстинктивно стремиться к свету и простору, но для этого должны были разорвать связь с родным гнездом, должны были покидать его.

### III. Детство в родной семье

Небольшая семья Чукмалдиных, в которой 4 декабря 1836 года родился сын Николай, ничем не отличалась от большинства семей кулаковских крестьян. У Чукмалдиных была всего одна изба, в которой помещалась вся семья, и где устроена была отцом в одном углу мастерская для работ — саней и «хрясел» (верхняя часть телеги), а в другом углу стояли «кросна» матери для работ — ковров и паласов. Высокие полаты днём служили складом платья и постелей, а ночью спальней. Спать все ложились рано (около 9 ч.), зато отец и мать вставали около 3 часов утра. Между окон ставили тогда «поставец» вроде треножника, в который вкладывалась лучина, с вечера ещё заготовленная, и зажигалась, чтобы освещать всю избу, в особенности место, где работал отец и стояли «кросна» матери. После долгой утренней молитвы родителей мать затопляла печь, стряпала и варила, а в промежутках садилась за пряжу и шуршала веретеном, вытягивая шерстяные нити для ковров. Отец сначала брусом точил инструменты, а потом принимался за работу: тесал, строгал, долбил и пригонял на место части саней. В этой трудовой атмосфере маленький Чукмалдин уже с 6 лет начал помогать отцу в работе: делал зарубки на доске для заднего украшения саней и заячьей лапкой мазал ворвань по дереву, чтобы придать ему желтоватый оттенок.)

Летом мальчику жилось гораздо веселее, чем зимою и осенью. Весною пашня, потом покос, ходьба по ягоды и жатва изо дня в день незаметно заполняли время. Он помогал отцу: весной рубить дрова, боронить поля; на покосе — сгребать сено, возить

копны; в жатву — таскать снопы и вообще делать всё то, что требуется от деревенского мальчугана. Не было ничего приятнее и веселее летом, как ходить с бабушкой Аксиной за ягодами — земляникой и клубникой.

Во время пути бабушка рассказывала собравшейся ватаге мальчишек свои занимательные сказки о Бабе-яге, заманивавшей разными хитростями мальчика Глинышка, и др. Кроме этих бесхитростных произведений свежей народной фантазии, на эстетическое развитие мальчика влияло также и близкое общение с природой, особенно когда кулаковцы в начале августа целым караваном отправлялись в тайгу за брусникой на несколько дней. Вековая сибирская тайга оставила в мальчишке неизгладимое впечатление на всю жизнь, как это видно из «Воспоминаний» уже престарелого Н.М.Чукмалдина.

«Мы разбрелись направо и налево. Перед нами раскрывались сплошные алые ковры спелой ягоды. Надо быть и видеть самому среди девственного леса и урманов это поле красных ягод, чтобы оценить вид и красоту подобного зрелища. На склоне согры, между редких, но могучих сосен расстилается полянка, одетая брусничником, поверх которого как бы пролита алая лоснящаяся краска. Ковёр из ягод стелется, изгибаясь по всем неровностям очертания поляны, забегает на холмы, образованные корнями и землёй, крупного валежника. Роса блестит бриллиантом на каждой ягоде, на каждой ветке и листочке. Внизу урман лежит, ещё одетый пеленой голубоватого тумана, а сверху на гриве стоит могучий бор сосновых великанов».

«Вот глушь лесная в вековом и девственном бору могучих великанов, сосен и елей! Кто передаст человеческим языком всю гамму этих красок, всю мощь и красоту этой природы, где не ступала ещё человеческая нога? Вот ствол сосны в два обхвата толщиной, за ним другой, третий и целый ряд стволов, уходящих кверху на 15 сажен. Их вершины увенчаны серо-зелёными побегими ветвей. Кора внизу корня шероховатая, с коричневым оттенком, а выше по всему стволу переходит постепенно в жёлтый, светло-жёлтый и чуть видно светит палевым на сучьях и отростках. Смолистый аромат сосен наполняет воздух, а сама смола каплет на землю прозрачными слезами янтаря. Старый дятел где-нибудь вверху стволов долбит один из них, и гул ударов его клюва звонко раздаётся в кондовой древесине. Пронесётся ветер, зашумят вершины — и целый рой мелодий охватывает душу. Прислонитесь к великану-сосне и с закрытыми глазами отдайтесь на волю грёзам, мечтам без слов, и тогда природа-мать раскроет вам, какие глубины великих тайн скрываются за видимым и слышимым житейским нашим миром».

«Выйдите из царства сосен к косогору-согре и взгляните вниз, где растут другие великаны — ели. Вид у них иной, иная зелень цвета, иной характер сучьев и ветвей. Как широка её окружность внизу, как стройна игла, уходящая стрелою кверху, как мягки очертания и формы сучьев и ветвей! Вот прынула на ель гурьба

таёжных белок, и пошли качаться ветки плавными размахами. Одна, другая белка мелькнёт своим пушистым хвостом между веток и усядется, насторожив уши, в позе выжидания, на качающейся ветке...».

«А ещё ниже косогора-согры, поблизости урмана, виднеется сибирский кедр. Иглы его хвои длинные и висят кистями на концах ветвей, где зреют в серой шишке зёрна жёлтого ореха. Красиво и величаво каждое дерево старого северного кедра! Люблю я вековую сосну, люблю берёзу, липу, ель, даже осину, но больше всех люблю и восхищаюсь нашим сибирским кедром в его природном состоянии: сколько в нём несравненной красоты и мощи!».

«Когда вы стоите среди такой тайги, где не был ещё хищник-человек, не рубил деревьев, не запускал палов, не жёг кустов для сенокоса, тогда увидите ясно, почувствуете внутренними духовными очами, как живёт природа, какой великой мощью, творя и разрушая, проявляются её живые силы. Земля усыпана хвоей и листвой; упавшие деревья гниют и разрушаются, но на их остатках возникает и растёт «младая жизнь» опять с такой же новой силой порыва. Здесь громадная сосна, там пихта, ель и кедр, в прогалинах брусника и багульник, в урмане мелкие кусты и клюква, а на опушке топкого болота волной колышется высокая зелёная осока».

Приобретённое в детстве живое чувство к природе никогда не ослабевало в Чукмалдине: он осмысленно и вдумчиво любовался и зимним русским пейзажем, и норвежским фиордом, и тропической растительностью Египта, и видом пустыни с вершины пирамиды. Другим приобретённым в захолустной сибирской деревне качеством Чукмалдина нужно считать интерес к религиозным вопросам и живую силу религиозного чувства. Хотя семья Чукмалдиных и была православной, однако, как мы видели выше, представитель официальной господствующей церкви по разным причинам не мог иметь на неё никакого влияния, так же, как и на прочих кулаковцев. Зато весь духовный строй семьи Чукмалдиных сложился под непосредственным влиянием той атмосферы старообрядчества, которым была пропитана вся духовная жизнь Кулаковой. Все эти «листовки», «подрушники», «начала» и прочие предметы и обряды старообрядческого духовного обихода были хорошо известны, употреблялись и практиковались в семье Чукмалдиных. Сам Чукмалдин говорит в своих «Воспоминаниях»: «Мы иногда с отцом ходили к дедушке Артемию молиться, а иногда между «часами» и «повечерницею» слушать в кругу его приверженцев назидательное чтение из Четьи-Минеи, Прологов, воскресного Евангелия, Апокалипсиса и даже иногда и Кормчей книги. Мастерски читал дедушка Артемий, а ещё лучше толковал прочитанное. Бывало, летом соберутся на открытом воздухе косогора под крышей навеса человек 30 слушателей, мужчин и женщин. На удобном месте ставится стол, накрытый скатертью, и приносятся книги, из которых предпо-

лагаются чтение или справки по поводу каких-нибудь споров, возникших на предыдущих собраниях, на основании какого-либо текста, допускающего разное толкование. Терпеливо выслушает дед Артемий оппонента и потом ясно и убедительно начинает приводить свои доводы, ссылаясь на книги и указывая даже страницы, где известный текст напечатан или написан. Иногда переходили на общее пение старообрядческих стихов, из которых наиболее любимые начинались так:

*«Горе мне, увы мне, грешному...».*

*«По грехом нашим, на нашу страну...».*

*«Юность моя, юность, златое ты время...».*

Все эти стихи находились в писаных сборниках и были расположены под нотами старого крюкового пения. Дедушка Артемий знал ноты хорошо и, обучив некоторых своих последователей пению, поражал слушателей этим искусством до полного умиления и слёз стройностью напева в унисон так называемых «божественных стишков».

Я, конечно, мало понимал тогда из слышанного мною и лишь после мне пришлось узнать всю внутреннюю и обрядовую сторону старообрядческих собраний. Но во мне и теперь ещё живы первые общие впечатления, когда ребёнком меня приводили туда мои родители».

И впоследствии, в зрелом возрасте и преклонных летах, Н.М.Чукмалдин всегда интересовался миром старообрядчества, был в сношениях со многими представителями этого мира, собирал коллекцию старопечатных книг и старинных икон, причём этот интерес уже был просветлен широким историческим пониманием самого явления, а развитое религиозное чувство вызывало в нём уважение ко всяким проявлениям религиозного духа, в какую бы внешнюю форму они ни облекались.

Некоторым казалось, что и сам Чукмалдин был старообрядцем, но, конечно, такое заключение мог сделать о нём лишь только поверхностный и малообразованный человек.

Любознательный, впечатлительный мальчик уже на седьмом году инстинктивно стал порываться к грамоте, как к ключу, которым открывается познание необъятного Божьего мира. Стремясь выучиться хотя цифрам, мальчик исписал углём все стены избы, так как дома не было ни бумаги, ни карандаша. Его родители, очевидно, более сочувствовали филипповцам, чем федосеевцам, почему в декабре 1843 г., на восьмом году, и отдали его учиться грамоте филипповскому начётчику Скрыпе. Как водилось в старину, мать и сын горько поплакали, когда состоялось решение семейного совета отдать мальчика Скрыпе на учение. Но пусть сам Н.М.Чукмалдин опишет свой первый урок у Скрыпы:

«Скоро после этого мать моя повела меня к дедушке Артемию учиться грамоте. Мы пришли утром и застали его в той же избе, где я бывал и раньше, сидящим за столом и читающим большую книгу. При входе нашем старичок заложил страницу

широкой синей лентой и, закрыв её, громко щёлкнул медными застёжками, что меня очень заинтересовало. Потом ласково поздоровался с нами, сказав матери:

— Ну что, сынка привела учиться грамоте?

— Да, дедушка. Поучи, Бога ради! Ведь он у нас один, и грамота ему нужна. Выучится, нам с отцом станет читать святые книги, а потом что надо и отцу запишет.

— Ладно, ладно. Я на этих же днях напишу ему азбуку, а в четверг привою его прямо на учеюе.

— Спаси те Господи, дедушка Артемию, — сказала мать и поклонилась ему в ноги.

— Не кланяйся, не кланяйся. Поклоны надо делать Богу. Ну-ка, малец, иди сюда и посмотри на буквы в книге. Вот эта буква — аз, эта — веди. Видишь ли разницу в них?

— Вижу, — ответил я. — У этой посередине перегородка, в у этой перегородки нет.

— Добре. Ну теперь иди с Богом домой, — заключил Артемию Степанович.

Дома было решено заплатить в четверг за азбуку дедушке Артемию рубль (ассигнациями), а как-нибудь к Великому посту купить и основные книги — Часовник и Псалтырь.

В четверг поутру мы с матерью в её углу, против «цела» печи, в так называемой «кути», долго молились Богу, кладя земные и поясные поклоны, прежде нежели пошли к дедушке Артемию Скрыпе. Он встретил нас ласково и любовно. Но когда мать выложила ему десять медных гривен за написанную азбуку, старик прямо и решительно отказался принять их.

— Не надо, голубушка. Я знаю, что вы небогаты. Азбуки ведь я не покупал. На эти деньги лучше заведите пареньку валенки. Теперь зима, и бегать ему сюда холодно и далеко.

Мать моя шёпотом промолвила своё: «Спаси те Господи», и слёзы потекли по её щекам. Я стоял в нервном возбуждении и готов был тоже разрыдаться...

— Ну, что вы, Бог с вами, — заговорил душевно старец. — Малый подрастёт, поправится, тогда заплатите. Ну-ко, Никола, иди сюда, примемся за дело. Здесь у стола учится Ефрем, он постарше и побольше тебя. Тебя же устрою вот на этой лавке у оконца. Вот скамейка, мы её поставим на эту лавку; на неё положим азбуку; вот, смотри-ка, какую я тебе указку смастерил: с конями и зарубками. Ну-ко, бери её, вот так, в руку, и садись перед скамейкою на лавку.

Я сел. Азбука новенькая, только что написанная по-славянски, красными и чёрными чернилами по «растре», отливала блеском букв и казалась куда красивою. Её заглавная виньетка, нарисованная пером, изображала копну сена и глядела на меня так мило и заманчиво, что я и не знал, что и подумать о таком искусстве дедушки Артемию.

— Молись сначала Богу, Никола, клади «начал». Знаешь «начал»?



— Знаю, — ответил я робко.

— Ну вот, бери подрушник и начинай.

Я взял подрушник, перекрестился, дрожащим голосом произнес молитву «Боже милостив» и сделал соответственное число земных и поясных поклонов.

— Ну, а теперь садись на скамейке и, перекрестясь, скажи: «Боже, благослови». А мне скажи: «Благослови, дедушка Артемий».

Я исполнил сказанное. Старик ответил мне: «Бог благословит».

— Вот на этой первой странице, — начал он, — вся азбука, от аза до ижицы. Надо все буквы выучить наизусть и запомнить их твердо, как они пишутся и называются. Указывай указкой вот эту первую букву и говори: аз, вторую — буки, третью — веди.

Я робко начал выговаривать: аз, буки, веди.

— Смелее, брат, смелее! Ну говори за мной нараспев: а-з, бу-ки, ве-ди, гла-го-ль. Мало. Пой, как поют ребята, когда играют в пряталки, да посмелее! А—з, бу—ки, ве—ди... Вот так, так! Потихоньку да помаленьку всё пойдёт у нас на лад, — прибавил он, глядя меня по голове.

Часа через три я выучил всю азбуку и читал нараспев все буквы по порядку.

— Добре, — сказал дедушка. — А ну-ка, знаешь ли ты с задней буквы — ижицы и к азу. Начинай с конца азбуки и иди назад.

Я начал петь: ижица, фита, ферт.

— Э, нет, брат, не так, пропустил: кси, пси. Ну, да ты устал. Оденься и иди на двор побегать. Потом приходи, поешь, и мы ещё подтвердим азбуку.

На дворе никакая игра не шла мне на ум. В голове назойливо вертелись буквы и вопросы. Скоро я вернулся в избу, развязал узелок, оставленный матерью, с куском чёрного хлеба и поел.

На скамейке лежала азбука. Я раскрыл её и, вооружившись указкою, начал, распевая, повторять буквы. Но когда дошёл до знака, следующего за «покоем», то никак не мог припомнить, как он называется. Сколько я ни бился, буква не давалась. С горя я заплакал. В это время вышел из моленной дедушка Артемий.

— О чём ты плачешь? — спросил он.

Я едва мог вымолвить, что забыл название буквы.

— Не плачь, не плачь, милый, — сказал он ласково. — Для начала хорошо и то, сколько ты выучил.

Часам к трём азбука была выучена, прямо и обратно, начиная с ижицы. Дедушка сказал:

— Ну, сегодня довольно учиться. Закрывай азбуку, клади указку, а потом молись «начал», прощайся со мной и иди домой. Скажи отцу и матери, что грамота тебе дается. А завтра рано утром приходи опять.

Стрелой помчался я домой и едва переступил порог избы, как закричал матери:



— Мама, мама, я всю азбуку выучил!

Скоро стены избы покрылись изображениями букв, сделанными углём.

Я уходил домой, всегда унося с собой за пазухой тщательно завернутые в платок азбуку и указку. По вечерам я перечитывал отцу и матери пройденное ученье и «твердил зады». Случалось, приходил к нам дядя Семён, и я старался удивлять его чтением «ангельских складов» и «просодий» и заканчивал письмом славянских букв углём на стене.

— Ты, видно, будешь грамотей, — бывало, скажет дядя. — Вот поеду в город, куплю тебе карандаш и бумаги».

Скоро с азбукой и молитвами было покончено, и Великим постом, миновав Часовник, перешли на Псалтырь, который также и читали, и распевали. После этого в течение трёх месяцев мальчик учился писать, и уже не у Скрыпы, который сам умел писать только по-славянски, а у нанятого за 5 руб. в месяц привезённого со стороны учителя. Этим и закончился для Чукмалдина весь курс чтения и письма. Благоговейное, восторженное отношение мальчика к грамоте, книге, учению также никогда впоследствии не оставляло взрослого Чукмалдина и видоизменилось в глубокое уважение к науке и знанию. На девятом году мальчику пришлось учиться «ходить на счётах» и применить это искусство, равно как и приобретённую грамоту, в практической жизни: его неграмотный отец, как сельский староста, должен был собирать с крестьян и записывать подати и повинности, и роль писаря при этом исполнял маленький Чукмалдин. Эта серьёзная, ответственная работа, которой мальчик был занят в течение трёх зим (1848—1850 гг.) не только в своей деревне, но и в соседней Гусельниковой, послужила для него отличной школой, и этому периоду жизни, вероятно, он и обязан был той аккуратностью, точностью и внимательностью в делах, чем он всегда отличался. В это время Чукмалдину пришлось познакомиться с первой книжкой гражданской печати — «Ерусланом Лазаревичем». «Я ездил с кулаковским старшиною в город, за сбором податей, и ходил с ним, точно так же, как с отцом моим, по разным улицам, где жили кулаковские крестьяне, — рассказывает он в своих «Воспоминаниях». — «В одну из таких поездок старшина купил мне книжку «Еруслан Лазаревич». Вот было радости-то у меня прочесть первую книжку гражданской печати, какая мне попадалась! Нетерпение знать, что в ней содержится, так было велико, что я зимою, на ходу, по улицам от одного двора к другому, прочитал её от первого листа до последнего. Потом привез её домой и часто вечерами перечитывал опять, волнуясь и любуясь героем сказки с полным увлечением».

В это же время, и так же случайно, познакомился маленький Чукмалдин с неслыханной для него и заманчивой наукой арифметикой. Вот как он сообщает об этом в своих «Воспоминаниях»: «В одно время появился в волостном правлении новый помощник писаря, какой-то ссыльнопоселенец по фамилии не то

Волынский, не то Зелинский, показавший мне невиданное мною чудо, что можно цифры складывать без счётов. Это-де называется арифметикой. Долго я дивился, как он слагал, вычитал, множил и делил цифры. Такой науке и искусству я страстно пожелал выучиться. Но где же было взять денег для платы учителю и времени для занятия такими пустяками, как считалось это окружающими? Но желание знать было у меня способно перерастить всякое препятствие, и мы с Зелинским нашли из возникшего затруднения такой выход: он напишет мне арифметику, а я заплачу ему за это 30 коп. и буду сам учиться, самоучкой. Такую сумму денег я накоплю из тех, что мне порой давали за написание билета на отлучку или рукоприкладство. В план этой затеи была посвящена моя другая бабушка Авдотья, согласившаяся быть моим временным казначеем. Долгое время мне пришлось носить на хранение бабушке медные пятаки и двухкопеечники, а сумма 30 коп. сер. все ещё не собралась. Как-то раз секрет наш случайно обнаружили. Однажды в сумерки в присутствии родных я сунул потихоньку в руку бабушке медную монету. Та приняла монету неловко, пятак упал к ногам и звонко покатился по полу. Я ни жив ни мёртв стоял среди избы. Замыслы наши сразу обнаружились, и я должен был рассказать отцу и матери с начала до конца всю мою затею. Меня довольно пожурили, главным образом за скрытность, но назавтра же добавили недостающие копейки и приказали выкупить писаную арифметику. Таким образом вся неприятность окончилась благополучно.

Как теперь помню, был какой-то праздник среди Великого поста. Скворцы уже прилетели, усердно вили гнезда во всех скворечниках нашего двора и, садясь на елки, звонко распевали свои песни. Солнце грело по-весеннему, и грязь двора и переулка значительно просохла. Меня принарядили в новые сапоги, ситцевую рубашку, нанковый кафтан и вручили деньги, чтобы отнести Зелинскому и выкупить «писаную книжку».

С какой неопишуемой радостью я нёс домой это сокровище! Едва показав его родным, я тотчас же убежал на сеновал, где никто мне не мешал заучивать по тетради правила сложения чисел. Мне казалось в это время, что нет меня счастливее на белом свете...».

Писарские занятия не мешали Николаю Чукмалдину совершенствоваться и в отцовском ремесле. На четырнадцатом году он уже мог сооружать простые «хрясла» от начала и до конца. Его дядя Никифор предсказывал, что он будет выдающимся мастером по этой части. К 15 годам Чукмалдин не только делал совместно с отцом сани и хрясла, но и ездил в город продавать их.

Он выучился также «точить точки». Искусство это состояло в том, что на особенном самодельном токарном станке вставлялась сухая строганая, заострённая с обоих концов палка. Она обертывалась ремешком гудка и вертелась левою рукою в ту и другую сторону по возможности быстро. В правой руке был специальный на длинной рукоятке маленький нож, направляе-

мый на вертящуюся палку. «Точки» ходили на мелкие балясины разной формы и размера, служа украшением задней части саней. Молодой мастер готовил их для своего ремесла, а также продавал другим по копейке за штуку, зарабатывая на этом иногда в продолжение вечера около 30 коп. (ассигнациями).

Как известно, рекрутчина в николаевское время была истинным бичом Божиим как для самих новобранцев, так и для их семей, и потому понятно отчаяние, с каким семьи, и особенно матери, провожали молодых людей на службу, с которой те возвращались через 25 лет, чаще всего преждевременными стариками, искалеченными муштровкой и побоями. В 1852 году такая перспектива начала угрожать молодому Чукмалдину, хотя и единственному сыну семьи; он был единственным годным для военной службы рекрутом в одной ревизской семье, которая фактически уже разбилась на три. Так как у Чукмалдиных не было средств ни купить освободительную рекрутскую квитанцию, ни нанять за молодого человека наёмщика, то и было решено отдать его в приказчики к дальним родственникам Решетниковым в Тюмени, чтобы таким образом получить нужную сумму для освобождения от страшной рекрутчины.

## IV. Жизнь в Тюмени (1852—1872)

С 14 июля 1852 г. начинается новый период в жизни Н.М. Чукмалдина. Внешняя причина, страх перед рекрутчиной, привела его в Тюмень, в атмосферу более благоприятную для умственного развития, чем захолустная старообрядческая Кулакова. Кроме того, и вообще уже появились молодые побеги новой жизни, к которой был так восприимчив впечатлительный ум молодого Чукмалдина. Жизнь в старозаветном купеческом доме, в котором все интересы вращались вокруг выделки кож и торговли ими, переполненном грубой приказчиьей дворней, была сначала невыносима для юноши, неловкого, застенчивого, над манерами и выражениями которого издевались приказчики и деликатной натуре которого была глубоко противна пошлость и грубость этой дворни. Самый труд по разбору и продаже кож, слишком продолжительный, был непосилен для юноши, тем более, что при строгой ответственности и придирчивости приказчиков указаний никаких не давалось, и технику дела нужно было усваивать ощупью, собственным умом и опытом, с неизбежными затруднениями и ошибками. Жизнь в доме Решетниковых скоро показалась столь невыносимой молодому Чукмалдину, что превысила страх перед будущей солдатчиной, и он бежал в родную деревню. Немедленно, конечно, беглец был водворен на прежнее место, но с этой поры обращение с ним изменилось к лучшему, и технику дела он скоро постиг вполне хорошо.

В тюменском периоде жизни Чукмалдина ясно можно различить три, так сказать, параллельных течения: 1-е) торгово-промышленные успехи, замыслы и предприятия, 2-е) общественная

деятельность и 3-е) неуклонное стремление к самообразованию и саморазвитию. Эти три течения как бы взаимно дополняли, а в некоторых случаях поддерживали, усиливали друг друга. Все три течения отличались неуклонным развитием и ростом. Предприимчивый и заслуживавший доверия юноша скоро сделался приказчиком в лавке с красным товаром, принадлежавшей сестре хозяина, ввёл там несколько полезных нововведений, как продажа без запроса, с действительным понижением цены (дело, тогда неслыханное в Тюмени), и скоро стал в этой лавке компаньоном, а потом и хозяином. Открытая чайная торговля и операции по продаже на Ирбитской ярмарке шерсти и кожевенных товаров упрочили его материальное благосостояние, так что к 1872 г. он, несмотря на неудачные попытки завести в Тюмени ткацкую фабрику для выработки хлопковых изделий, производство мыла и спичек, имел дом и до 70 тыс. р. капитала. Параллельно с ростом капитала и устанавливавшейся репутацией даровитого и основательного человека Чукмалдин принимал всё более и более деятельное участие в общественных делах. Переписавшись в купцы, он был избран секретарем комиссии по собиранию сведений и составлению доклада о нуждах города, который требовался вообще от городских Дум перед введением городского положения 1871 г.

Во всяком редком тогда в Тюмени предприятии, имевшем в виду общественную пользу, Чукмалдин принимал самое горячее участие, если не был инициатором и руководителем. Он принимал деятельное участие в организации частной школы Канонниковой, предназначенной для подготовки детей в средние учебные заведения, был инициатором в Тюмени приказничьего клуба, едва ли не первого в Сибири, главным образом с целью поднятия умственного развития местных приказчиков. Для усовершенствования коврового производства, весьма распространённого в Тюменском уезде, он основал фабрику-школу с инструментами, мастерами и чертёжником-рисовальщиком, выписанными из Москвы. В школу принимались только девочки, которые, кроме содержания, получали и жалованье, смотря по способностям и успехам. С отъездом Чукмалдина в Москву школа начала падать и скоро была закрыта. Он первый возбудил вопрос в интересах сибирской торговли и промышленности о соединении Обского бассейна с волжско-камским рельсовым путём. По этому поводу он вместе с Высоцким составил мотивированную докладную записку о плавании пароходов по Туре и о направлении предполагаемой железной дороги. Эта записка была представлена от лица тюменского общества в 1869 г. в Пермский железнодорожный комитет, и вопрос, как известно, был разрешён в благоприятном смысле. На страницах «Тобольских ведомостей» и российских газет Чукмалдин обсуждал многие важнейшие тюменские вопросы. Тюмень вообще скудна общественной инициативой, а тем более в прежнее время, так что деятельность Чукмалдина в этом направлении оставила заметный след в новейшей истории Тюмени. Жажда знаний, стремление к

самообразованию и саморазвитию проходит красной нитью в тюменский период его жизни, как и в детстве, приняв теперь, конечно, уже более определённое и сознательное направление. В глухую пору первой половины 50-х годов в захолустной Тюмени эта жажда могла удовлетворяться лишь весьма недостаточно и с большими препятствиями. В «Воспоминаниях» Чукмалдина находят относящиеся к этому подробности, характерные для Тюмени того времени и для пережитой исторической эпохи.

Книги для чтения Чукмалдину приходилось доставать с большим трудом, а читать их со страхом, как бы не узнали хозяева. Книги доставались тайком через комнатного мальчика из библиотеки купца Котовщикова, который никогда в них не заглядывал, а читались урывками в лавке или дома по ночам, после того, как окна старательно завешивались. Стремление учиться всё развивалось у молодого Чукмалдина. Он уже давно начал писать стихи, подражая Жуковскому, но когда его новый сослуживец Рылов, окончивший курс уездного училища в Вятке, разъяснил ему, что стихов нельзя писать, не зная грамматики, Чукмалдин приобрёл в уездном училище грамматику и принялся за её изучение. «Рылов и я, — говорит он в своих «Воспоминаниях», — завели свою секретную библиотечку, выписывая из Москвы пока одни учебники и руководства — он по технической химии, а я по физике. Как-то раз я прихожу домой из лавки и вижу Рылова, стоящего на коленях у лестницы, ведущей в наши комнаты и восклицающего: «Ура! Химия и физика приехали!». Вечером, когда все уgomонились, мы тщательно закрыли окна, чтобы свет не проникал наружу, и уселись за присланные руководства. Но какое же постигло нас разочарование, когда мы там нашли целые строки и столбцы, наполненные алгебраическими формулами, в которых ни он, ни я ничего не понимали! Чего мы ни придумывали, чтобы победить неожиданное затруднение, ничего у нас путного не выходило, а потому мы решили, что я пойду к учителю арифметики Семёнову попросить совета, как бы нам изучить алгебру. Учитель Семёнов выслушал меня в передней и расхохотался мне в глаза, проговорив: «Ишь, что выдумал — алгебру учить! Иди-ка домой, мне некогда с тобой разговаривать».

Эта неудача нашего рвения, однако, не остановила. В следующий же праздник я и Рылов с теми же запросами явились к смотрителю училища Неугодникову, который так же, как его коллега Семёнов, выпроводил нас обратно с нотацией — не братья за чужое дело».

Но не все местные педагоги ходили на Семёнова и Неугодникова: учитель Яковлев стал помогать молодым людям. Они приходили к нему в праздничные дни, когда хозяин уезжал к обеду. Чукмалдин сдавал уроки из грамматики, а Рылов просил ответы на разные трудные вопросы, какие представляла терминология технической химии. Иногда для обоих делался разбор какого-нибудь литературного произведения. Жажда учиться ов-



ладела тогда Чукмалдиным. По плохому самоучителю, составленному для Никольского рынка, он вздумал изучать французский язык, пока ему не разъяснили, что это невозможно. Он даже стал было учиться греческому языку у одного бывшего семинариста, но оказалось, что сам учитель уже забыл этот язык. Хозяева совсем не поощряли таких занятий.

«Наши учебные занятия и чтение книг не могли долго укрываться от внимания нашего хозяина. Как-то раз, — рассказывает Чукмалдин в «Воспоминаниях», — откуда-то вернувшись в наши комнаты, мы нашли наш шкаф открытым и книги наши унесёнными. Мы догадались, что тут ходила хозяйская рука и что за эти книги будет нам головомойка. Мы ждали её со страхом и нетерпением. В тот же вечер позвали нас в кабинет хозяина, где сидела и мать его, старушка Аграфена Ивановна.

— Вы что это книги завели? — строго заговорил хозяин. — И проводите время за чтением их, а хозяйским делом манкируете? Вот посмотри-ка, маменька, — развёртывая книгу и показывая её неграмотной матери, продолжал хозяин, — что у них за книги: физика Писаревского, техническая химия Ходнева, сочинения Жуковского.

— Я давно говорю, — ответила Аграфена Ивановна, — к добру это не поведет. Ну, читали бы что божественное, а то накося — как ты, Ванюша, назвал книгу-то?

— Физика, маменька.

— Господи, помилуй! Фезика какая-то. От роду моего не слышала такой книги. И на что им она!

— Нам хочется узнать, что такое теплота, свет, — заявил я, запинаясь.

— Да разве вы не знаете, что солнышко светит, а огонь греет? Какого вам рожна ещё нужно?

— А я хочу узнать, как корьё действует на кожу, — вставил мой товарищ.

— Иди в завод и работой, вот и узнаешь, — резко и наставительно перебил его хозяин.

Мы замолчали.

Хозяин сердито перелистывал Жуковского и снова заговорил:

— Корьё, какое там корьё! Вот они учатся, как лучше песни сочинять. В этой книге, маменька, есть такое, что и прочитать-то срам.

— Бесстыдники, — заключила Аграфена Ивановна и поднялась сердито со своего места.

— Возьмите ваши книги, — заявил хозяин, — и чтобы я больше их у вас не видел. Занимайтесь лучше делом.

Мы молча захватили наши книги и вышли вон из кабинета хозяина, точно пойманные на преступлении, радуясь в душе, что дешёво ещё отделались. С этих пор мы удвоили осторожность, и когда читали и учили что-либо, то завешивали окна ночью и прятали книги на день где-нибудь под ящик».

Нужно сказать, впрочем, что впоследствии, когда корреспон-



денции Чукмалдина стали появляться в газетах, отношение хозяина к его литературным занятиям стало мягче, и он стал даже гордиться, что среди его приказчиков есть и пишущие в газеты. Интерес к книгам привёл Чукмалдина даже к неприятности с полицией. Он выпросил у хозяев «Олонецкие ответы» Денисова и дал их скопировать своему неудачному учителю греческого языка. Городничий как-то проведал об этом и потребовал любителя древней письменности к себе. «Я обомлел от страха, зная его взяточничество и придирки, — рассказывает Чукмалдин. — Бросился было к хозяину, прося защиты, но тот ответил, что городничий и на него за что-то сердится и что он слышал, что «расстригу моего» за переписку «Олонецких ответов» упрятали в кутузку. «Не следовало переписывать — вот и вся штука», — укоризненно заметил мне хозяин, но прибавил, что завтра надобно идти к городничему и взять с собою 25 р. для подарка.

На другой день рано утром я был уже в приёмной градоправителя.

— Ты что задумал? Распространять еретические книги? — напустился на меня городничий. — Да знаешь ли ты, что за это полагается? Посадить тебя в острог, а потом сослать в Берёзов!..

— Я только из любознательности дал переписать это сочинение и вовсе не думал распространять его, — заметил я упавшим голосом.

— Знаю я вашу любознательность, — перебил меня городничий, — сегодня перепишет один, завтра даст другому, а там и пошло совращение в раскол...

— Ваше высокоблагородие, не можете ли уделить мне несколько минут времени наедине? Я имею вам сообщить нечто по секрету, — ответил я.

— А! Хорошо.

Мы перешли в его кабинет и затворили дверь. Я молча положил на стол 25 р., прибавив:

— Сделайте милость, прекратите это дело.

— Ты просишь прекратить? — сказал он мягко. — Только жалея твою молодость я не буду производить следствия, но чтобы сегодня же было мне доставлено ещё столько же, сколько ты там положил! Иначе прикажу тебя арестовать и посадить в острог.

Я замирал от страха и обещал добавить 25 р., лишь бы только не сидеть в остроге, что по тогдашним временам легко мог сделать городничий».

Весьма большое влияние на умственное развитие Чукмалдина имел в 60-х годах Высоцкий, сын политического ссыльного по польскому восстанию 1831 г. До конца дней Чукмалдин питал к нему самую искреннюю признательность и глубокое уважение и посвятил ему в своих «Воспоминаниях» теплые, прочувствованные страницы.

«Много лет подряд я жил в интимной дружбе с Константином Николаевичем Высоцким, которому обязан многим в моём душевном складе и развитии. Сколько длинных вечеров прово-

дили мы с ним за чтением книг и потом за разговорами, как по поводу прочтённого, так и по поводу общественных вопросов! Он держал в то время фотографию и, бывало, ретушируя негативы, продолжал в то же время рассуждать со мною по поводу какого-нибудь древнего классика, которых мы с ним в то время немало и усердно прочитывали. К.Н.Высоцкий по природе своей был, скорее, прекрасный педагог, умеющий будить в юной душе воспитанника хорошие человеческие инстинкты, чем человек практического дела. Но судьба как раз закрыла ему педагогическое поприще. Тогда невольно он вступил в мир промышленных профессий, где, однако ж, ничто ему не удавалось в смысле денежного успеха, потому что покойный всюду прилагал новые гуманные приёмы, с окружающей обстановкой трудно примиримые. Таким образом, человек всю жизнь не по своей вине шёл не той дорогой, какая свойственна была его натуре.

Бывало, у кого-нибудь из нашего кружка — у меня, Канонникова, Лагина или Иконникова — соберёмся мы на вечерний чай, и начинается у нас беседа, всегда искренняя, всегда интересная, с захватывающим, увлекательным внутренним содержанием, то по поводу прочитанной статьи в журнале, то по поводу какого-нибудь местного события, то, наконец, по поводу того, как надо держать у себя слуг и работников, чтобы не были они слуги-рабы, а были бы «меньшие братья» и помощники, которых хозяева обязаны воспитывать, а не выжимать из них сок, как из губки воду. Это была любимая тема Высоцкого, и он каждый раз начинал развивать её с новыми доводами и пояснениями. Я помню, мы одной весной прочли с ним всё сочинение Вунда «Душа человека и животных». Для этого я вставал в пять часов утра и приходил к нему в фотографию, чтобы в эти ранние часы никто не мешал нам держать наши лекции и обсуждать содержание книги.

Благодаря рассказам и настоянию Константина Николаевича я однажды поехал в маленький захолустный городок Туринск, чтобы привести оттуда в Тюмень талантливого сатирика-живописца Ивана Александровича Колганова.

— Это второй Гогард, — бывало, горячится Высоцкий. — Это великий талант, гложущий в захолустье. Пора нам вытащить его оттуда.

Кто видел рисунки Колганова и его картины, кто любовался у зрителя училищ шкатулкой, нарисованною Колгановым, тот должен был согласиться, что человек этот обладает действительно недюжинным талантом.

— Бросьте ваши меркантильные дела, — говорил Высоцкий, — бросьте вашу денежную мамону и везите скорее сюда Колганова. В Туринске он совсем заглохнет и погибнет».

Чукмалдин съездил за Колгановым в Туринск, а впоследствии поместил его в училище живописи и ваяния в Москве. Но страсть к водке, приобретённая Колгановым ещё в Туринске, погубила его, он оставил Москву, вернулся в Тюмень и умер, не имея и 30

лет от роду. Коллекция рисунков этого даровитого художника пожертвована Чукмалдиным в Тюменское реальное училище.

Литературные и общественные вопросы играли видную роль в жизни того тюменского кружка, к которому принадлежал Чукмалдин. «Эпоха великих реформ» и общий подъём жизни в России, который принесли с собой шестидесятые годы, оказали своё содействие и в захолустной торговой Тюмени.

«Бывало, с каким животрепещущим интересом ожидалась новая книжка «Современника», которая ходила по рукам до тех пор, пока все знакомые, интересующиеся литературными новинками, не прочтут её! Особенно много волновали нас и порождали бесконечные споры и рассуждения журнал «Ясная Поляна» и роман «Война и мир» графа Толстого. По поводу их споров и толкам не было конца, и у кого-нибудь вечер за чаем затягивался далеко за полночь.

Мало-помалу у нас составилась кружок, в котором интересовались общественными вопросами и устраивались даже дни, когда по вечерам происходили чтения в квартире то у одного, то у другого из членов-товарищей, пока полиция не придала этим вечерам неподобающего значения и не пригрозила нам ответственностью. Понятно, после этого вечерние чтения сообща сами собой прекратились», — с грустью замечает Чукмалдин в «Воспоминаниях».

## V. Московский период жизни (1872—1902)

Первым обратив внимание на шерсть, оставшуюся от обработки в кожевенных заводах и раньше не имевшую почти никакой ценности, Чукмалдин стал вывозить её огромными партиями в Россию, и это оказалось настолько удачным, что ему пришла естественная мысль перевести свою деятельность на гораздо более широкую арену. Это и вызвало в 1872 г. его переселение в Москву. Первое время в Москве ему приходилось очень трудно: уезжая из дома в 8-9 часов утра, он возвращался лишь к 7 часам и до поздней ночи работал над торговыми книгами и счетами. Жизнь давала ему также тяжёлые уроки. Те приёмы и отношения в денежных делах, которые практиковались в тюменском торговом кругу, в Москве оказались неприменимы, и Чукмалдин в первое время несколько раз чувствительно пострадал от своей доверчивости к людям. После нескольких лет усиленного труда положение Чукмалдина стало определённым и прочным. Специализировавшись на торговле коровьей шерстью, Чукмалдин приобрёл в этой области товароведения большие познания, что, в связи с его способностью подмечать экономические явления и обобщать их, позволяло ему делать верные расчёты и выводы, которые влекли за собой удачу его предприятий. Случаи неудачи зависели только от плохих исполнителей. Он открыл войлочную

фабрику в Арзамасе, завёл сношения с Германией и занялся поставкой войлока для германского потребительского рынка. Торговля шерстью и войлоком, оптовая торговля байховым и кирпичным чаем, а также участие в некоторых акционерных предприятиях сопровождались удачей и окончательно упрочили материальное положение Чукмалдина. Большой поклонник западноевропейской культуры во всех сферах жизни, Чукмалдин в основу своей торговой нравственности положил добросовестность, честность и аккуратность и этому приписывал значительную долю своих удач.

«Кто не дорожит своею репутацией и не думает о будущем, для того обман другого в целях барыша всегда выгоден и заманчив. Он ясно сознает, подделывая тот или иной товар, устраивая тот или иной фокус надувательства, что всё это узнаётся впоследствии, но узнаётся тогда, когда он получил уже деньги, и взыскать с него за это нет возможности. Им, видимо, руководит правило: только бы захватить деньги, а там «хоть трава не расти», — говорит он в своих «Воспоминаниях».

С начала 80-х годов он, как только укрепилось его положение в Москве, обратил особенное внимание на родную Кулакову и на близкую ему Тюмень. В Кулаковой, где сам он учился в жалкой избушке Скрыпы, он построил каменное училище с садом и огородом. В нижнем этаже помещаются две классные комнаты, комната для библиотеки и другая — для сторожа, в верхнем — квартира учителя из четырёх комнат. Сооружение этой школы стоит до 20 тыс.руб., в течение почти четверти столетия Чукмалдин вносил ежегодно на её содержание по 540 руб. При школе находится, кроме учительской библиотеки, бесплатная библиотека-читальня. С 1891 г. при школе введено обучение ручному труду (обработка местных пород дерева — сосны и берёзы), для чего построено особое здание. Для поддержки местной кустарной промышленности Чукмалдин задался мыслью создать кулаковско-гусельниковский сельский банк, для чего и внес 3000 р. Этот банк оказывает теперь заметную поддержку местным кустарям и земледельцам. После одной голодовки в 80-х годах Чукмалдин решил открыть в Кулаковой запасный хлебный магазин с тем, чтобы он находился вне правительственного контроля. Но крестьяне не только не возвратили выданный им на обсеменение хлеб из 10%, но не вернули даже и взятое количество хлеба. Таким образом, мысль о хлебозапасном собственном магазине не осуществилась. В случае больших пожаров (как, например, пожар 1894 г., когда выгорело  $\frac{2}{3}$  деревни) Чукмалдин оказывал своим землякам широкую помощь хлебом, одеждой, чаем, сахаром, деньгами. Желая познакомить своих земляков с приёмами рационального хозяйства, а также развить в округе пчеловодство, Чукмалдин неоднократно отсылал в Кулакову усовершенствованные земледельческие орудия, культурные хлебные и огородные семена и лицам, которые будут заниматься пчеловодством, обязался платить по 15 р. за каждый улей. Эти предприятия не удавались вследствие косности кулаковских земледельцев и ку-

старей, а потому у Чукмалдина явилась мысль подготовить компетентных лиц, которые были бы способны вести сельское хозяйство на рациональных началах. Для этого Чукмалдин предполагал открыть в Кулаковой техническо-земледельческое училище. Это вызывалось ещё и теми соображениями, что кустарные промыслы Тюменского уезда не выдерживают конкуренции с наплывом кустарных изделий из России благодаря технической отсталости и потому падают с каждым годом. Кончина Чукмалдина разрушила этот план. Прекрасная каменная церковь в древнерусском стиле была последним подарком Чукмалдина родной деревне. На поддержку родной деревни в разных отношениях им за всё это время употреблено до 120.000 р. Любопытной, но грустной полосой просветительной деятельности Чукмалдина на пользу родного угла была его двадцатилетняя борьба с местным кабаком, окончившаяся неудачей. Предоставим рассказать об этом самому Н.М.Чукмалдину: «Я прилагал всю мою энергию и материальные средства на протяжении 20 лет времени для борьбы с этим вертепом — и должен сознаться, что все усилия потрачены были напрасно. Я начал с того, что вместо постороннего кабака уговорил кулаковцев открыть кабак на моё имя, но всю прибыль от него обращать на сельские расходы. Так шло дело два-три года. Потом сделан был донос, что я лишаю казну дохода от двух патентов, что, сокращая продажу вина, наношу казне ущерб в виде недобираемого акциза и что сам кабак мой есть скрытно-общественный. В то время подобные действия считались если не прямо преступными, то всё же не совсем легальными. А посему я будто бы человек неблагонамеренный. Пришлось от этой системы отказаться и перейти на прямую плату обществу от 100 до 200 р. в год, чтобы не давало оно право никому на открытие в деревне питейных заведений. И вот в Кулаковой кабака не стало, но зато его тотчас же открыли в смежной деревне Гусельниковой. Явилась надобность платить и этой деревне 100 руб. в год за то же самое. Но когда не стало кабаков в обеих деревнях, появилась тайная продажа водки в нескольких домах, уследить за которою не было уже никакой возможности.

Напротив здания волостного правления в дер. Кулаковой стоял дом старого кабака, приобретшего себе своей биографией название «проклятого местечка». Я купил его, отремонтировал, засадил свободные места кустарником и открыл в нём сельское училище, чтобы не было на этом месте поганого заведения. Кабак перекочевал в другое место и нашёл охотников крестьян сдавать ему в аренду свои дома по всей Трактовой улице. И чего-чего только не делал я для кулаковцев, даже кроме этих описанных опытов моих, но всё было бесплодно, ничто не достигало цели. Не хватало у них денег на взнос податей — я давал их; случится недород хлеба — я посылаю им хлеба; выстроил школу, дал деньги на учреждение банка, сооружаю новую каменную церковь. Казалось бы, простой расчёт закрыть кабак, с которым я веду войну, но вот, подите же, кабак господствует и насмехается над всякими усилиями одиночного человека!



Таким образом вся моя более 20-летняя борьба с кабаком окончилась моим поражением, и я должен, наконец, сказать себе: «Да, кабак меня победил».

Просветительным учреждениям Тюмени Чукмалдин всё время также оказывал широкую поддержку: об-ву попечения о начальном образовании — обувью, одеждой, учебными пособиями, книгами, деньгами, об-ву трезвости — деньгами, библиотеку реального училища обогащал книгами. Лишь только была окончательно вырешена постройка здания народного дома, он первый прислал 1000 руб. В 1900 г. он предложил Тюменскому городскому управлению принять в дар очень ценный естественноисторический музей, собранный многолетними трудами директора местного реального училища И. Я. Словцова, известного знатока сибирских естественноисторических вопросов. Условием пожертвования было поставлено сооружение городом особого здания для музея. Город отказал. Тогда Чукмалдин приобрёл этот музей, стоимость которого определяется в 10 тыс. руб. (коллекции по археологии, палеонтологии, ботанике, минералогии и зоологии — всего свыше 4000 предметов) и подарил его в собственность реального училища с тем, чтобы в праздничные дни он был открываем для публики.

Желая вызвать появление научного описания Тюмени и её уезда в отношении естественноисторическом, экономическом и историческом, он учредил при местном реальном училище премии за лучшие работы в данных областях. Первые две премии и до сих пор никем не получены за непредставление соответствующих работ.

В заключение нужно сказать, что в своих благотворительных и просветительных начинаниях Н.М.Чукмалдин руководился побуждениями сердца и ума, а не погоней за титулами и отличиями, на которые до сих пор так падки представители нашего торгово-промышленного класса, не сознавая нисколько предосудительной стороны такой подкладки их «деятельности». Кулаковская школа не носила его имени, и только теперь, по инициативе самого населения, уважающего обычай освящать именами основателей всякое крупное и ценное учреждение, ей присвоено наименование «Чукмалдинской».

## **VI. Некоторые общественные взгляды Н.М.Чукмалдина**

### **и его литературные труды**

Тридцатилетний период пребывания Чукмалдина в Москве был небогат внешними событиями, но в его внутренней жизни оказался завершением и осуществлением тех начал и задач, которые заложила в него природа и укрепила и придала определённую форму жизнь в Тюмени, особенно шестидесятые годы,



не прошедшие без сильного влияния на тот тюменский кружок, к которому он принадлежал. Заботы о процветании и просвещении Кулаковой и Тюмени овладели исключительно его вниманием. Он интересовался Сибирью, её периодическими изданиями и некоторым из них оказывал материальную поддержку и принимал в них личное участие. Он был один из учредителей об-ва содействия учащимся-сибирякам в Москве и охотно был избран председателем общих собраний этого общества по причине своего редкого такта и умения вести их. Приглашённый в 1897 г. представить в особое совещание при департаменте торговли и мануфактуры министерство финансов свои соображения о значении для Сибири Северного морского пути, он убедительно доказывал необходимость или облегчённого, или совершенно беспошлинного для некоторых предметов ввоза — последнее в интересах широких кругов сельского населения.

Глубокий и живой интерес, который питал Чукмалдин к русской старине, к народной жизни, к старообрядческому миру, легко и просто объясняется всегда неизгладимыми воспоминаниями детства, той атмосферой «живой старины», которая окружала его в Кулаковой. В его зрелых годах впечатления детства приняли особенно яркие, привлекательные очертания, и этот, так сказать, романтический культ старины служил для него храмом, полным пролады, тишины и спокойствия, в котором он отдыхал душой от сухой, шумной и раздражающей жизни современных деловых кругов. С этой стороны Чукмалдин симпатизировал тому обширному течению, которое принято называть славянофильским, но высоко ценил и уважал и западную культуру и постоянно указывал в ней образцы для подражания.

Любя вообще русский народ и ценя его положительные качества, он не закрывал глаза на его недостатки и вовсе не в возвращении к бытовым, общественным и политическим формам старины видел залог его успехов и счастья, а в разумном общении к западноевропейской цивилизации и культуре.

Чувство справедливости было отличительным качеством Чукмалдина, и этим объясняется его снисходительное отношение к слабостям других, как результат не одностороннего представления себе мотивов человеческих поступков. Чукмалдин оставался последовательным, перенося эту мерку с индивидуальных отношений к отношениям междуклассовым. Вот что говорит этот представитель капитала, нажитого многолетним трудом:

«Оглядываясь назад, на тот ранний период времени, когда мой труд целого года был запродан Решетниковым за 50 р., и сравнивая с настоящим положением, я вижу поразительный контраст, не говоря уже о всем другом, даже в одном моём материальном положении. Сопоставляя цифры денег, вывод вытекает, что теперь тысяча рублей должна бы казаться одинаковой цифрой против одного тогдашнего рубля, потому что тогда один рубль имел для меня относительно даже большее значение, чем тысяча рублей теперь. А между тем этот рубль, как бы он в то

время большим ни казался, все-таки отдавался за книгу или жертвовался другому, чем тысяча рублей расходуется на подобные надобности теперь. В чём же тут причина, что вместе с ростом материального состояния в одинаковой пропорции не растёт и внутреннее сознание, что для меня величина одного тогдашнего рубля равна по меньшей мере одной тысяче рублей теперьшних? Казалось бы, что с одинаковой внутренней потребностью я должен был отдавать другому, как тогда один рубль, так и теперь тысячу рублей, а между тем степень этой потребности наклоняется всегда в сторону уменьшения тысячи рублей. В минуты внутреннего анализа своих стремлений спрашиваешь себя об этом и не находишь точного ответа.

Значит ли это, что человек, чем становится богаче, тем, в его глазах, все материальные отношения принимают всё более и более не те положения, чем они есть на самом деле? Значит ли это, что его взгляды, выводы и суждения о всех житейских отношениях, где играет руководящую роль величина рубля, должны принимать также неверную окраску? По-видимому, так именно всё и обстоит на самом деле на этом белом свете. Для богатого и богатеющего человека с каждым днём, если можно выразиться, «истина рубля» отодвигается всё дальше и дальше, и понимание экономических отношений, существующих на основе этого рубля, для него становится всё труднее. Не поэтому ли и все государственные налоги, в какой бы форме они ни существовали, носят на себе неизменную печать несправедливой пропорции — отягощения бедного и послабления богатому, — потому что созданы они людьми имущими, фатально наклоняющими «мерку» в свою сторону?».

Посвятив целую страницу красноречивому доказательству несправедливости косвенных налогов в современной форме, он продолжает:

«Если порой жестокие люди и выражают мнение, что косвенный налог не есть налог обязательный, ибо можно не платить его, не потребляя только обложенных таким налогом продуктов и товаров. Не потреблять продукты во избежание платы косвенных налогов! Да разве можно, предлагая это, сохранять христианскую религию и хоть немного «добрых отношений» человека к человеку? Сказать голодному «не ешь», жаждущему «не пей», полуодетому «не одевайся», пожалуй, и можно, но у кого же при этом не дрогнет совесть от таких жестоких пожеланий?»

Не говоря о том, что система косвенных налогов на предметы первой потребности, падающих всею своею тяжестью главным образом на бедные классы, есть тяжёлая несправедливость и, как таковая, должна быть уничтожена, она, кроме вреда в настоящем, несёт с собою ещё больший вред для будущего, усиленно обедняя бедного и обогащая богатого, т.е. углубляя ров, разделяющий эти классы, и усиленно устраняя с арены людей среднего достатка, составляющих звено между бедными и богатыми. Мы, люди имущие, обязанные, кроме заповеди, препод-

данной нам Спасителем мира, помогать бедным, поступаем как раз наоборот и не возвышаем голоса против существующей системы, помогающей богатому и забывающей бедного. Пора нам прислушаться к голосу нашей совести и сказать во всеуслышание корпоративно, что все налоги должны быть несены людьми имущими и что налогом прямым и косвенным должен быть обложен не бедняк и его насущные потребности, а капитал, крупный промысел и роскошь. Ведь, беря налог с продуктов и товаров, потребляемых беднейшими классами, этим самым устанавливается налог на заработок, а не на капитал, которого у них нет и который даже в инертном состоянии приносит доход его владельцу, зарабатываемый той же массой трудящихся классов. У бедняка нет такого времени, когда бы он мог сказать себе: я отдохну, ибо насущные потребности мои обеспечены запасом денег. У богатого человека подобное условие всегда в его распоряжении, и он выработал даже особые классовые болезни — скуку, прожигание жизни, которых бедный класс не имеет и даже знает о них только понаслышке.

Облагать налогом прямым или так называемым косвенным надобно не бедняка, достающего средства к жизни продажей своего труда другому, а человека, имеющего в запасе капитал и орудуящего им по личному усмотрению. Налог на капитал или, скорее, налог на доход от капитала, совсем иная статья, чем косвенный налог на предметы ежедневного потребления. Возьмите схему среднего дохода с капитала в 5% и, обложив доход 10% налога, вы будете иметь ежегодного дохода с имущих классов в России 300 миллионов р., если оцените все капиталы в 60 миллиардов. Оценив их даже вдвое меньше, чем такая сумма, и тогда вы будете иметь налог с имущих классов в 150 миллионов, вполне достаточный для того, чтобы заменить косвенный налог на главные предметы ежедневного потребления — на чай, сахар, спички, чугун, железо, грубые ткани и проч. Тогда эти сотни миллионов руб. уплатят имущие классы, а бедняки сберегут их у себя как средство для улучшения пищи, одежды и жилища, а отсюда улучшение здоровья и вообще поднятия благосостояния.

Делая налог на доход с капитала в 10%, или на капитал в  $1\frac{1}{2}\%$  что в конечном результате выходит одно и то же, вы не трогаете самого капитала, а только облагаете рост его. Наоборот, учреждая косвенный налог на предметы первой потребности, вы устанавливаете непомерный налог на заработок трудящихся классов, лишая их возможности лучше есть, теплее одеваться и удобнее устраивать своё жилище, ибо косвенный налог есть не полпроцента с подённого заработка, а превышает иногда в 5—6 раз всю стоимость самого продукта (чай) и в два раза стоимость такого товара, как, например, железо».

Литературная деятельность Н.М.Чукмалдина началась ещё с конца 50-х годов статьёй о Бобровской ярмарке в «Казанском экономическом журнале». С тех пор в «Тобольских Губ.-

Ведомостях» нередко появляются его корреспонденции, имеющие всегда деловой характер — разъяснить, дополнить какой-нибудь местный вопрос, осветить его с новой стороны. Из более крупных статей Чукмалдина в «Тоб. Губ. Вед.» начала 60-х годов нужно отметить: «Биография И.А. Решетникова» (1861 г., № 20), «О сельских ярмарках в Западной Сибири» (1863 г., № 31) и заметка на статью Ч. «Несколько слов о значении ярмарок» («Ирб.Ярм. Лист.», 1865, № 22). В последующее время он помещал свои статьи как в этих двух газетах, так и в «Сиб. Листке», «Сибир. Торг. Газете», «Урале», также в «Рус. Труде» г. Шарапова и «С.-Петербург. Вед.». В своих статьях Чукмалдин преимущественно касался тех экономических вопросов, в которых был особенно сведущ. Проводя в течение последних лет ежегодно по 2—3 месяца за границей, Чукмалдин свои наблюдения, не лишённые интереса, изложил в ряде «Путевых очерков» (Кавказ, Скандинавские государства, Финляндия, Египет и Палестина). «Палестина и Египет» изданы отдельной книжкой. Наиболее крупным и интересным произведением Чукмалдина являются «Мои воспоминания», его автобиография, особенно видная в первой части, как исторический документ, с фотографической точностью представляющий бытовой уклад сибирской деревни первой половины XIX в. Вторая часть «Воспоминаний» слишком сжата и не представляет такого бытового интереса, как первая. Обе части изданы отдельными приложениями к «Русс. Труд».

В рукописи осталась хорошенькая сказка о мальчике Глинышке и Бабе-яге, сотканная из мотивов старинной сказочной русской поэзии. Этой сказкой, облеченной теперь в литературную форму, заслушивался маленький Чукмалдин во время прогулок за годами с бабушкой Аксиньей.

Ещё с конца второй половины 1900 года здоровье Н.М.Чукмалдина стал подтачивать неизлечимый недуг, рак кишок. После операции в Берлине, окончившейся благополучно, вдруг наступило ухудшение, и 15 апреля 1901 г. он скончался. Тело его было перевезено под родное небо любимой им Кулаковой. 9 мая, в самый день освящения им церкви, состоялось его погребение в присутствии многочисленной толпы народа из Тюмени, Кулаковой и окрестных селений. Н.М.Чукмалдин похоронен в особой часовне, находящейся подле храма. Весть о его смерти с сожалением была принята во многих городах Сибири, и сибирские газеты посвятили ему тёплые некрологи, как доброму, благородному человеку и видному и полезному общественному деятелю.

П.М. Г—в<sup>1</sup>.

-53348-

<sup>1</sup> Тюменский литературовед Л.Г. Беспалова авторство статьи приписывает историку П.М.Головачеву. — См.: *Беспалова Л.Г. Живое прошлое: Писатели XIX века о Тюмени.* — Свердловск, 1987. — С. 90.

# Содержание

## Мои воспоминания. Часть I

<i>С. Шаранов.</i> Предисловие .....	6
I. Беглый солдат Скрыпа и моё ученье .....	8
II. Моё отрочество и первая общественная служба .....	27
III. В тайге .....	41
IV. Рекрутчина .....	51
V. Старое начальство .....	59
VI. В приказчиках на заводе .....	70
VI. За прилавком .....	89
VIII. К свету и воле .....	98

## Мои воспоминания. Часть II

<i>С. Шаранов.</i> Памяти Н. М. Чукмалдина .....	119
IX. Самостоятельность .....	127
X. Промышленные опыты .....	131
XI. Сибирские картёжники и гуляки .....	134
XII. Моя торговля, прибыль и расценки .....	141
XIII. Пожары. Тюменская неблагодарность .....	148
XIV. Тюменский музей .....	152
XV. Из тюменской жизни. Кабак победил .....	159
XVI. Директорство в остроге. Нечаянная речь .....	165
XVII. Высоцкий и Колганов .....	168
XVIII. Полуразорение. Процесс с Подаруевым .....	178
XIX. Первые шаги в Москве .....	182
XX. Ирбит. Зимняя дорога .....	186
XXI. Моя торговля в Германии. Валяльщики .....	193
XXII. Мои продавцы .....	200
XXIII. Мои покупатели .....	204
XXIV. Процент и прибыль. Моё счетоводство .....	208
XXV. Бедные классы и косвенные налоги .....	213

## Палестина и Египет: Путевые очерки

Чёрное море .....	220
Константинополь .....	223
Смирна .....	228



Александрия .....	231
Яффа и дорога к Иерусалиму .....	234
Иерусалим .....	237
Вифлеем .....	244
Елеонские горы .....	245
Заключение .....	249
Египет. Порт-Саид .....	250
Железная дорога Измаилия — Каир .....	253
Каир .....	256
Пирамиды .....	259
Поездка в Мемфис .....	268
Гелиополис .....	273
Прогулка по Нилу .....	274
Булакский музей .....	276
Дервиши .....	278
Египет. Путь из Каира в Александрию .....	283
Средиземное море. Пароход «Россия» .....	285
Смирнский рейд .....	288
Архипелаг и Дарданеллы .....	289
<b>Путевые очерки</b>	
Финляндия .....	294
Швеция .....	297
Норвегия .....	303
Швеция .....	320
Дания .....	321
Германия .....	326
Голландия .....	330
<i>П.М. Г—в.</i> Жизнь и деятельность Н.М.Чукмалдина ....	337
I. Предки .....	338
II. Деревня Кулакова в первой половине XIX века .....	339
III. Детство в родной семье .....	344
IV. Жизнь в Тюмени (1852—1872) .....	352
V. Московский период жизни (1872-1902) .....	358
VI. Некоторые общественные взгляды	
Н.М.Чукмалдина и его литературные труды .....	361



**Николай Мартемьянович ЧУКМАЛДИН**

**МОИ ВОСПОМИНАНИЯ**

*Избранные произведения*

Художник А. Кухтерин.  
Дизайн серии В. Дыбы.

Художественный редактор В. Дыба.  
Технический редактор Ю. Мандрика.  
Корректор Т. Назырова.  
Оператор ПЭВМ Н. Нохрина.

**Новая цена**

*Подпись 30 р.*

Сдано в набор 10.06.97 г.

Подписано в печать 26.08.97 г.

Формат 84x108/32. Гарнитура «Times ET».

Печать офсетная. Бумага офсетная №1.

Уч.-изд.л 14.7. Усл.-печ. 19.32.

Тираж 3000. Заказ № 253.

Лицензия ЛП №063670 от 24.10.94 г.

Издательство «СофтДизайн»

Адрес для переписки: 625002, г.Тюмень, а/я 5579.  
Тел. (345-2) 25-12-84.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ИПП  
«Уральский рабочий».  
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.













Невидимые  
Времена

